ВЛАДИМИР ЕРЕМЕНКО

ДОЖДАТЬСЯ УТРА





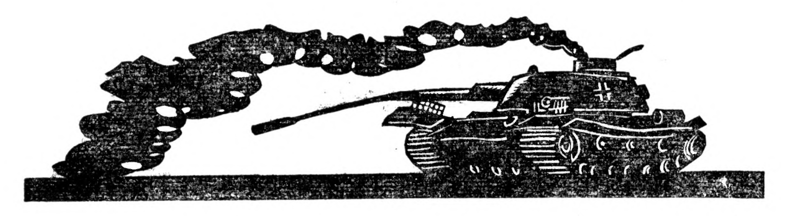


МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1984

84 Р7
Е 70

Е $\frac{4702010200—015}{078(02)—84}$ 83—84

Мальчишкам Сталинграда



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОТЕЦ

К нам во двор вошла маленькая, худенькая женщина в темном платье, чем-то напоминавшая галку. У нее в руке был зажат пучок узких листков. Выдернув один, женщина громко спросила:

— Чупров Николай Степанович здесь живет?

— Здесь, — чуть слышно отозвалась мама, и ее дрогнувшие губы и подбородок замерли в ожидании.

— Распишитесь.

— Хозяин на работе... — Мама не двигалась с места.

— Расписывайтесь, у меня их вон еще сколько! — Женщина тряхнула повестками и сунула в руки мамы карандаш.

— Да что же это? — собираясь заплакать, простонала мама. — И сын там, и самого забирают. Куда ж я с ними? — Она кивнула на меня с братишкой.

Но еще раньше мамы неожиданно заплакала женщина.

— Все от меня, как от чумной, шарахаются. Я-то при чем? Пропади она пропадом, такая работа!..

Мама поспешно взяла повестку и, расписавшись, проводила женщину до калитки. Та перестала всхлипывать, вытерла глаза и, немножко постояв, шагнула со двора. На улице, у калиток, стояли люди. Они, выжидая, тревожно смотрели на женщину в темном, а когда та проходила мимо, тут же поспешно исчезали во дворах.

А она, опустив голову, торопливо шла из улицы в улицу, и поселок замирал, прислушиваясь к ее шагам.

Вечером мы собирали отца на войну. Это было в августе сорок первого, в Сталинграде. Не первые и не последние проводы мужчин из нашего рабочего поселка, но тогда впервые начали говорить: «Берут стариков».

Отцу было сорок пять. В мои тринадцать он действительно казался мне стариком.

Помню, мы ехали на трамвае, и молодая женщина, поднявшись с места, сказала: «Садитесь, папаша». Отца это так обескуражило, что мы, не доехав до своей остановки, сошли с трамвая. «Она мне уступила место! «Папаша...» Дура!» — Он шел и ругал ее.

Теперь я понимаю его. Не мог он чувствовать себя старым, когда уходил на войну.

— Неужто помоложе не нашли? — вытирая глаза, говорила мама. — Вон сколько в поселке мужиков!

Она перечисляла мужчин моложе отца, а он терпеливо ей разъяснял:

— Кузьма — сталевар. Он нужен.

— А Моргунов, а Семен Коршунов? Сальников Петро? Он же, как и ты, токарь?

— У Петра другой завод. Пропуска новые выдали.

— Перешел бы и ты к ним? — виноватым голосом попросила мама и тут же добавила: — Ведь старый же. Да и сколько можно? Две уже отвоевал...

— Какой же я старый? Посмотрите, ребята! — Отец повернулся к нам и, шутливо выпятив грудь, расправив плечи, заговорщически подмигнул: — Я их, гадов, еще в германскую лупил...

Отец осанисто прошелся по комнате. Он искал нашей поддержки, изо всех сил старался развеселить мать, но она отвернулась, заплакала. Отец сразу сник. На лице проступили рябинки — следы перенесенной в детстве оспы. Обычно они были незаметны, но когда отец волновался, рябинки вдруг высыпали и старили его.

Тогда был большой призыв. Из района уходило сразу несколько сотен мужчин, и большинство из них отцовского возраста. Уже во дворе военкомата, оглядывая толпящихся людей с рюкзаками, с телогрейками под мышками, отец, будто радуясь чему-то, шептал матери:

— Смотри, я тут самый молодой...

Мы с Сергеем стояли рядом. Отец говорил то с матерью, то с нами — с мамой серьезно, а с нами шутливо, но, когда их начали строить в колонну, придвинул всех нас к себе и сказал:

— Ну смотрите здесь. Ты, Андрюха, — это мне, — теперь старший мужчина в семье. Слушайся мать, не обижай Серегу. Где остановимся, сразу адрес пришлю. Вы мне тогда письма Виктора переправите. Ему я тоже напишу...

Первое письмо пришло с пересыльного пункта, из города Камышина.

— Совсем рядом, — обрадовалась мама, — на пароходе — одна ночь.

И она засобиралась. Но пришло другое письмо. Отец просил не приезжать: их отправляли дальше.

Потом весточки от него приходили со станции Поворино, из города Урюпинска, еще откуда-то, и вдруг поздно осенью мы узнали, что наш отец совсем в другой стороне, за Доном, на окопах. Отправляли на север, а оказался на западе нашей области, где сейчас строили оборонительные рубежи. Узнали не от него, а от соседа, дяди Пети Аксенова, сослуживца отца. Тот писал, что живут они голодно, просил «прислать харчей и что-нибудь из теплой одежды». Была в его письме фраза: «Николай Чупров тоже с нами».

С этой вестью и прибежала к нам вечером тетка Ульяна Аксенова.

— И что за человек! — чуть не в голос зашумела мама. — Все у него не как у людей!

Тетка Ульяна ушла, а мама еще долго выговаривала отцу, будто он был в другой комнате.

— Ну чего рваться, чего рваться на эту войну! Ее и так не минуешь. Попал на окопы, так и письма надумал не писать... Что ты за человек?..

А вот я понимал отца. Отправлялся бить фашистов, а его — окопы рыть. Конечно, обидно!

Но вскоре пришло письмо и от отца. Стояли они километрах в двухстах пятидесяти от Сталинграда, где-то за рекой Чиром, и к нему можно было приехать.

— Ну вот, наголодался и сговорчивее стал, — прочитав письмо, беззлобно сказала мама. Уже на другой день они с тетей Ульяной стали собираться.

— Время военное, — объяснила нам мама, — спасибо, начальник хороший, под свою ответственность отпустил. Три дня сроку дал. Если опоздаем, судить могут.

Когда на третий день к вечеру мама не приехала, мы заволновались. Вспоминали слова отца.

«Лучше иди на фабрику, — говорил он маме, — меня там все знают, и тебе легче будет».

Мама не послушалась: далеко от дома, да и карточка хлебная маленькая. Пошла на бетонный, завод-то рядом. И вот теперь ходят слухи, что фабрику переводят на выпуск военной продукции и там карточки будут

больше, чем на бетонном. Прогадала, выходит. А теперь если опоздает, то судить могут. Время военное!

Так мы рассуждали с братом Серегой в тот вечер, тревожась за отца и за маму. Ее не дождались, уснули. А утром открываю глаза — мама в комнате. Сидит на койке и застегивает кофточку. Лицо обветренное, загорелое, а глаза хоть и усталые, но веселые.

— Хотела ложиться, да не к чему. Завтрак приготовлю и побегу на работу.

— Ну, видела?

— Видела. День-деньской, от зари до зари в степи копают. Худющий! Почернел весь. За вами скучает. Обещала, если до Нового года его никуда не отправят, то поедете с Сережкой к нему. Тетка Ульяна повезет своих и вас захватит. За нее поработаю, а вы съездите.

Проснулся Сергей. Мама спешила:

— А ехали, не приведи господь! На товарняках, на открытых платформах, военные сгоняют, а мы цепляемся...

Мама сдержала обещание. И мы с Серегой побывали у отца. Это была удивительная поездка. Она открыла нам многое в той войне, которая шла уже полгода.

От железнодорожной станции шли пешком километров двадцать, а то и больше, тащились весь день и несли в мешочках, перекинутых через плечи, продукты для отца: пшено, муку, немного сала, масла, даже баклажку с водкой. Все было в узелках, сумочках, переложено шерстяными носками, варежками, упаковано, чтобы не давило плечи. На плечи давило, болела спина. Последние километры я нес оба мешка (из мешочков они превратились в мешки!), а Серега еле плелся сзади.

И все же не это доконало меня. Почти по всему нашему пути мы видели тысячи людей, чернеющих на снегу. Люди напоминали мне изгородь из темных столбиков. Изгородь совсем не двигалась. Она ломалась. Ее жердинки то исчезали, то появлялись на снежном поле. Я понял, что это не изгородь, а люди, только тогда, когда тетя Ульяна сказала:

— Вон они, наши горемычные, землюшку долбят.

Еще когда мы сидели на станции, а потом ехали на поезде и опять сидели в ожидании другого, когда бегали по путям и спрашивали у военных, штатских, у мужчин, женщин, детей, куда идет такой-то поезд, я подумал: «Наверное, все люди на земле побросали свои дома и едут куда глаза глядят». А сейчас смотрел на шевеля-

щиеся черные жердочки на снегу и впрямь поверил, что весь мир тронулся с места. И сделала это война, которая гремела уже не где-то там далеко, а совсем рядом.

Мы увидели отца. Сидели, отогревались у печки в большом школьном коридоре, а он вбежал. В телогрейке, перепачканной глиной, в грязных сапогах, в руках — ушанка. Волосы на голове слиплись, на висках дрожат бусинки пота. Подхватил Сергея, потом присел рядом и сдавил нас обоих крепкими, как железо, руками.

— Мне сказали, твои сыны там... Ну как вы? Не поморозились? Как назло, холода и холода.

Прожили мы с отцом день и две ночи. Ночевали с солдатами в холодной школе. Я спросил, где же теперь учатся дети.

— А в своих домах, — спокойно ответил отец.

— Вот лафа, сиди дома! — оценил Серега.

— Нет, — улыбнулся отец. — Они ходят, только школа у них по очереди: сегодня у одних в доме, завтра у других.

Брат озадаченно нахмурил лоб: он думал.

Спали вповалку на полу. Отец укрывал нас всем, что у него было: телогрейкой, шинелью, стеганой поддевкой, даже шарфом, но к утру в школе стало так холодно, что мы проснулись. Дневальный простуженно кричал:

— Подъем! Подъем!

Все стали сворачивать постели. Как и вечером, огромная комната вдруг превратилась в толкучку, и меня поразило, как все эти люди смогли здесь переночевать, не задавив друг друга.

Днем пошли на окопы к отцу. Они были километрах в пяти от станицы и тянулись по бугру от горизонта до горизонта. Тысячи людей в телогрейках долбили кирками и ломами мерзлую землю *.

---

* Уже когда были написаны эти страницы, автору в одном журнале попалось интервью с бывшим секретарем Сталинградского обкома партии М. В. Водолагиным. Там говорилось: «Еще в октябре сорок первого, когда фашисты рвались к Ростову-на-Дону, для защиты оборонной промышленности города на подступах к Сталинграду развернулось строительство трех оборонительных рубежей протяженностью 1100 километров... К концу года на их сооружении работало 107 100 человек местного населения и около 88 тысяч военнообязанных. За три месяца лопатами и ломами было вынуто 7,9 миллиона кубометров земли, сооружено 6500 огневых точек, 3300 землянок. 195 тысяч строителей — население большого города — работали в необжитой, безводной степи, где не бы-

Люди, люди, люди... Сколько же в России людей? Здесь все больше в возрасте отца, а то и старше.

— А мы вам тут гостинец приготовили. — Отец нырнул на дно глубокой траншеи и, подняв на бруствер телогрейку, стал разворачивать ее. — Нате, прячьте! — Он сунул в руки Сергею спящего суслика.

Вечером, когда мы шли через станицу к школе, отец печально поглядел на порубленные сады во дворах и вздохнул:

— Уже и рубить нечего, а зимы еще только половина. Война! Даже до сусликов добралась. — И, заглянув Сергею за пазуху, повеселев, добавил: — Ну как, живой?

На следующее утро, провожая нас за станицу, отец шепнул мне, чтобы не слышал Сергей:

— Я уже три рапорта подал... Говорят, после третьего посылают. Только ты матери ни-ни. Понимаешь?

Я кивнул.

ВТОРОЙ ФРОНТ

Зима пришла необычно рано. Снег как лег на ноябрьские, так уже больше и не сходил.

Война, казалось, идет страшно давно. Началась она, когда из Заволжья, как из печи, на город дышало зноем, а сейчас все заметает снегом, жмут морозы. За полгода столько всяких перемен!..

Отца уже нет на окопах. Он писал: «Переезжаем на новое место». Я знал, что это за место, но хранил доверенную мне тайну: «Матери ни-ни». Теперь отец, как и мой старший брат Виктор, в настоящей регулярной армии. Виктор — уже больше года. Он ушел летом сорокового, после десятилетки. Учился в Грозненском военном училище тяжелых бомбардировщиков, и вот недавно у них состоялся ускоренный выпуск. Брат — штурман авиации дальнего действия. Отец — сапер, это его старая военная специальность, «еще с германской», как он говорил.

А дома новостей тоже хоть отбавляй.

Хлеб, мясо, сахар и все другие продукты давно получаем по карточкам. С ними столько хлопот. Идешь в магазин, и мама десять раз тебе строго-настрого накажет: «Смотри, прячь дальше!»

ло ни жилья, ни коммунального хозяйства. ...В январе 1942 года оборонительные рубежи первой очереди были построены». (Здесь и далее цитируется по журналу «Молодой коммунист», 1975, № 8.)

Потерять карточки — самая страшная беда. Вся семья месяц будет голодать.

Магазины с каждым днем пустеют. Верхние полки и витрины теперь свободны. Продукты и товары только на нижних, под рукой у продавцов. Все это пугающе необычно, странно. Но есть и интересное.

На площади в центре города выставили остатки сбитого немецкого «юнкерса». Около него постоянно толпа. Дежурит милиционер — отгоняет мальчишек и чересчур любопытных взрослых. И все равно каждый ухитряется унести с собой «кусочек» самолета.

Наша троица, Витька Горюнов, Костя Бухтияров и я, — все мы учимся в одном классе, — уже три раза ездили на «дачнике», пригородном поезде, в центр города, и теперь у каждого по нескольку железок от «юнкерса». Я хвастливо показал маме дюралевый уголок с облупившейся зеленой краской.

— Выброси! — прикрикнула она.

На уроке геометрии я вытащил обломок и стал чертить. Странно и тревожно было держать в руках эту «линейку», кусочек легкого металла — он ведь оттуда, из страшной фашистской Германии. Где сбили этот самолет? На дощечке, которая была выставлена перед его остатками, надпись: «Немецкий двухмоторный бомбардировщик Ю-88. Сбит огнем зенитной артиллерии на подступах к городу». А где эти подступы? Уже были одиночные налеты на наш город. На окраины упали первые бомбы.

До сих пор помню истошный, режущий крик тетки Ульяны Аксеновой: «Ой, батюшки, Бекетовку бомбили! И СталГРЭС! Ой, батюшки, людей поубивало...»

Мы были во дворе дома и слышали какое-то беспорядочное уханье, доносившееся с южной окраины города, но не обратили на него внимания. И вот во двор вбежала перепуганная тетка Ульяна:

— Поубивало... лю-у-де-ей!

Все бросились на улицу. Мы, мальчишки, не сговариваясь, бежим к железнодорожной платформе. Оттуда легко умчать в любой конец города. Прыгнем на подножку — и через четверть часа уже в Бекетовке!

Когда прибежали, к платформе подходил поезд. Это был наш и не наш зеленый «дачник». Те же двухосные грязно-зеленые обшарпанные вагоны с низко спускающимися, открытыми подножками. Та же «овечка», за-

копченный паровозик с медными буквами ОВ. И все же это не наш поезд.

Выбиты окна, задраны листы железа. И зияющие дырки в стенах — вагоны прямо просвечиваются насквозь.

Поезд мертв. Из него никто не выходит, и в него никто не садится. Передо мной, вздрогнув, застыла перекошенная подножка, я впился глазами в отполированный руками пассажиров поручень. Его кто-то перегрыз. Невероятно! Металл толщиною в мою руку перекушен зубами, и я вижу бороздки. Следы от зубов блестят...

Кажется, поезд стоит не три положенные ему минуты — дольше. Когда наконец паровоз устало толкает израненные вагоны, я чувствую, как занемела у меня шея.

Смотрю вслед удаляющемуся поезду и думаю: «Как же тогда человек, если толстенные железки перекусывает, как нитку? Вот она какая, война!..»

Не знаю, может, задним числом, но мне верится, что именно в тот день я понял, что идет какая-то иная война, чем та, про которую я так любил читать книги и смотреть фильмы. Совсем не та. Моя — нестрашная, победная война, а эта какая-то обидно-непонятная, чужая.

Я так думаю сейчас потому, что хорошо помню свои ощущения. Многое забылось, выветрилось больше чем за три десятка лет, а вот это напряженно-тревожное чувство — совершается что-то ужасное, совсем не то, о чем я думал, не то, чего я мог ожидать и о чем, как мне казалось, еще продолжают говорить в тылу, — помню хорошо. Помню даже, откуда родилось это чувство: из отчаянного, истошного крика тетки Ульяны. Он навсегда вошел в меня: «Лю-у-де-ей поубивало!» И перебитый неведомой силой поручень вагона. Я вдруг понял, что на этой войне убивают людей, которых я знаю. Ведь уже их нет — тех, кто ехал в этом вагоне!

Может не стать отца, Виктора, могут убить кого-то из нас. Война все ближе и ближе, она уже под Ростовом. Все знают, как это близко. И по карте и так, поездом. К нам года два назад приезжала тетка из Ростова. «Вчера села, а сегодня уже тут», — по-казачьи певуче растягивала она слова.

Да я и сам знаю, что близко. Неужели этого никто не понимает?

Вчера смотрел хронику перед кинофильмом «Мы из

Кронштадта». Показывали подбитые немецкие танки. Низкие, угловатые, с крестами, и рядом в траве черные, раздувшиеся трупы. Почти в пол-экрана сапог убитого. Голенище короткое, широким раструбом, и в нем торчит толкушка, точь-в-точь какой мать толчет картошку, только ручка немного длиннее. Еле догадался, что это немецкая граната.

Потом показали отбитую деревню. Печные трубы, плачущая женщина и наши красноармейцы. Больше всего меня удивили, нет, поразили красноармейцы. Небритые, грязные, смертельно усталые. Таких я видел на окопах, когда мы с Сережкой ездили к отцу. Но ведь там работали стройбаты! А на войне регулярная армия. И отец так говорил. В нее он и рвался. В регулярной настоящие красноармейцы, как наш Виктор. Молодец к молодцу. Вот ходят они по городу — подтянутые, опрятные...

Жить стало тревожно, тяжко. Приходили письма от Виктора уже с войны, а в них ни одного слова, где он. Спрашиваю у мамы, а она молча показывает на овальный штамп! «Проверено военной цензурой».

Все понимаю, не маленький. И все же обидно. Неужели он не может сказать, где они воюют? Ну хотя бы намеком. Я бы догадался. Я же не Сережка. Он, конечно, пацан, ему только девять, а мне-то уже четырнадцатый...

В школе полно новостей. Даже ходить сюда стало интереснее. Появились новые уроки. У нас военное, а у девчонок — санитарное дело. Мы изучаем винтовку, ручную гранату РГД, противогаз, маршируем строем. На наших уроках интереснее, чем у девчонок. Еще бы, мы имеем дело с настоящим оружием, а они — с бинтами, марлей, шинами, носилками. Мы выбегаем во двор с винтовками (правда, их всего две на школу), девчонки — с санитарными сумками.

А недавно из районо пришло распоряжение провести несколько уроков в старших классах в противогазах. И вышел конфуз. Девочки сразу стали задыхаться.

— Противогазы неисправные!

Поменялись с мальчишками. Потом стали меняться мальчишки с мальчишками. Физик Александр Иванович, добродушный, доверчивый старикан, взялся сам проверять маски. Повскакивали с мест, хохот, толкотня, шум.

— Вы же старшие в школе! — закричал на нас доб-

ряк Александр Иванович. — Как же так можно? — И обиженно отвернулся к окну.

Прозвенел звонок, Александр Иванович взял журнал и, еще больше сгорбившись, вышел. Мы затихли. Теперь нас даже некому отругать. Строгого завуча, который мог задать такой нагоняй, что уходили от него со слезами, призвали в армию.

Новости, новости... Новости каждый день. В городе полно военных. Они теперь стоят в каждом доме. У нас поселились веселые и «богатые» люди — шоферы. Они даже не всегда ходят на свою военную кухню за обедом. Из поездок привозят мясо, птицу, рыбу, картошку, овощи. Перепадает и нам. Живем сытно.

— Вот теперь бы поехать к отцу, — говорит мама, глядя на продукты, которые нам щедро дают военные. — Как он там, бедный?

Сейчас она больше переживает за отца.

— Виктор на месте, в части, а отец в дороге.

Как только приходит с работы, так сразу спрашивает:

— Писем нет?

Но были у нас и радости. Наши освободили Ростов. Мы, мальчишки, просто ошалели от этой новости.

— Ну, теперь пойдет! — запальчиво кричу я матери. — Теперь держись!..

А мама испуганно обрывает меня:

— Ой, не дай бог, если отец там... Заступи и сохрани.

Она всего боится. Чем ее убедить? Достаю из полевой сумки (подарок дяди Саши, шофера) учебник. Показываю карту:

— Смотри, смотри, куда погнали.

— Все равно близко, чего ж тут, — шепчет она. Рядом стоит Сергей. Он удивленно таращит распахнутые глазенки, силится что-то сказать, потом кидается к портфелю, достает мой старый учебник географии для четвертого класса и быстро разворачивает карту:

— А тут дальше. Вот Ростов, а вот Сталинград.

Мама грустно смотрит на Сергея, глаза ее вдруг будто начинают таять. Отвернувшись, она говорит:

— Давайте собирать ужин.

За ужином то же. Говорим о Ростове, об эвакуированных из этого города.

— Они теперь поедут домой?

Мать кивает. Она не спорит с нами, но меня злит, что

она слушает нас рассеянно. Чего она? Вон как турнули фашистов! Скоро войне конец...

Но мама только качает головой. И вот когда через неделю, в декабре, началось контрнаступление под Москвой, я, горячась, стал доказывать ей:

— Ну, видишь, видишь. Теперь все! Война кончается.

А она:

— Где наш отец? Не угодил бы он туда...

И о Викторе плачет, ругает его:

— Глупый, глупый, чего он рвался на ту войну? Туда всегда успеешь.

С ней стало неинтересно говорить. Вот с дядей Сашей, шофером, другое дело. Он все понимает. С ним и о сводках Совинформбюро, и про второй фронт, и про рабочих Германии — все интересно.

— Они поднимутся, Рот фронт еще живой!

Дядя Саша соглашается. Не спорит. Ему я рассказал про военный план нашей троицы — где лучше всего было бы открыть англичанам и американцам второй фронт.

— Фашисты ждут их в Бельгии или Франции, а союзникам надо двинуть прямо Гитлеру под нос, высадиться в Германии.

Я показал дяде Саше карту, исчерченную красными линиями маршрутов кораблей и голубыми трассами воздушных десантов.

— У нас все учтено. Вот здесь прикрытия с моря, а здесь — с воздуха. В тылу диверсионные группы Рот фронта.

Дядя Саша молчал. Он серьезно рассматривал карту.

— Что? Непонятно у нас?

— Да нет...

— Главное — внезапность удара, — доказываю я. — Бить фашистов надо их же оружием.

— Хорошо бы! — наконец соглашается дядя Саша. — Вот теперь, когда их от Москвы погнали, им бы, союзникам, и начать.

— Конечно, самый подходящий момент!

Дядя Саша как отец, он все понимает. Гитлеровцев гонят с треском. Каждый день по радио называют освобожденные города и населенные пункты: Наро-Фоминск, Клин, Волоколамск, Можайск...

Раньше я и не знал об этих городах, а сейчас они стали родными. Их названия повторяют все, а я с хо-

ду придумываю рифмы: «Клин — из немцев блин», «Калуга — фашистам туго», «Старый Оскол — фрицам кол».

После Москвы так здорово пошло, что наша троица и вправду стала ждать сообщения по радио об открытии второго фронта. Но шел месяц за месяцем лютой военной зимы, а сообщения не было, и войне, как говорила мать, «конца-края не видно».

Уехал на своем ЗИСе дядя Саша. Их автоколонна ушла на Ростов. Значит, на войну. Жизнь как-то сразу поскучнела, и в сводках Информбюро не стало названий освобожденных городов. Даже нечего рассказывать маме. Она приходит с работы и после вопроса о письмах от отца и Виктора всегда спрашивает:

— Что в сводке?

— Тяжелые бои под Вязьмой, Ржевом и этим, как его, Демянском.

Мама слушает рассеянно.

— А еще что?

— Много передавали про партизан, — выпаливаю я. — Передали, что колхозники партизанского края прорвались в Ленинград. Двести саней с продуктами.

Мама, не дослушав, устало идет на кухню.

Давно заметил, раз в сводках много сообщений о партизанах, значит, на фронте нет крупных операций. Наступление под Москвой закончилось. А от отца было письмо — «едем в Тулу». Значит, он где-то там.

Однажды на нашей станции остановился необычный товарняк. На открытых платформах стояли диковинные грузовики, выкрашенные в зеленый пятнистый цвет. Меня поразило, что у машин и кузова и кабины из железа. Таких я еще никогда не видел. А когда перевел взгляд на колеса, то прямо ахнул. Протектор такой, как гусеницы у танка. Я даже подумал: а может, и колеса из металла. Вся машина из железа. Только окна в кабине да фары из стекла. И то перед фарами — железные решетки. Вот это машины. Звери! Вот бы дяде Саше такую! А то он, наверное, со своим стареньким ЗИСом замаялся там.

— Ты чего, оголец? — шумнул мне с платформы заснеженный тулуп.

— Дяденька, а что это?

— Второй фронт, сынок.

У платформы собиралась толпа, и «тулуп» весело, скорее для согрева, чем для порядка, стал покрикивать:

— А ну от военного имущества. Проходи, проходи. А ну!

Я смотрел на диковинные колеса, и меня словно огнем обожгла догадка: «А ведь и правда, война может не скоро кончиться».

Потом бежал домой и думал об этих машинах и словах часового про второй фронт. «Когда же они его откроют?»

ЗИГЗАГИ

Меня сокрушило сообщение, переданное по радио. Под Харьковом пропало без вести 70 тысяч наших войск...

Ослышался? Но мама почти в голос запричитала:

— Ой, боже, ой, лышечко. Там же Витя наш!..

Сергей испуганно смотрел на мать. Личико его задрожало. Мне тоже стало не по себе. Виктор в последнем письме намекнул: «Скоро услышите про нас». Когда началось харьковское наступление, мы решили — он там.

И вот эта весть как обухом по голове. С начала войны радио не сообщало такого. А было всякое. По три города в день оставляли. И я знал: если наши уходят, то в живых уже нет никого. А тут 70 тысяч без вести. Как же это? Такая массища людей. Даже невозможно представить сколько. Стал считать. Кинотеатр «Комсомолец» вмещает 700 человек. Когда мы выходим из него, заполняется вся улица. Если люди выйдут из десяти кинотеатров, то это будет только семь тысяч. Значит, сто «Комсомольцев».

Попытался представить такую толпу. Она заполняла всю центральную площадь города, прилегающие скверы и садик, растекалась по улицам... На меня будто жаром пахнуло из печи.

Нет, с этим открытием я уже не мог оставаться дома. Побежал к Косте.

Он сидел с двухлетней Катькой, вечной его обузой, и, конечно, ничего не знал. Я рассказал про Харьков, потом про то, сколько, по моим представлениям, это будет народу, и он тоже испугался.

— Ты только матери про кинотеатр не говори. А то начнет...

— Что ты? Там же наш Виктор...

— Что ты, он же летчик!

Мы вдруг замолчали, будто споткнулись о запретную тему.

Костин отец тоже был на войне, и в их доме жили те же страхи, что и в нашем.

— Уже все роют окопы, — начал Костя и вопрошающе посмотрел на меня: знаю ли я эту новость? — У матери на мебельном, — продолжал он как можно спокойнее. — На кожзаводе тоже. Везде роют. — И, видимо, догадавшись, что я не знаю, окончательно срезал меня: — На нашей Верхней улице тоже начали. Колышков понавбивали...

Я вскочил, готовый бежать на улицу. Костя, выждав минутку и кивнув в сторону сестренки, которая возилась с какими-то баночками, шепнул мне:

— Вот уложу эту, и пойдем.

Катька словно ужаленная закричала:

— Не буду спать, не буду!

— Будешь, будешь! — Костя был железным человеком. Он подхватил одной рукой сестренку и потащил к кроватке. — Будешь. Ишь моду взяла. — Потом пристрожил: — Спи, а то убью!

Катька еще долго всхлипывала, а Костя кричал, как надоела она ему и какое она вреднющее существо. Потом Катька затихла, и утих Костя.

— Спит... — шепнул он, и мы стали на цыпочках выходить. Катька тут же подняла свою нахальную рожицу:

— Я с вами!

Костя так и взвился: «Вреднющее существо» победило. Пришлось Катьку брать с собой.

На краю улицы действительно белело десятка два деревянных колышков. Здесь же была начата траншея. Костя долго объяснял мне, как надо рыть окопы, как бомбоубежища и как ходы сообщения к ним.

— Бомбоубежище — это тот же блиндаж, — покровительственно говорил он. — Только большой блиндаж и много накатов.

Мы заспорили, сколько может быть накатов из бревен. Костя утверждал — шесть, восемь и даже десять. Я говорил, что три, от силы пять.

— А если блиндаж для маршала, для Тимошенко или Ворошилова?

Я растерянно умолк. Потом, рисуя прутиком на песке, он стал объяснять, почему траншеи и ходы сообщения роют зигзагами.

— Понимаешь, если бомба или снаряд падает в один конец зигзага, то другой остается в стороне.

Костя горячился и рисовал один за другим свои зигзаги. Катьке понравилась наша игра. Она тоже нашла палочку и, протопав в центр стратегических линий брата, начала черкать их. Косте пришлось «переселить» свои чертежи.

— Осколки летят по прямой. Если нет зигзага, то всех убивает. Чем больше зигзагов, тем лучше.

Меня поражало, откуда все это Костя знает. Даже зло брало.

С этого дня в поселке все стали рыть блиндажи и окопы. Сколько было разговоров, споров, где и как их рыть! Мы начали свой метрах в тридцати от дома. Одни говорили: далеко.

— Не успеете добежать!

Другие утверждали: слишком близко.

— Дом загорится, и вы в окопе сгорите.

Это сказала эвакуированная из Ростова толстая тетя Настя.

— Как загорится? — испугалась мать. — Иди отсюда, не болтай!

Женщина обиженно отвернулась и пошла, а нам всем стало не по себе. Веселое и дурашливое для нас, мальчишек, занятие рыть перед домом яму стало не таким уже озорным и интересным.

— Ничего себе, сгорит наш дом?! — сказал Серега, и глаза его распахнулись, как у испуганной птицы.

И все-таки окоп перед домом мы вырыли. Он был по всем правилам — зигзагом. Но прошел дождик, и стены его стали оплывать. Тогда мы накрыли свой зигзаг досками и присыпали землей. И все же затея с нашим окопом-зигзагом была каким-то неправдашним делом, вроде игры. Никто не верил, что в окопе придется когда-то прятаться от бомб и снарядов. Не верили, что война докатится до Сталинграда, до нашего рабочего поселка, прижатого заводами к самой Волге.

В нашем зигзаге можно было пересидеть час, другой и то не во время бомбежки и артобстрела, а скорее дождя. Но это мы поняли позже, через месяц, когда начались воздушные тревоги. Да, именно тогда, а они начались уже в разгар лета.

Я почему-то помню их только ночные. Дневная в моей памяти осталась одна — 23 августа, в черный день Сталинграда. Но об этом потом.

Когда мы на рассвете выбрались из нашего зигзага, мама сказала:

— Уж лучше на дворе пусть убьют, чем в окопе задохнуться!

Мы все будто в бане побывали, только в грязной и невыносимо душной. По лицу у мамы стекали грязные струйки, Сережка был красный как рак. Кто бывал летом в нашем крае, тот знает, какие у нас ночи, а воздушные тревоги начались, когда жара уже захлестнула город.

Нет, наши зигзаги были хуже душегубок. Это поняли сразу все, потому что уже на следующий день повсюду заново рыли и строили убежища. Сооружали настоящие блиндажи и землянки, в которых можно было жить. И строили не во дворах, а подальше от домов. А самые мудрые — в оврагах. Вспомнили про погреба, каменные подвалы. А зигзаги забросили совсем или стаскивали туда из домов утварь, мелкую мебель.

Мы долбили свое новое убежище на склоне крутого оврага, который был метрах в трехстах от дома.

Наш район, как и весь Сталинград, прорезало несколько глубоких оврагов, упиравшихся в Волгу. (После войны, уже в шестидесятые годы, их замыли песком земснаряды.) Наш образовался от большого оползня. На площади в десятки гектаров мягкие породы сползли в Волгу, а крепкие суглинки остались. Они торчали в овраге причудливыми островками. В лазании по этим островкам-кручам и прошло мое детство. А теперь мы рыли тут свой блиндаж.

Я сам выбрал хорошо защищенную, почти отвесную кручу. Под киркой и ломом рыжий суглинок звенел, как камень.

— Такой выдержит любую бомбу,—хвастался я перед Костей и Витькой, когда они пришли смотреть наш блиндаж.

— Выдержит, — отозвался рассудительный Костя. — Только как вы его выдолбите?

И Костя стал каждый день приходить к нам с Катькой и помогать рыть. Катьке нравилось возиться в куче свежей земли, а мы с Костей, как заправские землекопы, орудовали киркой и лопатой. Нам помогали и другие мальчишки. Прибегали Витька Горюнов, Сенька Грызлов. С Костей приходили ребята с его улицы. Дело пошло лихо. За несколько дней выдолбили в круче высокую, в мой рост, пещеру. Ее глубина и ширина —

больше двух метров. Это был наш мальчишечий блиндаж в нашем овраге, где мы знали каждую кручу и каждую канаву.

Пришел сосед старик Глухов. Он посоветовал нам принести бревна и толстые доски и заложить ими — вровень со склоном — выход, оставив только дверь. Мы трудились еще день, и у нас получился отличный блиндаж. Над ним лежало несколько метров земли, и его могло разрушить только прямое попадание крупной бомбы.

ЭВАКУИРОВАННЫЕ

Первые эвакуированные появились в нашем поселке через несколько недель после начала войны. Мне кажется, и слово-то это, трудновыговариваемое, которое многие поначалу произносили как «ва-ку-и-рованные», я узнал лишь тогда, когда стали прибывать к нам семьи с Украины, Белоруссии и других мест, где шла война. А позже это понятие навсегда закрепилось в моем сознании за двумя людьми.

Первого сентября мы пришли в школу, а в нашем классе новенькие.

— Из эвакуированных, — шепнул мне Костя Бухтияров и словно прилип глазами к высокой стройной девчонке, которая гордо шествовала между партами. Она как-то царственно села, неуловимым движением рук поправила роскошные черные волосы, и я вдруг почувствовал, что меня тоже будто привязывают к ней.

— Оля Горелик, она с Украины... Девчонка — закачаешься!

На перемене я рассмотрел Олю. Костя был прав. Румяные, как персики, щеки, глаза быстрые, насмешливые и, к сожалению, уже знающие, какие они ослепительные. Оля проплыла мимо, опалив нас насмешливым взглядом. «Что, мальчики, язык от удивления проглотили?» При этом она так гордо и достойно держала свою надменную головку, что я тут же простил ее высокомерие.

Но не такими были наши ребята. Зазнайке объявили бойкот.

А ей хоть бы что! Она ни в ком не нуждалась.

— Отлично, Оля! — словно в насмешку нам, неслась ей вслед учительская похвала, когда она, гордая и независимая, шла от доски. Оля никогда ни у кого не спи-

сывала. Это было невероятно. Даже самые трудные задачи у нее всегда были решены.

Оля училась в нашей школе всего месяца три. После бомбежки Бекетовки их семья уехала не то на Урал, не то в Среднюю Азию, но об этой девчонке я помнил долго.

Ждал от нее письма, хотя она не знала моего адреса. К ней ни разу не подошел, никогда не говорил с глазу на глаз, а вот ждал писем и придумывал всякие истории, которые якобы случались с нами обоими.

Вот как мы «прощались». До глубокой ночи просидели на лавочке, на берегу Волги. Я до сих пор помню, на какой лавочке мы сидели, и будто вижу со стороны на фоне блеклого заволжского неба наши силуэты. А потом пошел провожать Олю.

Утром они уезжали, и я был у их дома. Оля украдкой подала мне знак. Я ответил также незаметно. Мы никого не хотели посвящать в нашу «тайну»...

Эта сцена так много раз «проигрывалась» в моем воображении, что я уже готов был поверить: именно так оно и было. Оля стала каким-то наваждением. Позже, когда война откатилась от Сталинграда и я уже не считал себя мальчишкой, потому что был рабочим человеком, Оля перекочевала в мои «военные воспоминания».

Я довольно живописно рассказывал товарищам по работе, как нас с Олей во время бомбежки чуть не убило. Швырнуло на пол, а когда после взрыва бомбы поднялись, то оказалось, что в комнате нет стены. Случай такой был, но я тогда находился не у Оли, а у Сеньки Грызлова, одноклассника, тоже из эвакуированных. Судьба Сеньки и всей их семьи была другой, но об этом дальше. А с Олей Горелик, вернее, со мной происходили самые невероятные превращения.

Оля везде была рядом. Она прошла всю мою войну, была ранена, и я ее спасал.

А однажды неожиданно для себя я рассказал ребятам, как ее убило. Рассказал подробно, правдиво и так трогательно и печально, что сам чуть не плакал. И опять я ничего не выдумал, лишь рассказал, как в нашем дворе убило толстую тетю Настю. Не успела она добежать до блиндажа. Взрывной волной ее ударило о землю, и она, не приходя в сознание, умерла. Мы долго не выносили тетю Настю из блиндажа, думая, что она в забытьи. Уж очень тетя Настя была не похожа на убитую. Только тонкие струйки крови из носа. Их сразу

вытерли, и она, зевнув, прикрыла глаза. Так и лежала — недвижно, будто уснула, а потом, когда поднесли к губам зеркальце, поняли — умерла.

Рассказал эту историю про Олю и больше уже не мог думать о ней, как прежде. Оля стала тихо отходить от меня. И только понятие «эвакуированные» в моем сознании навсегда закрепилось за ней да Сенькой Грызловым.

Сенька появился в нашем классе осенью сорок первого, когда уехала Оля. Рыжий, с белесыми, словно выгоревшими на солнце, ресницами, с крупными веснушками на лице и руках, Сенька был до смешного нелепым парнем. Когда он появился в классе, Костя дурашливо завопил:

— Братцы, горим!

Сенька не обиделся, а начал хохотать вместе со всеми, и мы сразу приняли его в свою компанию.

Уже через несколько дней я был у него дома.

— Твой отец на фронте?

— На войне...

— А у моего бронь. — Сенька метнулся к кровати, выдвинул из-под нее чемодан и достал коричневую кожаную папку. — Вот, — показал он мне небольшую твердую бумажку с жирной красной полосой из угла в угол. — Он специалист по нефтяному оборудованию. — И, будто боясь, что я не поверю, начал доставать из папки документы и дипломы отца.

Он даже показал мне орден и газету с портретом отца. Младший братишка Ленька чуть не плача закричал:

— Не тронь! Папка будет ругаться!

Но Сенька сердито оттолкнул его и все показывал и показывал содержимое «семейной» папки.

У Сеньки даже побелели губы. Он долго говорил про отца, про то, какие тот делает машины.

— Они добывают нефть. А на нефти сейчас вся война держится. — Сенька совал мне в руки отцовские дипломы. — Ты глянь, глянь...

А я смотрел только на магическую бумажку с широкой красной полосой. Это от нее зависело, быть человеку дома или идти на войну. Вот от этой бумажки? Хорошо, что моя мать не видела этой бумажки. Она бы сейчас запричитала: «Другим людям... А у нас и сын там, и сам пошел...»

Сенька зря так болезненно переживал, что его отец не на фронте — потом он тоже пошел на войну. Весной

сорок второго, когда мы сдавали экзамены, в школу прибежал Ленька:

— Папку берут!

Надо было видеть, как гордо Сенька вскинул успевшую уже выгореть на нашем ярком солнце рыжую голову и как будто повзрослевший молча пошел домой.

Когда фронт подкатился к городу, Грызловы не уехали. Они, наверное, могли эвакуироваться в первую очередь. Но они остались. Остались и разделили судьбу многих сталинградцев.

Грызловы уходили от войны, а попали в самое ее пекло. На их родной Баку не упала ни одна бомба. Почему они не уехали из Сталинграда? Так случилось не только с этой семьей. В нашем городе оставались эвакуированные с Украины, из Белоруссии, Ростова, Краснодара, Ставрополя... Они уходили от войны, но, дойдя до Волги, почему-то не захотели идти дальше *.

Сейчас, с расстояния более трех десятков лет, я пытаюсь понять почему. И в том, как запомнилось то время, как я ощущаю его теперь, вижу несколько причин.

Ростовчане (а их погибло особенно много в нашем городе) хотели быть поближе к дому.

Девушки с Украины, весной сменившие в нашем доме военных шоферов, не поехали за Волгу, потому что им «надоело скитаться».

— Як спокинули ридну Полтавщину, так в дорози и в дорози, — горестно жаловалась моей матери самая говорливая и бойкая из них Шура Буряк. — Шо будэ, тэ и будэ. Як людям, так и нам.

ВОЗДУШНЫЕ БОИ

Воздушные бои для нас, мальчишек, были самым интересным и захватывающим зрелищем. Как только в небе раздавался гул, прерываемый захлебывающимися

* «Город к этому времени (лето сорок второго. — *Авт.*) был и так перенаселен эвакуированными — в то время в Сталинграде жило тысяч 800, до войны — только 450, а люди шли и шли... Эвакуировать народ было трудно. Сначала мы отправляли на восток семьи военнослужащих, женщин, детей, тех, кто приехал к нам из западных областей страны, тех, кто не работал на военных заводах. Сталинградцы уезжали неохотно. У всех был один веский аргумент против эвакуации: если город не сдадут врагу, зачем нам уезжать? И хотя мы убеждали, что скоро в черте города начнутся бои, что прекратится снабжение продуктами, водой, что не будет самого необходимого, нам всегда отвечали одно и то же: «О нас не беспокойтесь, как-нибудь переживем».

очередями: та-та-та, та-та, та-та... — мы бросали все, даже футбол, от которого нас ничто не могло оторвать, и бежали на пустырь, к оврагу, откуда «все видно».

Иногда бои начинались прямо над городом и нашим районом, а потом смещались к южной окраине (почему-то всегда к южной) и уходили за горизонт.

— Прогнали немцев, — спешил выпалить Витька Горюнов. И мы, недовольные и разочарованные, расходились с пустыря.

Так чаще всего случалось в первые дни воздушных боев над Сталинградом. Над городом тогда появлялись всего два-три неприятельских самолета. Бои были скоротечными. Не успевали мы добежать до оврага, как небо уже очищалось.

Но вот я увидел первый бой, когда падали самолеты. Я был не в поселке, а километров за восемь-десять от него. Наблюдал за этим боем с Лысой горы *, где мы много лет подряд перед войной сажали бахчи.

Скорее всего было это в июне, потому что мы пришли сюда на последнюю прополку арбузов. Не было никакой стрельбы зениток, и вдруг сразу почти над самой Лысой горой самолеты затеяли отчаянную карусель.

Наших было четыре «чайки», издали похожих на «кукурузников», и три тупоносых и коротких «ястребка». Немецких не то девять, не то семь. Они стремительно уходили в облака и оттуда коршунами кидались на наших вертких «чаек» и кричащих «ястребков». Именно кричащих. Когда за ними гнались тонкохвостые темные «мессершмитты» (они и вправду напоминали мне коршунов), «ястребки» включали форсажи, и их моторы, надрываясь, выли. Вой походил на крик отчаяния.

Это впечатление, наверное, создавала сама трагическая картина боя: сильный догоняет слабого, причем догоняет легко, играючи. Так по крайней мере в моем мальчишеском воображении оценивалось начало этого воздушного боя, когда настырные «мессершмитты» сбили один за другим два наших «ястребка».

Верткие «чайки» уходили легче. Они не давали себя преследовать, сразу заваливались на крыло или даже переворачивались и кубарем падали вниз, будто их сби-

* Как и Мамаев курган, она стала местом самых ожесточенных боев за Сталинград. Находится в южной части города.

ли, а потом «оживали» и кидались на «мессершмиттов».

Бой мне напоминал схватку курицы-клушки с коршуном, которую я когда-то видел в деревне у бабушки. Коршун падал сверху на выводок, а взъерошенная курица, расставив крылья, прикрывала собою цыплят. Когда коршун был у самой земли, она отважно прыгала, и хищнику приходилось увертываться от ее когтей и клюва. Но вот из-под нее выскочил белый комочек и стремглав покатился по траве. Коршун тут же упал на него.

Вот так же сожрали «мессершмитты» двух наших «ястребков», когда те выбились из общей карусели.

Сейчас наши самолеты вновь держались вместе. Они ходили огромным колесом, и к ним никак не могли пристроиться длинноносые «мессершмитты» — все время проскакивали мимо наших.

Та-та, та-та-та, та-та-та, та-та — прервала стрельба натужный вой моторов, и вдруг один «мессершмитт», не сбавляя скорости, неловко припал на крыло и стал отворачивать от карусели. Еще через минуту он густо задымил, и от него отделилось белое облачко.

Не успел я опомниться, как беспорядочно завертелась «чайка». Парашюта опять не было, и только уже почти у самой земли летчик выбросился. Казалось, он спасен, но тут на него спикировал «мессершмитт», и раздалось длинное «та-та-та».

Парашют относило к Волге. Я провожал его взглядом, пока тот не скрылся.

После этого бой продолжался, наверное, всего минуту. Неожиданно «чайка» пошла прямо на «мессершмитта», который заходил в хвост «ястребку». Самолеты клюнули друг друга и разлетелись на несколько серебристых и темных кусков. Я даже не успел сообразить, что вижу таран.

Читал и про Гастелло, и про Талалихина, и мне казалось, что таран должен совершаться по-другому. К нему готовятся, потом долго идут друг на друга или из последних сил ведут горящий самолет на колонну танков и бронемашин. А тут летали, летали, и вдруг один клюнул другого, и оба развалились. Все это было так неожиданно и потрясающе просто, что я прозевал, куда же делись остальные самолеты.

— А вот туда полетели, — ответил Сергей и рукой махнул в сторону Красноармейска.

Так я увидел воздушный бой, закончившийся тара-

ном. Но все это было мне неинтересно и непонятно, и я не стал ничего рассказывать Косте и Виктору. Просто нечего было рассказывать. Сошлись два самолета и разлетелись на куски. Будто столкнулись два предмета, не было даже парашютистов, а без них воздушные бои всегда какие-то мертвые.

Вероятно, я бы так и не понял увиденного, если бы не один случай.

Мы продолжали бегать к оврагу. Оттуда, с самой высокой кручи, открывалась вся река и Заволжье. Затаив дыхание мы смотрели, как самолеты, завывая, вдруг превращались в змеев, уходили к горизонту, разматывая за собой черные хвосты.

Все происходило очень далеко от нас и мало походило на правду. Часто нельзя было даже распознать, чей падает самолет. Позже мы научились разбираться. Если появлялась белая точка парашюта и на нее пикировал самолет — значит, сбили наш.

Думаю, это «картинное», как в кино, отношение к воздушным боям мы, мальчишки, поддерживали в себе сами. И вот почему. Как бы это ни было горько, сбивали чаще наши самолеты и не всегда потому, что фашисты брали числом. Когда начались бои за Сталинград, у них самолетов действительно было больше. В то время не было редкостью, когда два-три самолета с крестами гонялись за одним нашим. Но видел я и такое, когда один «мессершмитт» сбил сразу два наших. Мне показалось даже, одной очередью, потому что они загорелись одновременно. Самолеты шли один за другим через город и нырнули прямо в заволжский лес, а «мессершмитт» легко и безнаказанно догнал их и сразу зажег.

Мы стояли на той же круче оврага и, когда это случилось, не проронили ни слова. Обычно шумно обсуждали, спорили: «наш упал, не наш», «живой или неживой летчик, выбросившийся на парашюте», а тут словно и не видели. Постояли, постояли и молча разошлись.

И все же не этот случай отвадил меня от беготни на берег Волги, погасил мальчишеское любопытство, связанное с воздушными боями.

Тогда же я другими глазами посмотрел и на таран.

В лето сорок второго мы обзавелись собственной лодкой. Сколько лет жили на Волге и не могли приобрести, а тут без отца по какому-то выгодному случаю недорого купили отличную двухпарку.

Лодка для семьи, живущей на Волге, — это все. Свои

дрова, сено, дешевые овощи и фрукты из Заволжья, наконец, рыба. В тот день мы с Костей «заготавливали дрова»: ловили плывущие по реке бревна и, захватив их багром или накинув на бревно петлю, приплывали с ними к берегу. Скоро это занятие нам надоело, и мы махнули на левый, песчаный берег — покупаться.

Здесь было пустынно, только на отмели маячила одинокая фигура рыбака. Мы оставили лодку и, отойдя где поглубже, стали купаться.

Воздушный бой и в этот раз начался неожиданно. Самолеты сразу взревели над заволжским лесом. С пологого левого берега их было видно плохо. Они то устремлялись в безоблачное небо над Волгой, то уходили за лес.

Как падал самолет, мы прозевали, увидели лишь парашют. Белым облачком вспыхнул он почти над нами и начал падать прямо в реку. Остолбенело провожали его глазами, а ветерок тащил и тащил парашют над водой — все дальше от берега...

Первым опомнился рыбак, оказавшийся пареньком лет шестнадцати-семнадцати. Он остервенело стащил нашу лодки с отмели, направил в ту сторону, куда падал парашютист. Мы бросились за ним и на ходу вскочили в лодку. Парень и Костя налегли на весла, а я, ухватив кормовое, стал помогать им.

Лодка у нас быстрая, как огонь, и все же не успели. Летчик шлепнулся в воду, когда мы были метрах в трехстах от него. Он уже освободился от парашюта и плыл от него в сторону. На нас даже не посмотрел, вертел головой, оглядывался, а когда мы оказались рядом, прохрипел:

— Куда упал Колька?

— Не видели, — за всех нас ответил парень-рыбак и хотел было помочь летчику влезть в лодку, но тот молча и раздраженно отстранил его руку, жестом показал, чтобы я освободил корму, и через мгновение уже сидел на моем месте.

Мы заспешили к начавшему тонуть огромному белому полотнищу. Никогда не думал, что парашют такой большой — он чуть не утопил нашу лодку.

Летчик не помогал нам, лишь растерянно озирался. Если бы еще прежде мы не слышали его хриплое «Куда упал Колька?», то могли бы подумать, что он немец. Уж очень не боевой у него был вид. Палило солнце, а у летчика стучали зубы.

— Куда упал Николай? — повторил он. А когда рыбак снова ответил, что был только один его парашют, летчик выругался и отвернулся. Потом сел на дно лодки и стал стаскивать сапоги. Он сидел ко мне лицом. Сквозь мокрые русые волосы почти до самой макушки пробивались залысины. Лицо темное, прокопченное, с выпирающими крупными скулами. Глаза опущены, и мне показалось, что он плачет.

— Куда плыть? — спросил я у летчика, когда Костя с парнем втащили в лодку скрученные стропы.

Летчик не ответил. К нам уже спешил осводовский катерок. Он был крохотный, на него перешли летчик и рыбак, а парашют некуда было положить. Мы подали конец, и катерок бойко потащил нашу лодку за собой.

Шли к правому берегу под острым углом, прямо к пристани, которая находилась километрах в двух выше нашего поселка. Костя, пересев ко мне на корму, сказал:

— Он плакал, я видел...

Больше мы не говорили, а только смотрели на летчика. Он вдруг стал другим. Высокий и ладный в своем темном комбинезоне, стоял рядом с парнем-рыбаком и всю дорогу до пристани что-то горячо говорил. Стук мотора заглушал его голос. Несколько раз я слышал фразы: «...понимаешь, пятьсот сорок, пятьсот сорок». И опять злое: «Сволочи, расстреливают...»

Когда возвращались от пристани, парень показал нам отличный ножичек — подарок летчика — и стал рассказывать:

— Это Кравченко. Он в Испании воевал. У него две шпалы. Его уже третий раз сбивают. Кравченко говорит, что надо падать почти до земли, затяжным, а то все равно расстреляют в воздухе. Его друга, наверное, расстреляли. Ох и ругался же он, ох, ругался!

Парень неожиданно умолкал, завороженно рассматривая пузатый ножичек. В нем было не меньше десятка приборов. Не ножичек, а сказка! Никогда не видел такого.

— Он говорил про пятьсот сорок? — спросил я у парня.

— А-а, — очнулся тот. — Все дело в скорости. У «мессера» пятьсот сорок, а он на своем «ястребке»...

Парень сыпал словами летчика, и я вдруг увидел лицо этого уже немолодого человека: смертельно усталое, злое, полное отчаяния и горя. Все промелькнуло

на этом лице, пока летчик сидел в нашей лодке. А потом, когда он стоял на катере и, задыхаясь, горячо говорил что-то парню и мотористу, оно было другим: посуровело, стало каменно-твердым. А злость не проходила. Накричавшись, он плотно сжимал губы и сердито оглядывался по сторонам. Таким я запомнил летчика Кравченко, воевавшего в Испании и сбитого в третий раз в сталинградском небе.

Наверное, такое же лицо было и у того летчика, который пошел на таран.

После встречи с Кравченко, заслышав гул самолетов и привычные «та-та-та, та-та», я уже больше не бежал на высокий крутой берег Волги, к оврагу.

ЛИСТОВКИ

Говорили, что первый раз листовки над городом появились еще осенью сорок первого, когда немцы на несколько дней брали Ростов. Я же увидел их в начале лета сорок второго. Прибегает как-то ко мне Витька и просит дать клятву, что я никогда никому ни под какими пытками не расскажу о том, что он мне покажет.

— Никогда! — звонко, зацепив ногтем за зубы и проведя ребром ладони по горлу, привычно поклялся я.

— Нет, — испуганно прошептал Витька, — надо по-другому. Настоящую клятву.

— А как?

Витька опустил голову и хотел уйти.

— Ну, хочешь на крови? Ну? — и я схватил свою руку зубами. До крови прокусить не удалось, но красный след от зубов, видно, подействовал на Витьку.

— Только гляди...

Мы стремглав побежали к оврагу. Витька так долго водил меня по колючкам и колдобинам на дне оврага, что я уже готов был подумать, а не валяет ли он ваньку. Но вот он еще раз опасливо огляделся по сторонам и, присев, прошептал:

— Гляди...

В руках он держал бумажку величиною в пол тетрадного листа. На ней рисунок и подпись. Я присел рядом и обомлел. На бумажке были карикатурно изображены наши военачальники — убегают от танков. Внизу жирная бахвальная подпись, сулившая нашей армии поражение.

Мне стало жарко. Витька перевернул листок:

— Вот тут еще.

— Порви, — выдавил я из себя. — Сейчас же!

Витька испуганно смял листок. Я ухватил какую-то щепку и стал рыть землю. Через минуту мы похоронили бумажку и пулей выскочили из оврага. Догнав меня, Витька сказал:

— А таких много.

— Чего много?

— Ну, этих листовок...

Только сейчас понял, что это листовка. Меня оглушила карикатура — как они смеют?!

А война подходила к Дону. В сводках Совинформбюро упоминалась Большая излучина Дона. Я смотрел на карту и видел, что эта излучина острием упирается в Сталинград.

— Здесь самое близкое расстояние от Дона до Волги и нашего города, — говорил я Витьке. — Всего семьдесят километров. Мы с отцом за полдня на лошади доехали...

Костя растерянно смотрел то на меня, то на карту.

— А теперь и окопы совсем рядом роют, — сказал он. — Мама и все рабочие с мебельного ходят пешком. Утром уходят, а вечером домой.

Я знал. Это ближние окопы, а были и дальние, те, которые начал рыть еще осенью сорок первого мой отец. Теперь оттуда все вернулись, там идут бои.

Уже после войны я узнал, что эти окопы военные называли внешним и внутренним оборонительными обводами Сталинграда *. На внутренний обвод выходили почти все. Днем наш поселок словно вымирал. Выходили мы всей школой. Углубляли овраг, превращая его в противотанковый ров. Ходили пешком. И вот тут-то мы, мальчишки, увидели, что война действительно рядом. По буграм, которые опоясывали город, ставили зенитные батареи. В чахлом кустарнике, на взгорках были

---

* «Тогда же, в июне сорок второго, началось строительство рубежей второй очереди — внешнего обвода в Серафимовичском и Клетском районах, Камышинского обвода. С 12 июля развернулось строительство четвертого рубежа вокруг Сталинграда. Общая протяженность рубежей обороны достигла 2 572 километров. Вручную было вынуто и переброшено 14 миллионов кубометров грунта — больше, чем впоследствии на строительстве Волго-Донского канала. При этом в последние недели работа шла под непрерывными налетами вражеской авиации».

понатыканы ложные зенитки — два вместе сбитых бревна. Одно короткое, другое длинное. Они, как колодезные журавли, торчали в небо. А настоящие зенитки маскировали, закапывали в землю. Нам приходилось обходить их далеко: стояли часовые.

— Нас отгоняют, — сердито шептал мне Витька. — А вон она все видит. — И он кивал головой в небо.

Там в самом его зените висела «рама» — немецкий разведывательный самолет.

«Рама» постоянно кружила над буграми. Поначалу зенитки стреляли в нее, но она так высоко взбиралась в небо, что облачка разрывов всегда плыли ниже. Среди мальчишек ходила легенда, что сбить «раму» вообще нельзя, она вся бронирована.

— Самолеты она тоже не подпускает, — говорил Костя. — На ней со всех сторон пушки и пулеметы.

В это нетрудно было поверить, потому что «рама», пожалуй, неделю безнаказанно висела над городом. К ней даже привыкли. И зенитки уже не стреляли.

Но легенда все-таки была развеяна. Однажды, когда «рама», видимо тоже уверовав в свою неуязвимость, летала ниже, чем обычно, ее сразу же, первым залпом, срезала зенитная батарея. Орудия стояли где-то на Ельшанском бугре, в леске. Я запомнил ту батарею еще потому, что позже, когда уже бомбили город, из этого леска дольше всего доносились залпы.

Война совсем рядом, рассуждали мы с Костей, и все-таки не верилось, что бои придут в город и в наш район.

— Все равно отгонят, не допустят! — горячился я. — Уже было так с Москвой, Тулой...

Витька соглашался со мной. Выпив из бочки воды, противной, пахнувшей железом, мы выбирались из оврага в тень под деревья и обсуждали «ситуацию». Чего только не говорили люди здесь, на окопах! «Немцы уже перешли Дон!» «Они под Красноармейском и скоро выйдут к Волге!» Одна женщина говорила, что видела немецкие машины за Бекетовским бугром. Слухи, слухи... Настроение у всех мерзкое. Нас засыпают листовками. Особенно много маленьких, словно на одну закрутку, папиросных бумажечек, «пропусков» в фашистский плен, — так их называли: там была нарисована винтовка, воткнутая в землю.

Дед Булавин, могучий старик, который командо-

вал нами, мальчишками, на окопах, доставая кисет, говорил:

— Спасибо германцу, бумажкой снабжает, вот табачку бы сбросил:

— Сбросит, сбросит, не каркай, — отвечала ему тетя Маруся, невестка стариков Глуховых, наших соседей. — Вон на дальних окопах, сказывают, баб поубивало.

Тете Марусе лет двадцать семь, но она выглядит старухой. «Ее подкосила прошлая зима», — говорили женщины.

Сначала пришла похоронка на Петра Глухова, ее мужа, а вскоре заболела и умерла дочка трех лет. Простудилась и умерла.

У тети Маруси большие, широко открытые глаза, будто она постоянно чему-то удивляется. Еще прошлым летом она не была такой.

— Что делает с человеком война! — сокрушенно качают головами женщины, глядя ей вслед. — Что делает!

Я все чаще слышал эту фразу и чувствовал, понимал, что война что-то делает и со мной, открывал и в себе и вокруг какую-то новую, неведомую «страну». Ее можно было бы назвать той самой войной, о которой теперь все постоянно думают, про которую везде говорят и которая уже стоит рядом и дышит в лицо. Но эта «страна» совсем не похожа на ту войну, какая жила во мне с детства по книгам, фильмам и даже рассказам родителей. В той было не только много героического, победного, но и немало забавного, озорного и смешного. Мать рассказывала:

— Стояли в нашем хуторе казаки. Я пошла с утра в гости в соседнее село. А казаков с нашего хутора погнали красные. Вбегает в хату, куда я в гости пришла, казак, вытаращил глаза на меня — и как ошпаренный из дверей. «Поворачивай назад, — кричит, — опять в тот же хутор попали!»

На сегодняшней войне, думал я, такому не случиться. От нее — только похоронки и слезы. Во мне все закипает против этой войны.

Сейчас, спустя столько лет, мне трудно быть тем мальчиком, но кажется, что я и тогда уже понимал несоответствие этих двух войн. Понимал, хотя, конечно, не мог знать, что увиденное — это еще не сама война. Она, как гигантский ледник, толкала впереди себя

горе. Все, что пришло потом, нельзя было сравнить с уже пережитым нами. Нельзя было сравнить ни с чем, только с войной.

«КАМЕННЫЕ БОМБЫ» И ПАЕК

Мать пришла с работы, села на табуретку у стола и, тяжело положив руки на колени, сказала:

— Ну, давайте готовить ужин.

Она сидела, не шелохнувшись, словно превозмогая в себе что-то, а я стоял рядом и смотрел на ее руки — распухшие, красные, в ссадинах.

Мама уже несколько месяцев работала на бетонном заводе, а я только сейчас заметил, какими у нее стали руки. Не ее руки: обветренные, с потрескавшейся кожей, с серыми полосками въевшегося у ногтей цемента.

— Так наворочалась, так наворочалась, что шевельнуться не могу. — Она обвела усталым взглядом комнату, и в ее грустных глазах вдруг мелькнула радость. — А наш завод в военный переводят. Уже заказчики новые приезжали. Сказали, будем прямо для фронта работать. Значит, карточки другие выдадут...

Я знал, что мамин бетонный завод уже давно выполняет заказы для строительства оборонительных рубежей. Они делают плиты, балки и колпаки дзотов, с прорезями-амбразурами, похожие на белые бетонные чаны. Всю эту продукцию мы, мальчишки, знаем, потому что она изготавливается прямо на дворе завода. А здесь мы часто бродим. Знаем мы и о том, о чем, сохраняя военную тайну, намекнула мама. Уже несколько месяцев на заводе осваивают выпуск бетонных авиабомб. Целая груда битых каменных (мы их называем так) бомб лежит на свалке, в овраге. Они небольшие — килограммов от пяти до двадцати-тридцати, а может, и больше. Во всяком случае, мы их поднимаем, ворочаем. Это настоящие бомбы, только из камня. Внутри они пустые. Костя рассказал нам о них.

— Внутрь насыпается тол. — Он показывает отверстие. — Потом вставляется стабилизатор и взрыватель *.

Мама молчит об этих бомбах, знает, военная тайна.

* Автор уже через много лет после войны от фронтовиков-летчиков узнал, что эти «каменные бомбы» применялись при учебных бомбометаниях в авиаучилищах. Их начинали делать весной и летом сорок второго на этом бетонном заводе в Сталинграде, когда гитлеровцы рвались к городу.

А вот о новых карточках готова говорить без конца. По ним будет получать больше жиров, сахара, круп... И вдруг спрашивает:

— Карточки отоварили? Там постное масло несли...

— Масла не было, — отозвался Сергей. — Хлеб принес и повидло. На сахарную повидло давали.

— Что с этого повидла? — сердито повернулась ко мне мать. — Почему сам не пошел? А карточки целы?

Сергей отодвинул ящик кухонного стола, достал жестяную коробку из-под чая и подал ее матери. Она быстро проверила карточки и успокоенно вернула коробку брату.

— Надо было сахар подождать.

— Да все берут, месяц-то кончается, — возразил Сергей.

Мать уже хлопотала у плиты и, не слушая его, выговаривала мне:

— Нашел меньшего. Ему что дают, то и берет. — Заглянув в стол, она испуганно спросила: — А хлеба почему столько?

— Мы только по кусочку, — виновато выдавил я.

— С повидлом... — прошептал Сергей.

Мать с глазами, полными слез, глядела то на меня, то на Сергея и вдруг, бросив на пол тряпку, которой вытирала кастрюлю, не своим голосом закричала:

— Какой же вам теперь ужин? Какой? — Она посмотрела на банку с повидлом, которую мы предусмотрительно засунули в дальний угол стола, и вдруг сделала два заплетающихся шага к своей кровати, но, не дойдя до нее, опустилась на колени, беззвучно ткнулась головой в подушку, и плечи ее стали вздрагивать. Мы испуганно замерли, не решаясь подойти к ней. Сергей не выдержал и заревел в голос.

Во всем был виноват я. И хлеб и повидло Сергей принес домой в целости и сохранности. Мы отрезали по куску хлеба и намазали повидлом. Было так вкусно, что не заметили, как съели еще по куску, а затем еще и еще по маленькому. Хлеб отрезали тонкими ломтиками, подравнивали, чтобы было «как из магазина». Повидло соскабливали только со стенок банки, а когда опомнились, то сами испугались — половина принесенного Сергеем пайка исчезла. Мы поспешно засунули хлеб и банку в стол и уже до самого прихода мамы не проронили ни слова. А теперь вот что из этого вышло. Сергей ошалело кричал, перекрывая всхлипы матери:

— Я знал, я знал...

А мне было так стыдно и так плохо, что я готов был убить себя.

Позже случались куда более голодные и холодные дни, их даже и сравнивать-то смешно с весной и летом сорок второго, когда и голода-то никакого не было, а вот сорок третий и сорок четвертый, весна победного сорок пятого, а потом еще и зимы сорок шестого и сорок седьмого — вот когда было по-настоящему голодно, и тогда мы с Сергеем уже ни за что не позволяли себе съесть лишний, а значит, чей-то кусочек хлеба.

Несешь из магазина закаменевший на морозе серый кирпичик, к нему еще припаян крохотный довесок, и не было случая, чтобы этот кусочек не дошел до дома. Довесок всегда причитался тому, кто ходил за хлебом, — так уж установилось в нашей семье, потому что пойти в магазин, выстоять там очередь в стужу или в жару, помять бока у прилавка — тоже не простое дело. Но этот кусочек хлеба и я и Сергей всегда приносили домой, а уже здесь тот, кто принес его, распоряжался им по своему усмотрению.

Довесок сразу же торжественно разрезался на три части. Первая была немножко больше двух других — она шла как награда ходившему за хлебом. Мать свою часть почти всегда откладывала и потом, когда мы, по крохе откусывая и смакуя, съедали свои кусочки, отдавала ее нам.

Весь довесок часто не превышал и ста граммов, но он был таким вкусным и таким желанным, съедался в такой затаенной святости, что этими сладкими минутами мы жили целых два дня (хлеб получали через день), до часа, когда шли за новым пайком.

Мы строили планы, прикидывали, как заживем, когда мамин завод переведут в категорию военных.

— Хлебная будет семьсот, — радостно смотрит на нас мама. — Это не пятьсот. Другие карточки будут и на жиры, сахар, крупы...

— Может, и мясную дадут, — говорю я.

— Такую, как дядя Миша Горюнов получает? — спрашивает Сергей.

Серега ничего не смыслит в категориях заводов, и я объясняю ему:

— У дяди Миши первая, а это вторая, какая сейчас на папиной фабрике.

— Не фабрика, а завод, — поправляет меня брат. — Теперь там самолеты делают.

— Не болтай! — обрывает его мама, а потом что-то строго шепчет ему на ухо.

«Не самолеты, — хочется возразить мне Сергею, — а детали для самолетов: лонжероны, шпангоуты, стрингеры, консоли, уголки, стойки — все деревянные части, какие есть в самолетах». Но я молчу. Отцу и то нельзя об этом писать. А делают их на его станке. Костя говорил. Раньше ножки и всякие резные финтифлюшки, виньеточки для шкафов, диванов и этажерок точили, а теперь — детали для настоящих самолетов: там теперь Костина мама работает.

Жаль, что всего этого не знает наш отец, вот бы удивился. Его мебельная фабрика — и самолеты!

Но где он сейчас, наш батя? От него, как говорит мать, ни слуху ни духу. А бои уже идут там, где осенью и зимой отец рыл окопы, — у станиц Васильевской, Сиротинской, Нижне-Чирской... Сережка ничего этого не знает, потому что все те места, куда мы с ним ездили зимой к отцу на окопы, теперь в сводках Совинформбюро называют Большой излучиной Дона. Я открыл это сам. Маме и Сергею не говорю. А с Костей мы смотрели карту, и я ему рассказывал про казачьи станицы. Для него они далеко от Сталинграда, а для меня рядом. Потому что я там был. И для мамы и Сергея рядом, поэтому и молчу.

Сегодня увидел над проходной мебельного завода новый лозунг: «Отстоим Сталинград!» Такие же появились у железнодорожной платформы и на заборе маминого бетонного. У оврага, на пустыре, где мы играли в футбол, по вечерам идут военные занятия рабочих. С перекладины наших футбольных ворот свисают мешки с сеном. Их колют штыками. В овраге сделали стрельбище, и туда никого не пускают.

Витька под большим секретом сказал мне, что в поселке уже создан рабочий батальон и его отец в нем командует взводом.

— В его взводе есть даже женщины, — прошептал он как великую тайну.

— Санитарки есть везде, — охладил я его.

— Отец говорит, бойцы, с винтовками...

Тайны, тайны... Я уже знаю их столько, что скоро невозможно будет жить: они разорвут меня.

Мама укладывает Сергея спать. Я один со своими

тайнами. Война совсем близко. Она там, где мы были с Сергеем, где долбили мерзлую землю и выкопали сонного суслика, где пилили старые вишни и груши, там, где мы два долгих дня брели по дорогам — день к отцу и день от отца. Даже если бы он тогда не попросился на фронт, то все равно сейчас бы оказался на войне... Значит, уже нет этой тайны. Теперь можно рассказать...

Сергей все расспрашивает маму про новые карточки.

— А если бы ты на папином заводе работала, то какие бы получала?

— Рабочую карточку военного завода. Вот ее теперь и дадут...

— И ваш завод теперь будет такой, как папин?

— Такой. Раз карточки одинаковые, значит, и заводы...

Серега умолкает. Мать отходит от него, но через несколько минут он поворачивается и убежденно говорит:

— Все равно папин завод главней!

Это он лежал и сравнивал самолеты с каменными бомбами. Он тоже про них знает.

— Спи! — прикрикивает мама. — Нашелся спорщик.

Сережка — пацан. Он не понимает, что сейчас все главное: и самолеты, и мамины бомбы.

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

23 августа сорок второго называют черным днем. Видимо, название пришло позже, может, даже после войны, когда стали появляться воспоминания о Сталинградской битве. Я его услышал или где-то вычитал году в пятидесятом.

А был это обычный, по моему тогдашнему ощущению, «предгрозовой день», когда, как и вчера, и позавчера, и пять дней назад, мы тревожно смотрели в небо и ждали: вот-вот что-то случится. В небе сейчас происходили все главные события: шли воздушные бои, оглушительно лопались снаряды зениток, оттуда сыпались листовки. Грозу тоже ждали оттуда.

Тревогу ожидания порождало многое. Перестала летать «рама». К ней привыкли, она исчезла — значит, неспроста. По ночам люди все чаще сидели в блиндажах. Прямо с вечера уходили туда с постелями, потому что выдавались такие ночи, когда раза по три-четыре гудели тревожные заводские гудки. Даже я по своему

мальчишескому разумению понимал, что наша жизнь дошла до какого-то предела, уперлась и должна куда-то свернуть. Понимал, что свернет она к худшему. И вот почему. В сводках по радио называлась все та же излучина Дона, упоминалось, что бои идут в районах Клетской, Котельникова, Калача, а проходившие и проезжавшие через наш поселок раненые называли совсем другие населенные пункты: Россошку, Песковатку, даже Карповку — в трех-четырех десятках километров от города. Никто больше из поселка не ходил на окопы, и говорили, что там уже идут бои.

Поток машин и подвод с ранеными, с военным имуществом шел к понтонной переправе через Волгу. С нашего крутого берега видно, как через переправу подводы и машины без конца текут за Волгу. Идут машины, а за ними бегут люди, несется подвода, и снова люди. Днем движение только на левый берег. Ночью, рассказывают, переправа работает в направлении города, идут войска и боеприпасы. Мы этого, естественно, не видим. Перед нами с утра до вечера — черная лента конвейера в одну сторону: машины, люди, подводы, люди. И так несколько дней...

От тревожного ожидания дни будто вытянулись, в них все смешалось, и в нашу жизнь приходило все больше и больше такого, чего я никак не мог постичь. Не мог понять, почему зенитки стреляют по ночам так оглушительно громко. Когда зенитные орудия начинали свой захлебывающийся галдеж днем, еще можно было терпеть. Но когда пальба поднималась ночью... Все грохочет, с сухим треском лопается и рвется так, что поднимается пыль в блиндажах, сыплются стекла в домах.

Особенно досаждала «наша» батарея — та, что стояла на высоком берегу Волги, в полукилометре от нас. Когда начинала палить залпами, казалось, наступал конец света. Хотелось выскочить из дома и бежать куда глаза глядят, но еще сильней был сумасшедший мальчишеский сон. Меня нельзя поднять, прижимаюсь к спинке старенького певучего дивана, натягиваю на голову одеяло, не могу разлепить глаза. Боже, как же мальчишкам хочется спать, даже на войне! Мать будит, тормошит, тянет из дома в убежище, а мы с Сережкой мычим, отбиваемся и, как только стихает на минуту стрельба, мертвецки засыпаем.

Мы все реже ночуем в доме. Последние ночи проводим в блиндаже. Здесь грохот тот же, но мать нас

не будит. Сама вскакивает и сразу прикрывает нас своим одеялом.

— Спите, спите. Это далеко.

Бедная мама. Мы и утром можем поспать, а она поднимается до рассвета и бежит в дом готовить нам еду на день. А к семи уже на заводе *.

Утром у немецких летчиков перерыв, и мы спим. Эти сладкие часы тишины пролетают мгновением, и голова не успевает освободиться от ночного кошмара.

Пальба, грохот, завывание все еще волнами накрывают меня. Во сне они разбухают до чудовищных размеров, и мне кажется, что утром вся земля будет завалена обломками сбитых самолетов.

Просыпаюсь и бегу искать. Увы, самолетов нет. Попадаются осколки. Осколки не темно-рыжие, со спекшейся на них землей, какие не раз находил на Лысой горе, на бахчах, а с голубоватым отливом и подпалинами на рваных краях, новенькие. У блиндажа их целая куча.

— Что ты таскаешь всякую гадость? — сердито ругает меня мама, когда возвращаюсь из своих «летучих осмотров» поселка.

Я и раньше мало ходил — все больше бегал, а теперь только бегаю. Бегу в блиндаж к Косте, к Витьке, бегаю за водой, дровами, домой — нам в блиндаже то и дело оказывается позарез нужна какая-нибудь вещь из дома. Уже перекочевала сюда вся кухонная и другая утварь, а я все бегаю.

— Ты добегаешься, добегаешься! — шумит мама. — Я запрещаю. Все! Сиди, никаких друзей.

Она еле сдерживается, чтобы не заплакать. Присмирев, затихаю, но ненадолго. Если не буду бегать, то меня просто раздавит то, что обрушивалось на нас

---

* «Сталинград был первым городом, который при подходе врага не эвакуировал свою промышленность... Выпуская более 80 видов различной оборонной продукции, Сталинград был крупнейшим центром по производству оружия... Тракторный продолжал работать до середины сентября, ремонтировал подбитые танки и выдал в этом месяце 150 новых машин. Кстати, в ночь на 24 августа СТЗ послал на оборону города 60 танков, которые были поставлены на наиболее танкоопасных направлениях. И выдал 1200 пулеметов с боеприпасами.

Продолжали работать и завод «Баррикады», судоверфь, Сталинградская ГРЭС. ...В южной части города, куда враг не прошел, было отремонтировано 350 танков, 100 минометов, 40 трофейных танков, 300 грузовиков».

в эти дни. Мне надо рассказать Косте, Витьке, ребятам. Спросить, обсудить, что будет дальше... Как она этого не понимает?

— Ты слушайся маму, — шепчет мне Сергей, когда мы забиваемся в угол блиндажа. — Слушайся, она плачет...

Он говорит правду. Сегодня мама вернулась с завода раньше обычного.

«Никакой работы, — передал мне ее слова Сергей. — Три раза в бомбоубежище лазили...»

Мать пришла, а меня нет. Все беды от моего дурацкого любопытства. Удивляюсь всему, как ненормальный. Когда же это пройдет? Пройдет, успокаиваю я себя. Скоро стану рассудительным, как моя мама или дед Степаныч. Все! За осколками больше не бегаю. Не бегаю, как давно не бегаю смотреть воздушные бои.

Вспоминая сейчас те ночи и дни, я думаю: вот уж воистину все познается в сравнении. Все, что происходило в нашем городе до 23 августа, было одной жизнью, а с этого дня началась другая, ее и жизнью-то не назовешь, потому что кругом была смерть, она обступила нас со всех сторон, сжала, вдавила в землю и, казалось, вот-вот расправится с каждым.

Я мало верю в предчувствия, но со мной не однажды случалось, когда интуиция, какое-то необъяснимое движение души помогало угадать, что произойдет дальше. Так было и в этот день, 23 августа. Когда где-то еще на подступах к городу торопливо забухали зенитки и еще не было самолетов, когда сквозь разноголосый орудийный лай только пробивался их гул, во мне будто что-то оборвалось. Гул был необычно плотный, густой. Он слышался не как всегда с запада или северо-запада, а заливал небо со всех сторон. Зенитки палили особенно остервенело. Мы выбежали на улицу и уже мчались к блиндажу, как вдруг этот гул, перекрывая грохот орудийных залпов, словно вырвался из подземелья и сразу подавил все вокруг. Небо тоже почернело, и я увидел, что с трех сторон на город идут самолеты.

Они катились волнами, и свободным от них было только Заволжье. Впереди самолетов лопались и расползались облачка. Но самолеты, не нарушая строя, шли прямо на них, и создавалось впечатление, что разрывы зениток отступают.

Мы добежали до оврага и остановились. Здесь уже

стояло десятка три людей. Они оцепенело смотрели в небо. В предчувствии неотвратимой беды мы тоже замерли. Самолеты были еще далеко, только на подходе к городу, а небо, все небо гудело и грохотало, будто его разламывали. Темные ревущие стада все еще гнали перед собой белые облачка зениток, но вот эти облачка стали вспыхивать в их гуще, а самолеты вдруг начали вываливаться из строя и падать вниз.

— Ага, гады, падают! — завопил я. Но тут же понял, что невозможно сразу сбить столько.

От самолетов вдруг стали отделяться большие черные капли. С воем и свистом они ринулись вниз, к бугру, где неистовствовали зенитки. Черные капли исчезали почти перед самой землей, и тут же вырастали темные кусты взрывов. Казалось, их кто-то сажает по кромке бугра. Через мгновение кусты начали сливаться, бугор оглушительно загрохотал и зыбко поплыл.

Волны самолетов шли и шли над буграми, окаймляющими город. Почти из каждой группы по нескольку машин, поблескивая крыльями, пикировали на батареи. Основная же масса самолетов, не меняя строя и направления, шла прямо к центру города и к его северной части, к заводам.

Скоро и там все вздыбилось, загрохотало, заволоклось сначала пылью, а потом дымом. Самолеты шли стороной от нашего поселка, и нам был хорошо виден весь их путь от горизонта до горизонта. Сбросив свой страшный груз, самолеты будто от радости подпрыгивали и уходили за горизонт. Над заводами и над буграми разрозненно гремели зенитные орудия.

Людей у оврага становилось больше. Даже те, кто перед налетом укрывался в убежищах, теперь пришли сюда. Все стояли и молча смотрели. Там, куда, снижаясь, падали самолеты, бушевало пламя, стлался черный дым и через него вдруг прорывались столбы грязно-молочного пара. Туда страшно было глядеть. Женщины, всхлипывая, причитали:

— Ой, боже мой!.. Ой, что же там творится?

— Бедные люди, как же они там?

И вдруг громче всех заголосила высокая и сухая, как жердь, старуха Тараканова:

— Поубивало всех, поубивало... Да как же я, старая, да как же не поехала!

Она упала на жухлую траву и забилась в рыданиях. Дочь Таракановой с двумя детьми жила в центре го-

рода. Старуха постоянно ездила туда, а вот сегодня не собралась.

Многие стояли молча, неслышно плакали. «Наша» батарея раза два включалась в общий хор зениток, но тут же умолкала. Самолеты шли далеко. А вот зенитки, спрятанные в лесопосадках вокруг города и на буграх, все еще били бешено. Туда без конца пикировали «юнкерсы» и быстрые, как черные стрелы, «мессершмитты».

Была и радость. Несколько самолетов не вышло из пике, так и врубилось в бугры и лесопосадки. Один «юнкерс», видимо, взорвался с бомбами: взметнулось огромное пламя, а потом донесся такой мощный раскатистый грохот, что он сразу заглушил все.

Но все меньше и меньше вспыхивало облачков на небе. Их будто сметали бесконечные волны самолетов. Дольше всего облачка держались над Ельшанским бугром, и туда особенно остервенело падали самолеты.

Сейчас я не могу припомнить, сколько времени мы стояли на краю оврага и как долго продолжался первый и страшный налет, который сразу зажег, разрушил центр и всю северную часть города. Мне кажется, он продолжался целый день. Я даже не помню, когда этот налет начался. Думаю, что в середине дня, но хорошо помню, что прекратился он, когда уже стало темнеть *. Самолеты гигантским колесом ходили и ходили над городом, пока небо не стало темнеть.

Помню многое из того, что произошло в этот день.

Неожиданно ударила «наша» батарея. Она зачастила так, как еще не стреляла никогда, и вдруг людей с кручи словно сдуло в овраг. Когда мы подбегали к своему блиндажу, то в стороне заводов уже рвались бомбы. Первой в блиндаж ворвалась чья-то грязная, вся в репьях, рыжая дворняга и, скуля, забилась в угол. Ее принялись выгонять, но не тут-то было. Собака сжа-

* «В 16 часов 18 минут немцы начали штурм Сталинграда с воздуха... Немцы применили своеобразную тактику. Они взяли воздушную зону города в кольцо, по окружности которого летали «мессершмитты», стараясь не подпускать к центру наши истребители. Внутри кольца бомбардировщики наносили удары по заранее избранным целям. Бомбили методично, каждая группа свой квартал. Бомбили вначале город, а не заводы. Видимо, последние надеялись захватить целехонькими, на полном ходу, и одновременно рассчитывали вызвать у населения панику. В этот день наши летчики сбили 63 вражеских самолета, еще 27 уничтожили зенитчики».

лась и, оскалив зубы, злюще рычала. А когда бомбы начали рваться где-то совсем рядом, было уж не до нее. Блиндаж и всех нас встряхивало и вот-вот грозило засыпать землей. Я уцепился за столб, который поддерживал свод, и меня вместе с ним швырнуло из стороны в сторону. Один удар был настолько сильным, что нам сначала показалось, будто мы ослепли.

Когда пыль рассеялась, кругом было тихо. Молчала и «наша» батарея. Только, удаляясь, еще гудели самолеты, где-то вдали тяжело ухали взрывы. Я выглянул из блиндажа и обмер: с неба на землю падали змеи. Настоящие змеи. Свернутые кольцом, изогнутые лентой. Меня так поразило это видение, что я даже закрыл глаза. Был уверен, сейчас открою вновь — и видение исчезнет. Но змеи не исчезли. Я ясно видел, как ветер сносил их в сторону. Они летели метрах в трехстах от блиндажа. Я следил, куда они упадут, не в силах проронить ни слова. Змеи легко планировали, извиваясь своими приплюснутыми телами, а потом вдруг одна за другой нырнули в сухие колючки.

И все же я никому не стал говорить о том, что видел. Женщины, которые сидели рядом со мной у выхода из блиндажа, видели этих змей, но никто из них не проронил ни слова. Они расширенными глазами смотрели на гигантское зарево, затопившее весь горизонт. Зарево все сильней расползалось по небу и, подталкивая перед собой косматые черные тучи, карабкалось вверх.

Гул самолетов и редкое тявканье зениток смолкали. Люди в одиночку и группами высыпали на улицу. Мы тоже вылезли из оврага. К немалому удивлению, я обнаружил, что дома вокруг целы. Наш тоже стоял на своем месте. Куда же падали бомбы? Все смотрели в сторону заводов. Там появилась какая-то новая улица, я глядел и ничего не понимал. Среди домов ширился просвет почти до самых заводов. А по сторонам этой «улицы» дыбились груды мусора, из которого торчали расщепленные доски и бревна. Этого здесь прежде не было. Я побежал. Мать истошно закричала:

— Андрей! Ты куда?

Вскарабкавшись на гору мусора, я увидел поваленный забор завода, а за ним опять что-то непонятное. Куда-то исчезло низкое здание склада, и вокруг появились завалы кирпича, земли, дерева. Перевел взгляд на овраг, в который упирался завод, потом на берег Волги, где притаились, зарывшись в землю, зе-

нитки. Там зияли несколько ям и чернели кучи свежей земли.

«Воронки! — опалило меня. — Так вот куда падали бомбы! Одна — совсем недалеко от нашего блиндажа. Ух ты какая! Вот от нее-то и был тот страшный взрыв и огонь, ослепивший нас».

А по поселку поднимался, нарастал крик и плач, он шел со стороны заводов. Туда сейчас и бежали люди. Я тоже бросился за ними, но новый, уже почти истеричный крик матери вернул меня.

Быстро темнело. А люди не расходились: не шли в дома и не прятались в блиндажи. Те, кто не побежал к заводам, смотрели на огромное, все разрастающееся зарево. Оно расползалось, закрывало город.

Я рассказал Сергею о змеях.

— Змеи не летают, — невозмутимо ответил он.

Я потащил к месту, куда они упали. Мы дважды прошли через заросли колючек — никаких змей.

— Где же они? Я же видел...

— Уползли, — пояснил брат.

Мне оставалось только согласиться с ним, и вдруг я увидел у Сергея в руках черный ремешок.

— Где взял?

— А вон там валялся. — И он протянул мне черную полосу тонкой хромовой кожи. Таких обрезков кожи я видел целые вороха на свалке кожевенного завода.

Я, конечно, не признался Сергею, что эти черные полосы я и принял за сыпавшихся с неба змей.

РАБОЧИЙ БАТАЛЬОН

Казалось бы, многому научил меня этот год войны, и все же проводы ополченцев из нашего поселка мне хотелось видеть иными — такими, как проводы моряков на фронт в фильме «Мы из Кронштадта». Уходят строем, с песней, перепоясанные пулеметными лентами, за поясом у каждого по нескольку гранат, за плечами — винтовки...

Сейчас все было не так. Когда мы прибежали к заводу, там не оказалось ни одного человека. Главное здание — четырехэтажное из красного кирпича, похожее на крепость — сгорело несколько дней назад и теперь мертво смотрело пустыми глазницами окон на развороченный двор. Бомбы упали в левом углу двора,

разметав хилые постройки складов. Все было припорошено белой известковой пылью.

Перелезли через один завал, другой и вдруг увидели старика Глухова. Степаныч с рюкзаком за плечами спешил через двор к оврагу. Он семенил, воровато оглядываясь, будто боялся погони. Нас это удивило.

— Если Степаныч добыл что, так почему он рысцой с рюкзаком не домой, а от дома? — рассуждал Костя.

Да и одет Степаныч был тоже необычно. Ходил он всегда в стареньком: мягкие чувяки, простые хлопчатобумажные брюки и неизменный потрепанный, засаленный пиджак. А сейчас на нем хромовые сапоги, брюки-галифе, гимнастерка — все новенькое, с иголочки. Так Степаныч выряжался только в праздники, чтобы показаться на людях — в «комсоставской» одежде, подаренной ему сыном Петром.

— Ба! — Санька присел и всплеснул руками. — Степаныч-то никак на войну подался? Это он в рабочий батальон записываться...

Мы все трое весело переглянулись и приударили за ним. Степаныч, видно, заметив нас, перешел на мелкую рысь и скоро скрылся в овраге. Но от нас не так-то легко уйти. Через несколько минут, скатываясь с кручи, мы обнаружили, что овраг запружен людьми.

— Вот они где! — радостно завопил Сенька и этим своим дурашливым криком заставил какого-то человека с винтовкой вскочить с земли и пойти нам навстречу.

Вмиг окидываю взглядом все вокруг. Люди группами и в одиночку стоят и сидят прямо на земле, рядом — рюкзаки, мешки, узелки и даже чемоданы. К ним приставлены лопаты, кирки, ломы. В руках у немногих винтовки, карабины. Людей несколько сот. Они растеклись по всему оврагу. Почти все в старенькой гражданской одежде, в которой обычно ходят на работу. Такое впечатление, что они и пришли сюда прямо с заводов. И только несколько человек в военной форме. Среди них и Степаныч. Он уже снял с плеч рюкзак и стоял перед худым капитаном с загорелым до черноты лицом. Мы рванулись к Степанычу, но человек с винтовкой преградил дорогу. Он повел винтовкой, показывая, чтобы мы отошли в сторону, подальше от тропы.

Сенька подал рукой знак Степанычу, но человек с винтовкой вдруг сердито прокричал:

— Стоять на месте. Стоять! — и для большей острастки щелкнул затвором.

Мы остановились. Мне показалось, что я где-то видел этого парня, его продолговатое, с выпирающими скулами и подслеповато прищуренными глазами лицо. Однако он явно был не из нашего поселка. Здесь-то я уж знал всех.

Сенька безуспешно подавал знаки Степанычу, а тот демонстративно не замечал нас. Он даже повернулся к нам спиной, подчеркивая этим, что никакого отношения к задержанным не имеет. Я сразу понял, что наше присутствие может крепко помешать его серьезному разговору с капитаном, и дернул за руку Сеньку. Но тот отмахнулся от меня, продолжая звать Степаныча.

— Поворачивай назад! Кому говорят! — опять заорал парень.

Вперед шагнул Костя.

— Ты что, кореш, не узнал, что ли? — На лице его разлилась улыбка свойского парня, какую Костя пускал в ход, когда ему что-то требовалось от его собеседника. — Ножичек не потерял? — Костя даже подмигнул дружески.

Парень опешил.

— Какой ножичек?

— Быстро друзей забываешь. Но мы народ не гордый...

Парень улыбнулся:

— А, это вы, огольцы... — Но тут же строго добавил: — Нельзя здесь, видите?.. — И он показал рукой на людей. — Тут военная часть.

— Пропусти их, Петро! — шумнул кто-то из толпы, и я узнал голос дяди Миши Горюнова и тут же увидел Витьку и его мать тетю Нюру.

Они поднялись с земли. Витька подбежал к нам.

— Где ж вы? Уже скоро уходят...

Парень с винтовкой, как старый знакомый, кивнул нам:

— Проходите. — И, весело подтолкнув плечом Костю, спросил: — Летчика того не видели больше? А ножичек его вот, — и он похлопал ладонью по карману. — Я им уколы фрицам буду делать.

Дядя Миша подошел к военному, которого держал за руку выше локтя Степаныч.

— Чего он? — указав на старика Глухова, спросил Сенька.

— Да в батальон просится, — подражая отцу, пожал плечами Витька. — Батя его отшил, так он к капи-

тану привязался. Гляди, гляди, — вдруг захохотал он, — как репей, к нему...

Я отошел от них и увидел, что в овраге немало женщин и подростков. Они сидели в затененных местах, под обрывами, прячась от низкорослого крепыша лейтенанта, который шел по оврагу, негромко покрикивая:

— Посторонних прошу удалиться. Прошу удалиться! Всех посторонних.

Поравнявшись с нами, лейтенант строго спросил:

— А вы почему в расположении части?

Мы молча стали отходить к дяде Мише, а лейтенант, поправив автомат на плече, который ловко и, видно, привычно висел стволом вниз, теснил нас.

— Сейчас же из расположения части! И чтоб незаметно. Вы ж демаскируете. — Повернувшись к капитану, он вытянулся, ожидая распоряжений.

— С людьми из механического разобрались? — спросил капитан. — Быстро отправляйте. Не держите. Вот их старший, — капитан указал на дядю Мишу. — Пошлите с ними сержанта и двух бойцов. И следите за маскировкой. Курение, разговоры...

— Есть следить за маскировкой! — отчеканил лейтенант и тут же сдержанно позвал: — Сержанта Лося ко мне!

Вокруг задвигались, загремели лопатами, ломами. Дядя Миша, как лейтенант, вдруг вытянулся и, расправив плечи, так же приглушенно шумнул:

— Все по своим отделениям! Разобрать имущество. Это, — он указал на чемоданы, — нести попеременно, Осторожно.

Он еще что-то говорил рабочим, потом подозвал к себе нашего знакомого паренька и стал хлопотать с ним у чемоданов, поднимая и потряхивая их, проверяя, надежно ли они перевязаны веревками. Люди подходили к нему. Он односложно отвечал, всецело поглощенный делом.

К нам дядя Миша подошел через несколько минут. Лицо красное, на лбу крупные росинки пота. Взяв за руку тетю Нюру, сказал:

— Ну все, идите.

Дядя Миша быстро поцеловал в лоб потерянно застывшую жену, потом всех нас, а дойдя до угрюмо стоявшего немного в стороне Степаныча, виновато развел руками и чуть опустил перед ним голову.

— Извиняй, Степаныч... Ты вот за ними доглядай тут, — Помолчал и добавил: — Мы там...

Старик обиженно отвернулся. Он не хотел говорить и даже не хотел смотреть на дядю Мишу. Видно, сильно обидел он Степаныча. Мне жалко стало старика: вот-вот заплачет. Дядя Миша нетерпеливо переступил с ноги на ногу, растерянно посмотрел на нас, потом на двинувшихся по оврагу людей и шагнул к своему рюкзаку.

— Хоть бы винтовку оставили, — дрогнул голос Степаныча. — Как же мы тут?..

Но дядя Миша уже не повернулся. Подхватив рюкзак, он побежал вперед, к началу узкого ручейка людей, который уже тек по дну глубокого оврага к полотну железной дороги.

Казалось, весь овраг сдвинулся с места. Нас оттерли в сторону. Низкорослый лейтенант с двумя красноармейцами решительно теснил женщин и подростков, освобождая место для ополченцев. Мимо протопал наш знакомый паренек, и Костя, подтянувшись на цыпочки, крикнул ему:

— Пиши письма, кореш! Адрес старый.

Парень повернул к нам расплывшееся в довольной улыбке лицо и помахал рукой. За ним шли люди, по двое, с ломами и лопатами на плечах — на них висели чемоданы. По тому, как люди сгибались, видно было, что ноша у них тяжелая.

— Там у них гранаты и бутылки с горючкой, — шепнул Витька. — А винтовки и автоматы будут выдавать на месте.

Батальон ополченцев нашего поселка уходил тихо. Двумя неровными цепочками люди вытекали из оврага, которым кончался заводской двор. У полотна железной дороги они сворачивали и шли вдоль насыпи на север, в сторону заводов «Красный Октябрь», «Баррикады», Тракторного...

Когда мы уже возвращались домой, Витька под большим секретом, опасливо оглядываясь, сообщил новость, которая ошеломила нас:

— Бои уже за Тракторным заводом. Там, говорят, прорвались танки.

Даже безучастный ко всему Степаныч вдруг вскинулся. До этого, опустив голову и как-то сразу подряхлев, он еле перебирал ногами; между ним и тем человеком, который час назад рысил по заводскому двору,

была огромная разница. Но вот Степаныч услышал горячий шепот Витьки и рявкнул:

— Ты чего... Ты чего болтаешь, щенок?!

Таким Степаныча мы не знали. Витька испуганно залепетал:

— Я ничего... Это там, ополченцы...

Старик задохнулся, хотел еще что-то сказать, но ему не хватило воздуха. Рот его открылся и беззвучно закрылся.

— Вы... вы у меня глядите! — Степаныч яростно погрозил нам кулаком.

— А чего мы-то?.. — Сенька растерянно пожал плечами.

— Замолчи! — прикрикнул на него Костя.

До самого дома мы шли молча.

НА ПОЖАРЕ

— Надень на себя все лучшее, — сказала моей матери толстая тетя Настя. — А то у нас в Ростове одни берегли хорошую одежду, и все сгорело вместе с домом. Так в старенько́м и остались... И детей одень, Лукерья, обязательно одень, — повторила Настя и пошла.

Мама испуганно отозвалась:

— Ишь какая, дом... Да что ж мы тогда...

Но на следующий день она велела нам надеть все праздничное: Сергею подала новенькие штанишки с помочами крест-накрест, сатиновую рубашку и бумазеевую куртку; я вырядился в свой светло-коричневый в крупную клеточку суконный костюмчик. Все эти обновы отец купил в Москве перед самой войной. Он возил туда от фабрики мебель на какую-то выставку.

Костюм мой, как и все в нашей семье, покупался на вырост, поэтому он и сейчас еще был немного мне велик. Выряженные, словно в гости, мы чинно выходили на улицу, и мать всякий раз не забывала крикнуть нам вдогонку:

— Вы смотрите, жалейте одежду!

Сергей послушно садился на лавочку перед домом, аккуратно клал руки на колени и смирно смотрел на ребят. Я сразу за калиткой срывался с места и оглашенно бежал к ватаге мальчишек. А когда возвращался, то неизменно получал от матери трепку. Она даже отбирала у меня костюм — «не умеешь жалеть, ходи в старом», но потом, когда мы окончательно перебрались из дома в блиндаж, мать, видимо, махнула рукой

на костюм и скорее по привычке, чем всерьез, просила беречь одежду.

После черного дня, когда гитлеровские самолеты бомбили город много часов подряд, установилось какое-то своеобразное расписание налетов. Я не могу сказать, относилось ли это точное чередование бомбежек ко всему городу, но для нашего района оно выглядело так: после того, как самолеты улетали, я твердо знал, что их не будет минут сорок пять — пятьдесят. Можно было смело вылезать из блиндажа и, ничего не опасаясь, заниматься своим делом. Я эти минуты хорошо помню потому, что не раз выверял их по отцовским карманным часам. А часы теперь были постоянно при мне по той же причине, что и злополучный костюм.

Стихал гул самолетов, и я тут же вылетал из блиндажа. Сорок пять минут моих. Могу сгонять в блиндаж к Косте, могу к Витьке, могу хоть на голове ходить. Меня даже не удерживает мать. Она знает: в блиндаж надо вернуться через сорок пять минут, и тогда ничего не случится. И я не подвожу ее.

Отгремела очередная бомбежка. Потянув из кармашка за цепочку часы, я объявил по нашему блиндажу отбой и первый выскочил из оврага.

— Пожар! Горит! — неслось по улице.

Люди бежали к дому Алексеевых. Кто-то чуть не сбил меня с ног. Я отпрянул и увидел, что горит не только дом Алексеевых.

Огонь шел с другой улицы, и стоит ему пройти угловой дом, как пожар окажется и у нас. В толпе я увидел Костю и Витьку. Они прибежали с ведрами и стали в живую цепочку людей, которая тянулась от горевшего дома к колонке.

— Живей, поспешай, живей! — Старик Глухов выхватывал ведра из рук мальчишек и баб и бросался прямо в огонь. — Поспешай, поспешай!

— Степаныч! — завопила его невестка Маруся. — Забор! Забор!

И старик, выкатившись из клубов дыма и пара, кинулся к вспыхнувшему забору, с разбегу ударил плечом в столб и вместе с забором повалился на землю. Мы кинулись за Степанычем и вмиг растащили забор, сразу стало просторней.

— Валите и этот, — прохрипел Степаныч, указывая на забор с другой стороны.

Без заборов дом Алексеевых сразу стал сиротливым,

маленьким, и мне показалось, что теперь его и спасать-то незачем. Но старик Глухов призвал всех бросить горевшие дома и отстаивать именно этот.

— Те пропащие. Надо алексеевский. Улицу спасем. Улицу!

Горевшие рядом два дома только набирали силу и все больше и больше сыпали вокруг себя искры и головешки. Люди отступились от них и перешли к угловому. Воду лили на стену, обращенную к огню. Тлевшие доски оглушительно трещали. Деревянная крыша парила и вот-вот была готова вспыхнуть.

Кто-то из взрослых подсадил меня на крышу и сунул в руки ведро. Его пришлось вылить прямо перед собой. Доски так накалились, что за них нельзя было ухватиться. Так, выливая ведро за ведром, я добрался до конька крыши и оседлал его. Откуда здесь такой ветрогон? Меня прямо сдувало с крыши. За мной лезли Костя и Витька. Они отворачивали лица от колючих, обжигающих порывов ветра. Теперь Костя подавал мне ведра, и я лил воду прямо на себя. Только так можно было двигаться к краю крыши, которую уже лизал огонь.

Как мы спасали этот дом! Наверное, тогда-то я и понял значение слов «как на пожаре». Люди, забыв обо всем, не щадя себя, метались с ведрами, растаскивали голыми руками горевшие доски. Многие падали, поднимались и бежали в свои дворы — к бочкам с водой.

Когда с протяжным хрястом обвалилась крыша соседнего дома и всех, кто облепил алексеевский дом, обдало жаром, а потом засыпало горящим углем и искрами, никто не убежал. Только отскочили и тут же опять кинулись к дому. Прикрыв голову руками, я упал на горячие доски крыши. Но уже через минуту меня толкнул ногой Костя и подал ведро с водой. Я глянул вниз. Разорвавшаяся было живая цепочка опять действовала. Люди метались как заведенные.

Дом отстояли, огонь не пустили на нашу улицу. Я это понял, когда нам на крышу вдруг перестали подавать ведра. Воду лили на дом с земли. Нас начали снимать с крыши. Витька прямо кубарем покатился, и его подхватили у самой земли. Костя, перевернувшись на живот, сползал медленно, вытянув вперед руки, как слепой. Когда же настала моя очередь, я не мог сдвинуться. Руки жгло огнем, мокрая крыша словно куда-

то уплывала. Чтобы не скатиться вниз, как Витька, я распластался на мокрых досках и лежал, пока не подали мне лестницу.

Спустился и оглядел свой новый костюм: на мне висели перепачканные в саже мокрые лохмотья. Мать глянула и отвернулась. Я думал, она заплакала, и виновато отошел в сторону. Но она разговаривала с женщиной; они выясняли, сколько было налетов, пока мы тушили дом.

— Разве прилетали? — удивился я.

— Возьми его за рубль двадцать! — задорно хмыкнула толстая Настя. — Ты что?

Я вытянул из кармашка часы и, не веря стрелкам, поднес их к уху. Они в полном порядке. Прошло почти четыре часа.

— Три налета было...

— Я же говорю, три, — подхватила Настя. — Три. Видишь, не каждая бомба в тебя метит. Можно и не прятаться.

Они отошли в сторону. Я слышал, как мать говорила женщинам:

— Все ведра надо оставить с водой здесь. Пусть и ночью стоят.

Уже давно унялся огонь, а люди не расходились к своим блиндажам, будто грелись возле угольных куч. И говорили, говорили...

Этот пожар многому научил жителей нашего поселка. Оказывается, если самолеты летят днем, то не обязательно сломя голову бежать в блиндаж. Лучше выйти на улицу и определить, что немцы собираются бомбить. И сделать это нетрудно. А когда увидишь, что самолеты заходят на твой поселок, то у тебя еще хватит времени добежать до блиндажа. Только надо стоять на открытом месте, чтобы видеть все самолеты сразу.

Но тот пожар был и последним, который тушили в нашем поселке. После этого пожара люди поняли: можно потушить один-два дома, но нельзя отстоять поселок, если его зажгли со всех сторон; нельзя потушить город, если его ежечасно засыпают зажигательными и фугасными бомбами.

А тот день показался мне бесконечным. Нас бомбили еще несколько раз, и мы после каждой бомбежки выскакивали из блиндажей и бегали по улицам и дворам тушить зажигалки. Сами эти небольшие бомбы, которые брызжут горящим фосфором, не страшны: их можно

схватить за стабилизатор, сунуть в кучу песка. Страшно было то, что от них вспыхивали пожары на всех улицах сразу.

День не кончался. Сначала подумалось, что мы тушили дом Алексеевых вчера, потом позавчера, но, когда пожары вспыхнули в разных концах поселка и мы перестали гоняться за зажигалками — просто стояли у убежищ и смотрели, как все с невероятным гулом и треском горит, — мне уже чудилось, что бог знает когда начался этот нескончаемый день.

Глядя на пожары, я вдруг стал думать, что спасение алексеевского дома было в какой-то другой жизни, когда еще мы ничего не знали и могли на что-то надеяться. Теперь бессмыслицей казалось все: и мой новый костюм, и тот дом, и ведра, полные воды. И наивные слова моей мамы: «А вдруг где искра, и загорится опять».

По улицам метались женщины с растрепанными волосами, взрывался режущий крик и плач, ошалело скулили и захлебывались лаем собаки; когда нарастал гул самолетов и свистели бомбы, они раньше людей вскакивали в блиндажи, и никакой силой их оттуда нельзя было выгнать.

По поселку бродили коровы, летали куры. Не бегали, а именно летали, как куропатки. Метров двадцать пролетят и садятся и опять летят, кудахтая, хлопая крыльями.

«Горят Пуховы!», «Убило Красильниковых!», «Завалило Коршуновых!», «Убило!», «Ранило!», «Сгорели!».

Это была война. Она горько и жестоко учила людей. Вон горит только в нашем поселке, наверное, сразу сотня, а может, и больше домов. Уже несколько дней горит весь город, горит даже Волга. Нефть разлилась из взорвавшихся баков нефтехранилища, и гигантские озера огня плотами спускаются вниз по реке. Гибнут люди семьями, домами, целыми кварталами...

— Андрей, Андрей! — тащил меня за руку Серега. — Мы тебя давно ищем. Там мама...

БЕГСТВО

Шел мимо дома Глуховых и не узнал его хозяина. На лавочке сидел благообразный толстый старичок с острой бородкой и припухшими, навыкате, глазами. Только когда поравнялся, увидел — Степаныч.

— Ты что, Андрюха? Бороду мою ищешь? Сгорела

она. Вот всего-то и осталось. — Он потрогал короткий клинышек на подбородке и, подмигнув, шатнул свое грузное тело в сторону, приглашая сесть.

Без своей широкой, как лопата, смолянисто-черной бороды Степаныч выглядел чудно́. Обнажившиеся щеки выдавали нездоровую полноту, воспаленные глаза слезились. Смотрю и никак не могу привыкнуть к его новому лицу.

— Бегаешь?

— Бегаю.

— Смотри, Андрюха.

— Смотрю.

Оказывается, если не глядеть на Степаныча, он такой же, как всегда. Голос тот же, глуховатый, с хитринкой. Спросит и ждет. Послушает и опять уколет вопросом.

— Так сколько минут, ты говоришь, они кидают бомбы?

Я солидно вынул отцовские часы и подбросил их на ладони.

— Когда пятнадцать, а когда и двадцать...

— Э-э, нет, — прервал меня Степаныч. — Ты считай только, когда кидают. А когда летят, то особо. У них минуты должны совпасть.

— Тогда пятнадцать.

— Во! — подхватил он, радуясь этой точности. — А сколько передыху дают?

— Когда как. Сорок пять, пятьдесят... А когда и час.

— Опять ты путаешь, Андрюха, — словно играя со мной в свою хитрую игру, продолжал Степаныч. — Ты чистое время считай. Начали кидать — посмотри. Кончили — еще раз отметь. Обязательно совпадут минуты.

Глянул на Степаныча, и мне опять стало не по себе. Без бороды он не Степаныч, все в нем другое.

— Германец во всем любит порядок. В плену у них нагляделся. Все по часам, все по минутам...

Не раз мы, мальчишки, слышали от старика Глухова рассказы о давнем плене, подсаживались к нему на лавочку, и Степаныч начинал свои игры-беседы. Рассказывает и одновременно спрашивает нас.

— Говоришь, убежал бы, — наклонялся он к Косте. — А как? Ну скажи, как?

— Нашел бы как. Достал бы оружие...

— Правильно, — похваливал Степаныч. — Но неза-

бывай: у германца для нашего брата, пленного, все было расписано. Даже наказания и те по бумажке. Для каждого проступка — свое наказание. Все разметили. Кормили голодно. Брюква одна. А если сорвал какой огурец на огороде или яблочко в саду — вешают тебя за руки. Во как... Значит, связывают сзади руки — и к перекладине. Вешают тоже по минутам. За десять минут у человека руки выворачиваются.

— А вас вешали? — спрашиваю я.

— Обязательно.

— И как же?

— А вот видишь, — Степаныч поднял свои короткие, крепкие руки. И тут же, хитровато прищурив выпученные глаза, добавил: — Меня немочка одна спасла. Табуретку, значит, под ноги. Жалела. Из-за нее меня и вешали.

— А как же она — табуретку?

— Не она. А тот, кто вешал, тот и подставил. Офицер вышел, а он и... — Глаза Степаныча сощурились, он настороженно поднял голову, прислушиваясь к нарастающему гулу самолетов. — Ну, ты давай катай, Андрюха, а то у германца уже передых кончается.

Я посмотрел на часы. Действительно, пора, пока добегу до оврага и своего блиндажа, как раз и начнется. Теперь тревог уже никто не объявляет, молчит не только радио, молчат и заводские гудки. Электричества и воды тоже не стало. Все оборвалось в черный день, 23 августа. Тогда в нашем поселке да, наверное, и во всем городе была объявлена последняя тревога. По крайней мере, я их уже больше не слышал после 23-го.

После того пожара, когда мы спасали от огня дом Алексеевых, с дедом Глуховым что-то стряслось. Он потерял там не только свою бороду. Степаныч точно надорвался на этом пожаре, не стало того суетного, быстрого старика, который шаром катался по поселку. Степаныч притих, сидел перед домом и безучастно, равнодушно смотрел перед собой. Он не всегда даже спускался в подвал, а так и оставался на лавочке. Только прикрывал слезящиеся глаза, когда слышался гул самолетов, словно начинал дремать.

Однажды я не успевал в свой блиндаж и пережидал налет в глуховском подвале. Вышел, а Степаныч сидит, все так же прикрыв глаза и прислонившись спиной к стене. Каким я его покидал, таким и застал. Только

военная гимнастерка и выгоревшая командирская фуражка с пятнышком на месте звездочки были теперь серыми от пыли. Фуражка дяди Пети, его сына, на которого зимой пришла похоронка. Был он у них один. Года четыре назад дядя Петя ушел в армию, как гордо говорил Степаныч, «служил в кадрах». Каждый год приезжал на побывку. Красивый, ладный, с черными петлицами артиллериста, на которых поблескивали в последний приезд уже лейтенантские кубари.

Я впервые был в подвале у Глуховых. Жили мы на одной улице, через пять домов друг от друга, а я не знал, что у них такой большой и глубокий подвал. Снаружи обычный, каменный фундамент, а внутри, оказывается, мощный сводчатый погреб. В него Глуховы стащили все из дома: и мебель, и одежду, и посуду.

В подвале стойко держался застоявшийся кислый запах сырых кож. Поговаривали, что Степаныч тайком выделывал кожи и торговал «хромом» — так в поселке называли кожу, из которой шили сапоги и регланы.

Послышался гул самолетов, когда я подбегал к блиндажу. Теперь самолеты не встречал запальчивый грохот зениток. «Наша» батарея замолчала после первой же бомбежки. Дольше всех держались зенитки на Елшанском бугре. Одна батарея продолжала яростно палить несколько дней. Она била залпами тогда, когда слышны были лишь редкие, одиночные выстрелы зенитных орудий. А сейчас самолеты свободно шли на город и бомбили его с любой высоты.

Переменился не только Степаныч, стряслось что-то и со всеми нами. Стряслось такое, чего и не поймешь сразу. Я уже не гоняю как ошалелый по поселку, не бегу тушить пожар после бомбежки, не бегу смотреть, чей дом разбит, кого завалило в блиндаже. Я тоже стал смирный, как Степаныч, только он не прячется в свой подвал, а я сижу, как мышь, в блиндаже.

Сижу перед выходом и наблюдаю, как тяжелые тихоходные самолеты начинают снижаться от бугра и сериями сыплют бомбы. За неделю после черного дня научился многому. Например, могу определить, сколько пролетят отделившиеся от самолета бомбы и куда они упадут. Вот и сейчас бомбы только еще оторвались от самолетов, а я уже говорю своим в блиндаже:

— Бомбят элеватор! На станцию кинули.

И выходит точно по-моему — бомбят элеватор и станцию.

Я начинаю следить за бомбами с того момента, когда они отрываются от самолетов. Большими вытянутыми каплями бомбы со свистом и воем несутся вниз. Из нашего блиндажа видна большая часть города. Высокое светло-серое здание нового элеватора служит мне ориентиром. Взгляну на него и определяю, куда падают бомбы. Сейчас самолеты сыпанули бомбы правее элеватора.

— Бомбят консервный, — вяло сообщаю я.

Меня уже никто не слушает. Всем надоело. Но я продолжаю следить за тяжелыми самолетами, которые бросают бомбы, почти не снижаясь, появляются быстрые двухмоторные «юнкерсы». Светит яркое солнце. В наш овраг даже залетела паутина. Смотреть на нее страшно, она из другого мира, и я перевожу опять взгляд на «юнкерсы». Поблескивая короткими крыльями, они один за другим включают сирены и падают в пике.

«Бомбят пристань...» — уже для себя отмечаю я.

На вой сирен берег Волги отвечает мощным грохотом. Видно, как рыжей пеной пузырится земля, а потом все заволакивает пыльной тучей, и она даже закрывает многоцветные дымы, вот уже несколько суток висящие над городом. Гул моторов стихает. Самолеты уходят. А пыледымная туча все разрастается и разрастается.

— Надо за обедом, — тяжело поднимается мама и, согнувшись, выходит из блиндажа. Подхватываю сумку и выскакиваю за ней. Наш дом еще цел, но он ослеп. Стекла высыпались, и мы с Сергеем забили рамы фанерой и досками. Мать по-прежнему топит в доме печь. Она это делает рано утром или даже ночью, когда нет бомбежки и стихает стрельба. Мы теперь безвылазно поселились в блиндаже. Сюда перекочевало все, без чего мы не можем жить: постель, одежда, необходимые продукты, посуда. Все, без чего мы обходимся, закопано во дворе. Так сделали все. У всех во дворах по нескольку ям.

Согнувшись, перебегаем улицу. Кончилась наша вольготная жизнь: в перерывах между налетами авиации по поселку бьет тяжелая артиллерия. Говорят, что немцы вышли к лесопосадкам. Неужели не помогли и наши окопы?

Вбегаем во двор. Здесь опять невозможно что-либо узнать. Сарай разнесен в щепы. Воронки не видно — значит, снаряд, а не бомба. Из стены коридора вырвано несколько досок, но мы входим не через дыру, а в дверь.

— Сними и спрячь замок, — говорит мать.

Я снимаю. Замок действительно больше не нужен. Мать проворно достает из печи чугун со щами, обертывает его тряпкой и ставит в сумку. Вытаскивает кастрюлю с картошкой. Накидывает на нее полотенце и протягивает мне. Сама подхватывает сумку, и мы выбегаем во двор. До начала бомбежки еще полчаса, но идет обстрел. Снаряды рвутся где-то далеко, в стороне заводов. Бежим к оврагу. И вдруг прямо над головами противный фыркающий вой. Падаем на землю. Мать успевает поставить сумку. Я падаю прямо на кастрюлю, но не выпускаю ее из рук. Теперь снаряды рвутся где-то за нашим домом. Это опасно. Вскакиваем и, согнувшись, бежим дальше.

Сбоку бушует страшный, непонятный шквал, и летят какие-то огненные полосы. Они валят нас в колючки. Шквал идет не со стороны бугра, не от немцев, а из-за Волги. Бросил кастрюлю, обхватил руками голову. Локти, ноги, живот — все мое незащищенное тело роет землю. Огненный шквал вдавливает меня в нее. Не могу вздохнуть, тело сплюснуто, задыхаюсь. Горю. Конец.

— Ан-д-р-рей, Ан-д-р-рей! — Словно из-под земли голос матери. Крик странный. Он распадается, расслаивается. Его покрывает знакомое завывание, похожее на скрежет железа о железо. Так стреляют «катюши». «Наши!» Приподнимаю голову и вижу: огненные линии ушли за овраг. Мать стоит на коленях и обирает с платья репьи, колючки.

— Мама! Мама! — кричу ей. — Живая?

Она, пошатываясь, поднимает с земли сумку, чугун с борщом цел. Беру свою кастрюлю, в ней осталось немного картошки.

Мы уже не бежим, а молча еле передвигаем ноги. Пожалуй, если сейчас начнет обрушиваться на нас небо, я не побегу. Нет сил.

В блиндаже нас ждет тетя Надя, мамина сестра, с двумя детьми: пятилетним Вадиком и полуторагодовалой Люсей. Они живут на Верхней улице, в полукилометре от нас.

— Разбомбили, — всхлипывает она, не вытирая слез. — Прямо в дом Борщевых. Их там отрывают, а мы еле вылезли. Все ж пропало...

— Перестань! — прикрикнула на нее мать. — Корми детей. — Обессиленно села, приклонила к себе рыжую

голову Вадика. — Что ж они делают? Хоть бы детей пожалели...

Вадик хнычет без слез. По лицу его размазана грязь и сажа. Мать протянула руку к бачку с водой, умывает Вадика. Маленькая Люся спит в дальнем углу блиндажа на матрасике Сергея. У нее «тихий час».

В блиндаже еще трое девушек, наши квартиранты — эвакуированные с Украины. Видя, что мы собираемся обедать, они поднимаются.

— Сидите! — преградила им дорогу мама. — Живому — живое.

Она разливает теплый борщ в алюминиевые чашки...

Со мной что-то случилось. Не хочу есть. Так было, когда я заболевал. Это происходило в какой-то другой жизни, еще до войны. Ложка дрожит, борщ проливается.

— Л-о-о-жись, л-о-ожись. Здесь, с Люсей, — слышу глухой, прерывающийся голос матери.

Почему она так странно говорит? Меня с головой накрывает белое мягкое одеяло. Откуда оно здесь, в блиндаже? У нас и в доме нет такого. Ах, вот оно что, пушистым одеялом накрывали, когда я заболевал тифом...

Проснулся от гнусавого, монотонного всхлипывания:

— Господи, помоги! Господи, помоги! Помоги! Защити!

Я уже давно слышу этот плач. Он мне мешает спать. Слышу, как ухают взрывы, вздрагивает земля. Но не они разбудили меня, а вот это завывание: «Господи... Заступи...»

Людей в блиндаже прибавилось. Рядом две старухи, одна — бабка Борщева. Значит, откопали. Рядом с ней согнутая старуха. Ее загнутый птичий нос почти касается подбородка, из провала рта выскакивает гнусавое: «Го-о-оспо-ди, го-о-спо-ди!» Я ее не знаю. У выхода красноармеец, он держит что-то белое. Оказывается, у него забинтована рука. У стены — карабин. При взрывах красноармеец прижимается к нему плечом, будто боится, что карабин упадет.

Наша квартирантка Шура что-то спрашивает его, наверно, выясняет, не земляк ли. Ко всем незнакомым она обращается с одним и тем же вопросом:

— Чи вы не з Украины? Я з Полтавщины.

Блиндаж захлестывает режущий вой. Он сразу всех валит на землю.

Уткнувшись лицом в матрац, обхватив голову, я вижу, как, оторвавшись от самолета, растут бомбы — растут вместе с режущим воем. Как можно видеть с закрытыми глазами, не знаю, но я вижу. Вот уже закрылось все небо. Одни бомбы. Сейчас они накроют блиндаж. Оглушительный грохот ударяет раскатами, сыплется земля. Блиндаж взрывается плачем.

Вадик зашелся в крике, будто его ошпарили кипятком. Всех встряхивает и засыпает пылью. В блиндаже темно. Многометровая толща земли вот-вот рухнет. Молочный от пыли просвет в проеме выхода загораживает чье-то тело. Это выбежала Шура, за ней мелькают еще фигуры. Срывается с места Сергей, за ним мать. Они ныряют в грохочущую тучу пыли и гари. Перелетая через скрюченных и распластанных людей, я выскакиваю за ними и во всю мочь, сколько позволяют мои ноги и легкие, бегу прочь от блиндажа...

В эту бомбежку погибли наши квартирантки — девушки с Полтавщины. Они только днем бывали в нашем блиндаже, а на ночь уходили в свой — вырыли в том же овраге, где был и наш. На следующее утро мама уже сготовила завтрак, а девушки все не шли.

— Сбегайте, разбудите их, — бросила нам мама.

Мы с Сергеем побежали и увидели на месте блиндажа кучу развороченных бревен.

Чувствуя недоброе, я спустился вниз. Из земли торчала стеганая фуфайка Шуры. Я осторожно потянул за воротник и отшатнулся...

— Ночью не бомбили, — горестно рассуждала мама. — Значит, их убило еще с вечера.

Только на следующий день, когда немного стихло, мы поспешили туда с лопатами. Откапывать блиндаж бессмысленно. Да и не было у нас на это сил. Второпях закидали землей Шурину фуфайку, развороченные бревна и доски блиндажа и побежали к своему. Небо уже надсадно гудело.

— Сколько же их там, сердешных, было? — вытирала слезы мать. — И передать-то некому, некому рассказать, где их, бедных, поубивало... — Она умолкла, а потом начинала опять плакать, будто уговаривала себя. — А может, одна Шура там осталась, а те повыскакивали?.. — И, помолчав, в раздумье добавляла: — А может, к ним еще кто вскочил?..

Так и не узнали, скольких присыпало в том блиндаже. Видно, долго ждали наших квартиранток-девушек в полтавском селе... А может, ждут их там и до сих пор.

УБИТЫЕ

Это было, пожалуй, первое большое затишье после измотавших всех обстрелов и бомбежек. Не стреляли вечером и ночью, не стреляли утром, и я почувствовал, что начинаю оттаивать. Меня потянуло из душного блиндажа, а когда вылез на воздух, понял — не могу сидеть.

— Уже навострил уши! — крикнула мама.

Но это был безобидный крик, который давал мне свободу. Прибежал Костя.

— Знаешь, «Культтовары» сгорели. Сейчас там пацаны шуруют. — Костя отвернулся и хвастливо шепнул мне: — Я кой-что притащил.

Мы побежали. Бог ты мой! Да тут сгорел не только магазин. Верхней улицы как не бывало. И наша школа теперь — вот она. Прямо через пепелища можно к ней. Ну и дела. Поселок, будто выклеванный воробьями подсолнух, только кое-где торчат серые дома-семечки. Людей не видно. Лишь старик Глухов сидит на лавочке перед своим домом.

Заскочили в блиндаж к Витьке, заглянули в убежище к Сеньке Грызлову и побежали смотреть то, что Костя раздобыл в «Культтоварах». Костино «кой-что» оказалось ерундой. Обгоревшие внутренности патефона да проекционный фонарь.

— Можно починить, — не сдавался Костя. — Вещь — что надо.

Но на нас его находки впечатления не произвели, и Витька предложил:

— Вот к полотну бы прорваться, там можно достать...

Полотном мы называли полотно железной дороги. Там стояли разбитые вагоны, и оттуда, рассказывают, несли все.

— Прямо сахар и конфеты в мешке тащил дед, — не моргнув, соврал Сенька. — А одни таранили ящик папирос. Эти, знаешь, «Пушки» — папиросы.

Мы засмеялись. Ничего там, кроме разбитых и сгоревших вагонов с пшеницей, не было. Да теперь и горелую пшеницу растащили. И все же мы наддали к полотну. Я знал: если что-нибудь принесу домой, мать не

станет сильно ругать. «Нагрести хоть пшеницы в карманы».

Новой дорогой через сгоревшие дворы быстро проскочили к железной дороге. Платформа сгорела. На ее месте серыми пнями торчали низкие бетонные столбики. Вдоль полотна дороги и на самой насыпи нарыты свежие окопы. Их не было. Может, фронт уже здесь?

Нырнули вниз и начали шарить. Сенька поднял над головой бутылку. Передо мной на дне окопа тоже лежало несколько темных бутылок, я хотел поднять, но Костя заорал:

— Не тронь! Они с горючкой! — Сенька перепуганно швырнул свою бутылку, и она, ударившись о рельс, полыхнула ярким костром. Мы выпрыгнули из окопов.

— Ну, шалопай, ну, шалопай! — задыхаясь, кричал Костя. — Колька ведь от нее сгорел. Ты соображаешь? — И он врезал Сеньке такой подзатыльник, что того бросило вперед. Сенька удержался на ногах. Он не заплакал, хотя веснушки на его раскрасневшемся лице еще долго подрагивали.

Перешли на шаг, опасливо оглядываясь на огонь, который все еще лизал стальной рельс. Меня тоже напугала эта бутылка. Оказывается, от такой погиб Колька Маслов. Два дня умирал от ожогов.

Сенька виновато сопел. Все молчали. Я вспомнил Сенькин рассказ о том, как страшно кричал обожженный Колька...

Мы и не заметили, как перемахнули овраг и выбежали в поле. Вокруг было удивительно пусто, нигде ни души и, главное, не стреляли. Мы уже на территории строящегося завода, где когда-то работал Сенькин отец. Завода, собственно, нет, есть пустырь (здесь раньше сажали бахчи), огороженный забором. У самой шоссейной дороги стоят два или три здания. Они разбиты, да и забор во многих местах повален. Мы идем к оврагу, там кусты боярышника.

— Нарвем барыни, — предлагает Костя. — Уже, наверно, спелая.

В стороне, ближе к оврагу, несколько землянок. Рядом — железные бочки, разбросанные ящики, разбитая повозка. Там, кажется, было нефтехранилище стройки. Решительно сворачиваем: даже если есть керосин, и то дело. Сейчас мы, мальчишки, добытчики, тащим в свои блиндажи и подвалы все, что может пригодиться в хозяйстве.

Подходим к первой землянке. Рядом со входом лежит на спине красноармеец. Одна рука закинута под голову, другая вытянута вдоль тела.

— Спит, — шепчет Сенька. — И карабин бросил...

На петлицах красноармейца по два темно-красных треугольника. В шею врезался белый целлулоидный подворотничок. Что же он не расстегнул ворот? Ведь задохнется.

Лицо у сержанта темно-коричневое и какое-то неестественно полное, даже лоснится.

— А вон еще, — говорит Костя. — Гляди, вон...

Я отрываю глаза от сержанта и вижу, что за повозкой у раскиданных ящиков тоже лежит красноармеец, а дальше, под крышей другой землянки, — еще два человека.

«Они убитые...» — догадываюсь позднее всех.

Молча обходим землянки и вдруг, будто сговорившись, отворачиваем в сторону и бежим к знакомым кустам боярышника.

Здесь мы дома, но рвать ягоду расхотелось.

— А я думал, они спят...

— А я сразу увидел. Смотрю, все валяется: шинель, вещмешок. А карабин новенький...

Сенька с Витькой шепчутся, а у меня что-то случилось с горлом. Перед глазами кипенно-белый подворотничок сержанта, врезавшийся в шею. Он и мне сдавил горло.

В кустах боярышника — окопы, маленькие, одиночные, меньше метра глубиной. Обходим их.

— Только вырыли, — кивнул головой Сенька на рыжий суглинок.

Прошли к большому, развесистому кусту. Здесь всегда рвали особенно крупную ягоду. Куст почему-то похудел, стал прозрачным. Вон оно что: под ним подкова глубокой траншеи. Конец подковы уходит к оврагу. Траншея отличная. Костя спрыгнул на дно ее и скрылся с головой.

— Смотри, — донесся его голос, и над траншеей, в стороне, вынырнула винтовка. — Видал?

Мы подбежали. Винтовка не наша. Приклад у нее немного другой формы. Рукоятка затвора не торчит, как у нашей, а загнута, прицельная рамка и мушка тоже другие. Подхватываем с Сенькой эту диковинную винтовку и начинаем лихо щелкать затвором. Костя опять в траншее.

— Ух ты, немецкая! — рвет у меня из рук винтовку Сенька.

— Ищи патроны. Ищи! — кричу Косте.

— Нет патронов! — Костя вылез из траншеи у кромки оврага. В руках у него такая же винтовка.

— Давай поищем, — ноет Сенька.

Я понимаю его желание — пострелять из немецкой винтовки — и прыгаю в траншею. Но патронов нет.

Покружили вокруг кустов и идем к поселку. Убитых красноармейцев обходим стороной. Притихли. Замечаю тревожные взгляды ребят. Они смотрят, где лежат солдаты. Что же здесь случилось? Как они погибли? Наконец Сенька спрашивает:

— Неужели немцы были здесь?

— Ты что? — возражает Костя. — Не видишь, окопы наши!

— А винтовки?

— Принесли бойцы. Патронов нет, они и бросили их.

Костя все знает. А вот знает ли он, что эти винтовки домой не принесешь? Ишь закинул за спину и вышагивает. Сенька семенит рядом. Он держит свою винтовку в руках и без конца щелкает затвором. Доиграется, будет то, что Кольке Маслову с бутылкой!

Все же догадались: винтовки спрятали в развалинах четырехэтажного дома, что близ завода.

— Теперь мы с оружием, — заговорщически сверкнул глазами Сенька. — А патроны раздобудем...

Но Костя так сердито посмотрел на него, что тот тут же умолк.

— Может, из этих винтовок тех красноармейцев...

До самых блиндажей мы больше не говорили.

В ОВРАГЕ

С нами случилось то, чего больше всего боялись. Как это произошло, объяснить не могу. Когда бомбы стали рваться совсем близко от нашего блиндажа, через меня начали прыгать люди: уже так было однажды. Я знал, надо сидеть, но не выдержал. В проеме двери увидел цветной мамин сарафан, потом Сережкину темную курточку и тут же сиганул в грохочущий овраг.

Куда и как бежал, не помню, все затмило событие, которое разразилось через несколько минут. Свист бомб повалил меня, и я, как крот, стал закапываться в землю. Где-то рядом упал Сергей, впереди полыхнул крас-

ный сарафан, потом земля вдруг накренилась и, расколовшись, опрокинулась на меня. Нос, рот и уши забило удушливым смрадом...

Когда открыл глаза, то увидел, что надо мной стоит Степаныч. Он стучит о землю лопатой и, как в немом кино, открывает и закрывает рот. Рядом, припав на корточки, беззвучно хнычет Сергей. Он тянет Степаныча за руку в сторону, и до меня вдруг сквозь ватную тишину начинают прорываться его всхлипы.

— М-м-а-ма, м-м-а-а-ама гд-е-е?..

Теперь я уже слышу и слова Степаныча:

— Куда бежали? Куда?

Поднимаюсь. С меня осыпается песок. Волосы на голове забиты грязью. Это я обнаруживаю, когда дотрагиваюсь до них рукой. Головы, шеи и плеч не чувствую, будто с них содрали кожу. Поворачиваюсь, как волк, всем туловищем.

Передо мной целый вал свежего, почти речного мокрого песка. Когда падал, его здесь не было. Помню, повалился в ломкую траву, и ее корни мешали мне зарыться в землю...

И вдруг до меня доходит смысл слов Сергея и Степаныча: «Где мама?» Она была впереди... Вон там мелькнул ее сарафан, и нас накрыло. Но теперь там тоже свежий песок. Им засыпано все вокруг.

С ужасом смотрю на воронки. Их две, нет, три. Они по правому краю дна оврага, а мы бежали ближе к левому. Вот откуда этот песок: вал вывороченной земли от первой воронки лег здесь, а мама была дальше. Там должна быть канава. Мой мозг вдруг начинает работать, как машина. Срываюсь и, обогнув первую воронку, бегу к тому месту, где я видел мамин сарафан. Здесь тоже повсюду мокрый песок, но уже из другой воронки. «Эта бомба небольшая, — с радостной надеждой определяю я. — Земли много, потому что грунт мягкий. Почти все осколки застряли в земле. Дальше, метрах в двадцати, такая же. Она тоже от бомбы не больше ста килограммов».

— Ну, — тормошит меня за плечо Степаныч, — соображай, соображай, где она бежала?

— Здесь была где-то канава. Ее надо найти. Вот там, кажется.

Степаныч настороженно замирает и смотрит почему-то не туда, куда я показываю. Он даже вытянул шею, словно пытается рассмотреть что-то. Потом срывается с

места и, обежав воронку, ложится на вывороченный из нее песок, прижимаясь к нему ухом.

Я наконец нахожу канаву. Она наполовину засыпана.

— Здесь надо искать маму! — кричу я. — Здесь!

Но Степаныч, прильнув к земле, грозит кулаком, потом кричит и машет рукой, зовет нас с Сергеем к себе.

Я опять ничего не слышу. В ушах тягучий, будто через вату, звон. Меня начинает тошнить, и я, обхватив руками живот, сгибаюсь до самой земли...

Мимо пробегает тетя Маруся Глухова. В руках у нее лопата. Она что-то кричит, но слов ее я тоже не слышу. Бегут еще люди, и мне кажется, что все они прыгают через меня, распластанного на земле. Я вцепился руками в мокрый песок, а он плывет...

Мне уже легче, только прошел бы этот густой, тягучий звон. В овраге быстро темнеет, я еле различаю людей. Они столпились по ту сторону воронки, куда нас звал Степаныч.

«Ведь они ищут маму!» — обжигает меня мысль, и я тут же вскакиваю. Хочу бежать, но ноги дрожат, не слушаются.

...Мама полулежит на самом гребне воронки. Ее за голову поддерживает тетя Маруся и платком вытирает лицо, шею, грудь. Сарафан у мамы разорван, и она одной рукой старается стянуть прореху на груди, а другой упирается в землю, пытаясь встать. Сергей помогает ей, но тетя Маруся отстраняет его:

— Пусть ветерком обдует, не трогайте ее.

Мама жива. Но что у нее с головой? Не волосы, а сплошной ком глины. Мама смотрит по сторонам. Кого-то ищет. Слежу за ее взглядом. Оказывается, здесь не одна мама. Чуть поодаль на боку лежит красноармеец. Он без пилотки. Почему его так неудобно положили? Заглядываю сбоку. Ах, вот оно что: гимнастерка на спине у красноармейца изорвана, с налипшими комьями мокрой земли. Я знаю, что это такое, и отвожу глаза.

Люди хлопочут возле другого красноармейца. Он лежит на спине. Ему, как и маме, растирают грудь, делают искусственное дыхание. Лицо землисто-серое, и я не могу понять, молодой он или старый.

А поодаль люди лихорадочно орудуют лопатами. Они раскапывают траншею. Так вот откуда эта глина. Вспомнил! Здесь в крепком суглинке была вырыта щель. В ней

прятались зенитчики. Потом отсюда стреляли «катюши». В этой траншее всех и засыпало... Сколько же их там?

Смотрю на маму. Наконец-то она узнала меня, и на ее измученном, усталом лице проступает жалкая полуулыбка. Бросив стягивать прореху на сарафане, она протягивает руку. Подставляю плечо, и мама начинает подниматься. Тетя Маруся и Степаныч опасливо поддерживают ее сзади. Она, пошатываясь, стоит. Держась за меня, начинает отряхивать с себя землю. Отряхивается долго, пытаясь что-то сказать мне. Потом поворачивается к Сергею и, поманив его взглядом, хочет сказать что-то и ему, но слова у нее не складываются. Из горла вырывается лишь прерывистое мычание. Мы не знаем, как ей помочь. У Сергея ходуном ходят плечи, сейчас он опять разревется. Я и сам готов зареветь на весь мир. Закричать так, чтобы провалилась эта земля, которая не может укрыть и спасти людей, чтобы разверзлось ненавистное небо, откуда все наши беды. Заорать так, чтобы лопнуло мое сердце, разлетелась на черепки голова... Но мне жалко мою полуживую маму, перепуганного братишку, и, сцепив зубы, я молчу.

Мама притянула наши головы к себе, и я почувствовал, что мой лоб становится мокрым. Так мы стояли несколько минут, пока не подошли Степаныч и тетя Маруся.

— Жива, Лазаревна, и ладно! — прокричал на ухо маме Степаныч. — Ребята целы. Чего тебе еще? Не убивайся. Пошли помаленьку... — Они взяли маму под руки и тихо повели через овраг. Мы с Сергеем молча двинулись за ними.

Пока выбирались из оврага, стемнело. На дымном небе робко проступили крохотные звезды. Они мерцали над Заволжьем, загорались в южной половине неба, куда вела свое русло Волга, а на севере и западе их не было. Там горизонт заволокло дымами, сквозь которые пробивались багровые отсветы пожаров. Оттуда доносились глухие удары. Они то почти затихали, то вдруг разрастались в громовые раскаты.

В поселке — редкая тишина для последних дней, даже нет пожаров. Значит, сегодня не бросали зажигалки.

Вышли на нашу улицу. Здесь та же затаенная тишина, нигде ни огонька, словно все вымерло. Подошли к нашему дому. Мне показалось, что он, как и все на этой

земле, сжался и затаился. Темная крыша придавила маленькие, незрячие окна, и весь он словно врос в землю. Сейчас для всего одна защита — земля, но и она уже отказывается служить людям и всему живому. Не спасла она девушек с Украины, не защитила тех красноармейцев, которых мы видели на пустыре у склада горючего, не укрыла земля и этих солдат, что лежат там в овраге с иссиня-темными лицами.

Когда повернули к глуховскому дому, Сергей спросил:

— Мы ведь у них жить будем?

Я не ответил. Он потянул меня за руку и, поднявшись на цыпочки, прокричал:

— У Глуховых жить будем? Ты опять не слышишь?

Я слышал. Глухота моя прошла, но я не хотел говорить.

СТРАШНАЯ НОЧЬ

С вечера нас отбомбили «юнкерсы», и все вроде бы стихло. Правда, где-то непрерывно ухало, но это никто не принимал всерьез. Измотанные тяжелым, нервным днем, люди в подвале стали засыпать. Я нырнул в свое логово — под койку — и тоже сразу уснул.

В последние недели спать я научился по-особому: сплю и слышу все, что происходит вокруг меня. В моей голове будто несколько сторожей-хранителей. Главный следит за самолетами. Он настроился на их гул, и, как только гул переходит в свист падающих бомб, сторож меня будит. Другой хранитель следит за артобстрелом. Он меня почти никогда не будит, стены и свод глуховского подвала выдержат любой снаряд или мину. А третий сторож наблюдает за всем, что происходит в подвале. Усиливается обстрел, и подвал начинает стонать. Я уже привык к стону старух и монотонному плачу детей. Самолеты гудят убаюкивающе далеко, и мой главный сторож дремлет. Сплю нормально, мне не так душно под койкой. Это лучшее место в подвале. Здесь даже можно вытянуть ноги. Как хорошо, что я его открыл первым. Если бы еще утих этот обстрел.

И вдруг страшный сухой треск, белая вспышка, и воздушная волна опрокидывает все в подвале. Меня вышвыривает из-под койки и тут же мягко заваливает узлами с одеждой. Сейчас рухнут перекрытия. Весь сжался, жду и, как черепаха, втянув голову, замер, готовый

ко всему, только не к смерти. «Я не умру, не умру, я останусь!»

Позже я бы мог презирать себя за эти мысли. Почему только я? Ведь рядом мать и младший братишка. А как же они? Но тогда мой мозг, все мое существо вопило: «Не умру, не умру. Я останусь!»

В меня нацелены все бомбы и все снаряды, которые есть на земле. Сейчас рухнет свод, разлетится в щепы наш подвал, и ничто меня не спасет. Уже не чувствую своего тела, страх сжал, спрессовал его в одну точку, с меня будто содрали кожу, я устал дрожать и бояться. И вот я уже не кричу, а, сцепив зубы, шепчу: «...Я буду, я буду...»

Сколько продолжалась бомбежка? Час, два, а может, всего полчаса. Время замерло. Надо оборвать этот кошмар, выскочить из него. Я пошевелился. Жив. Еще движение, еще. Высунул голову из-под вороха одежды, и сразу стало не так страшно.

В подвале люди, живые. Я их вижу. Свет идет от двери, она распахнута. Выбрался совсем, но разогнуться не мог, голова упирается в холодное и твердое. Ползу на четвереньках к выходу.

«Ух ты... Дверей-то нет!» Осматриваюсь, ищу мать и Сережку.

— Вон они, — толкают меня. Это тетя Маруся. — Видишь?

— Не-е.

Я ослеплен бьющим в провал дверей светом, и меня неудержимо тянет туда.

— Где ж ты, где?.. — Хриплый голос матери прерывается, как в испорченном репродукторе. Ползу на ее голос, упираюсь руками в чемоданы, узлы, ползу. Горячий мамин шепот у самого уха:

— Мы дав-н-н-о зо-в-вем. А т-ты...

Мама странно растягивает слова. Это от контузии. Она не слышит, что я ей говорю. Прижала мою голову к теплому животу и шепчет:

— Думала, убежал. Не н-н-а-до-о...

Дрожь проходит. Теперь я понимаю, о чем она думает, и шепчу Сережке:

— Не надо больше бегать.

Он тоже уткнулся в мамины колени и всхлипывает.

— Надо сидеть, сидеть, — гладит мою голову мама. Рука горячая, мягкая. Вот что мне нужно было там, когда я умирал, заваленный узлами, — мамина рука, мяг-

кая и теплая. — Что будет, то и будет... — тихо шепчет она.

Взрывы то удаляются, то вдруг обрушиваются на нас откуда-то сверху, и тогда мама накрывает наши головы своим телом, и мы в тоскливом ожидании замираем, перестаем дышать. Но теперь уже во мне нет того страха. Надо только выждать, перетерпеть, и гул взрывов отойдет. Еще немного, и он отпустит наши души.

— Неужели я первым выбежал тогда из блиндажа?

— Ага, ты, — шепчет Сергей.

— Да ты что? Когда бомба ахнула, вы все стали прыгать через меня. Я ж видел, как ты побежал, а мама за тобой.

— Нет, нет, ты, — хнычет братишка.

Почему Сергей говорит такое? Ведь они побежали первые. Я уже могу думать. Думать не о снарядах и бомбах, которые вот-вот растерзают мое тело, могу думать о другом. Значит, выжил, выжил.

И вдруг все обрывается, будто лопается струна. Ее долго и безжалостно натягивали, и она лопнула. Все сидят в тех же полуобморочных позах, засыпанные кирпичной и известковой пылью, не двигаются, ждут — не начнется ли опять? А я уже знаю. Все! Гитлеровцы выбросили все, что припасли на этот раз для нас. Мы остались живыми, надо вылезать из этого гроба.

Хочу вскочить, но мама цепко держит мою голову. Ее руки словно закаменели. Рассвело. В развороченном проеме двери — приземистая фигура Степаныча: он очнулся первым, сгребает сапогом к стене камни и щепы, ощупывает развороченную стену.

Степаныч ходит в своей праздничной военной форме. Он так и не снял ее после проводов ополченцев рабочего батальона. Обычно бережливый, старик сейчас не жалел даже хромовые «комсоставские» сапоги.

Осторожно высвобождаю голову из-под рук мамы и пробираюсь к выходу.

Оказывается, тяжелый снаряд угодил в угол нашего подвала. Воронка почти в мой рост, выворочено два ряда камней. Но толщина стен глуховского подвала больше метра.

Взрывная волна прошлась, видно, вскользь. Она сорвала и раздробила тяжелую дубовую дверь и обрушила штукатурку до кирпича. Какое же чудо спасло нас? Смотрю под ноги — массивная дубовая дверь разбита в щепы. Действительно, чудо! Она прикрыла нас всех.

Выглянул во двор и остолбенел. Вокруг завалы кирпича, обрушенных балок и расщепленного дерева. Не могу понять, где же наша улица. Простор такой, аж дух захватывает. Карабкаюсь на груду кирпичей. А где же наш дом? Черное пепелище, закопченная гора кирпича. Так это же наша горбатая печь. Во мне будто что-то оборвалось. Куда же все делось? Надо сказать матери и Сергею. В животе заныло, не могу сдвинуться. Даже сел на кучу кирпича. Как же это? Что же мы теперь будем делать?

Вокруг сиротливо-пусто, все повалено, нет заборов, да что заборов! Домов нет! Только кучи угля и золы, обгорелые головешки, какие-то прутья железа...

Смотрю на улицу. И здесь прибавилось воронок, ям. Метрах в пятидесяти от нашего дома свежий окоп. Из него торчит ствол ручного пулемета. Высовывается пилотка, потом еще одна, глянул на красноармейцев, они — на меня. Красноармейцы поднимаются над окопом.

— Ты откуда взялся? — спрашивает тот, что постарше. Он уже сидит на краю окопа, подставляя свое в черной щетине лицо солнцу, вырвавшемуся из-за заволжского леса.

Молодой красноармеец машет мне рукой. Он снял пилотку, обнажив мальчишечью стриженую голову и смешно торчащие большие уши. Лицо у красноармейца в потеках пота. Ослепительно блестит полоска зубов. Больше всего меня манит пулемет. Спрыгиваю с груды кирпичей к окопу. Завороженно рассматриваю пулемет. Даже забыл про сгоревший дом. Ствол толще моей руки, весь в дырках. Ну и машинка!

— Ты откуда взялся? — недоуменно повторяет старший. Теперь мы все трое сидим на краю окопа, свесив вниз ноги.

— А вон, — указываю я в сторону подвала, — там много людей.

— А чего ж за Волгу?

Я молчу, потом выпаливаю:

— У нас есть две немецкие винтовки. Мы их спрятали, только патроны нужны... И стрелять умею. Нас в школе учили. Даже из автомата...

— А из «дегтяря» не пробовал? — хитро щурит воспаленные глаза молодой красноармеец.

Я обрадованно поворачиваюсь к пулемету, но пожилой останавливает меня:

— Нельзя! Нашел игрушку! — Он недобро посмотрел на молодого и добавил: — С оружием не балуют.

Я глянул на пепелище нашего дома. «Где ж мы теперь будем жить? Мать и Сергей еще не знают. Что же будет с нами?»

Пулеметчики о чем-то заспорили, засуетились. Я вскочил вслед за ними. Вокруг удивительная тишина, будто нет никакой войны. Даже летит паутина. Паутина не первая. Значит, осень... Пулеметчики уже стоят во весь рост. Старший вскинул «дегтяря» на плечо, а младший поднял тяжелый зеленый рюкзак с дисками.

— Вам бы надо туда... за Волгу. — Он указал рукой на темную кромку леса. Припрыгивая, они потрусили к разбитому дому. На секунду остановились, словно проверяя свою ношу, и, еще больше согнувшись, побежали вдоль нашей улицы, тесно прижимаясь к развалинам.

Я смотрел вслед, пока они не скрылись в овраге. Если бы не свежий окоп да банка тушенки в моих руках, можно было бы подумать, что пулеметчиков и не было.

ПОХОРОНЫ

А через час я узнал, что в эту ночь погибла семья Сеньки Грызлова. Убило их всех сразу. На месте блиндажа видел глубокую воронку. На дне ее стояла вода. Позже узнал: такие бывают только от тонной бомбы.

Старика Глухова убило к вечеру. Смерть его показалась мне особенно бессмысленной. День выдался солнечный, с легким ветерком, нежаркий, стреляли мало. Казалось, война выдохлась, ее пересилила эта обнявшая землю золотая осень: осыпающиеся с нарядных деревьев листья, прозрачная синева неба и нежная, трепетная паутина, которая нет-нет да и протянет свои нити над нашим развороченным и сожженным поселком.

Для себя я открываю еще один закон жизни: люди быстро отвыкают от дурного и страшного. Вот и сегодня, только смолкла стрельба, а все уже вылезли из блиндажей и убежищ. Постояли, подождали — не стреляют. И стали разбредаться по поселку.

Не усидел и Степаныч. С тех пор как был разбит и его дом, он уже больше не сидел на лавочке. Степаныч бродил по двору и разбирал завалы: складывал в штабеля кирпичи, доски, сгребал в кучи мусор.

— Может, еще и починю, — говорил Степаныч. —

Ведь когда-то же оно кончится. — И он зло упирал в небо свои навыкате глаза.

Степаныч и впрямь, видно, еще надеялся восстановить дом. Он возился во дворе с утра до вечера. В подвал его могла загнать только сильная бомбежка.

А сегодня старик Глухов подался на свой кожевенный завод, где проработал всю жизнь.

— Зачем ты туда тащишься? — кричала ему вслед невестка. — Ненормальный. Там же ничего нет. Все разбито, все сгорело.

Но Степаныч не послушал тетю Марусю и пошел на пепелище завода. Позже все подумали, будто пошел за своею смертью.

Ушел Степаныч, а через полчаса во дворе раздался режущий крик старухи Глуховой:

— Убили Степаныча, ой, убили... — И она зашлась в плаче. Завыла на одной высокой и жуткой ноте, потом обессиленно стихла и запричитала: — Да на кого же ты покинул меня одну, на ко-го-о-о? Да и как же я теперь одна-а? Что ты наделал, Степаныч, что наделал?..

Старуха уже не плакала, она нараспев выкрикивала слова, рассказывала о том, какой Степаныч был разбитной и работящий, как они хорошо жили, как он ее жалел. Она даже принялась выговаривать Степанычу и совестить его, словно живого:

— Уж я-то за тобою не ходила, уж я-то тебя не холила, а ты взял да и уш-е-о-ол. Бросил од-ну-у, одинешеньку-у-у. Зачем же ты так сделал, Степаныч, зачем?

А Степаныч лежал на своей узкой железной койке, в углу подвала, и не отзывался. Лицо усталое, глаза закрыты. Теперь он опять был Степанычем — спокойным, невозмутимым. А когда принесли его с завода, смотрел на всех широко открытыми, безумными глазами, на лице испуг, одежда изорвана, в грязи. Сейчас на Степаныче свежая белая рубаха. Короткая острая борода, которая так и не отросла после пожара, упирается в грудь, руки скрещены.

Мертвых теперь перестали бояться даже дети, и Степаныч весь остаток дня и ночь пробыл с нами в подвале. Ему, как говорили женщины, нужно было «переночевать дома». Еще с вечера пришли два старика. Одного из них, высокого, сгорбленного, я знал. Это был дед Кирилл. Он жил на Верхней улице, где-то недалеко от Бухтияровых. Второго, помоложе, видел впервые.

Он держал в руках ящик с инструментами и молчал. Все разговоры со старухой Глуховой вел дед Кирилл. Они договорились сегодня сделать гроб, а завтра вырыть могилу.

— Оплата натурой — по пять стаканов пшена каждому, — сказал дед Кирилл и тут же добавил: — Беремся за домовину сейчас же.

Они начали отбирать доски. Напарник деда Кирилла достал из ящика ножовку и ловко стал отхватывать концы досок. Работа у них пошла споро. Доски не строгали, орудовали только ножовкой и молотками. Я удивленно смотрел: старики мастерили домовину, а получился ящик.

— А такие ящики есть готовые, — не утерпел я.

Дед Кирилл перестал стучать молотком.

— Они в овраге, — поспешно добавил я. — Там стреляли «катюши», а ящики остались. Это недалеко, метров четыреста-пятьсот.

Пошли в овраг. Старики сразу определили: Степаныч в ящик из-под снаряда «катюши» не войдет.

— Возьмем два, — предложил дед Кирилл.

Принесли и тут же быстро соорудили домовину.

— Придется мальцу выделять его долю, — в улыбке обнажил беззубый рот дед Кирилл.

— Да что вы? — не поняв шутки, запротестовал я. — Мы же у них живем.

— А-а, квартируете! — всплеснул дед руками. — Ну, тогда...

Я разозлился на деда Кирилла и отошел в сторону.

Старика Глухова подняли с койки. В ящике он лежал глубоко, как в люльке. По просьбе хозяйки домовину поставили ближе к выходу.

— Здесь ему будет прохладнее, — успокоенно сказала жена Степаныча. Она уже не плакала, не причитала, но обращалась к покойнику, как к живому. Сережка испуганно спросил:

— Чего это она?

— Да так. — И, чтобы брат отвязался, я добавил: — Они староверы.

А старуха Глухова продолжала разговаривать со Степанычем.

— Так тебе удобно, Степаныч? — спросила она, когда ящик поставили к выходу из подвала.

Ночь, кажется, была спокойной. Я спал в своем закутке, под койкой, и мои сторожа-хранители не трево-

жили меня до утра. Когда проснулся, все женщины были на дворе. Они готовили обед — на поминки Степаныча.

— Мама тоже там, — сказал Сергей. От него я узнал, что хоронить Глухова решили в овраге, откуда мы вчера принесли ящики. Там старики уже рыли могилу.

Скоро старики пришли. Потные, перепачканные в рыжей глине, они тут же захлопотали вокруг ящика Степаныча, готовя его к выносу. Со двора все спустились в подвал. Старуха Глухова вновь запричитала. Заплакали в голос и женщины. Дед Кирилл поспешно внес крышку. Старуху пришлось оттаскивать от Степаныча силой. Плотники заспешили и стали заколачивать ящик.

— Не замайте его, не замайте, — обессиленно задохнулась старуха, но ящик подхватили и понесли.

Только вышли во двор, как начался артобстрел. Степаныча оставили у стены разбитого дома, и все вернулись в подвал.

Я прислушался и понял: немцы бьют из своих тяжелых шестиствольных минометов-«скрипунов» (так их называют за противный скрипучий гул при выстрелах). Взрывы этих мин посильней, чем у снарядов гаубицы: сам видел развороченный до фундамента дом.

Женщины сбились у выхода из подвала и обсуждали, как выручить две большие кастрюли с борщом и картошкой. В воронке от бомбы неделю назад Степаныч соорудил из кирпича печурку, и сейчас на ней доваривался обед на его поминки.

Снаряды рвались рядом и вот-вот могли накрыть наш двор. Как только взрывы откатились в сторону, из подвала метнулась тетя Маруся, я кинулся за ней. Проскочили удачно.

— Борщ готов, а картошка немного сыровата, — определила тетя Маруся, присев перед кастрюлями. — Чуток подождем.

В воронку влетел Сережка, и сразу грохнул взрыв, за ним другой. Мы упали на землю, на нас посыпалась земля.

Волна взрывов откатилась. Тетя Маруся, вскочив, закричала:

— Лихоманка забери эту картошку. Еще убьют. Бежим отсюда! — И, подхватив кастрюлю с борщом, согнувшись, кинулась к подвалу.

Мы не успели. Новый грохот прижал нас к земле. Без тети Маруси стало еще страшнее.

— Сейчас прибежит мать, — крикнул мне на ухо Сергей. — Давай!

Схватив кастрюлю, мы метнулись к подвалу. Мама стояла у выхода, готовая броситься навстречу.

Уже в подвале я врезал брату по шее и сам чуть не разревелся.

— Он добегается, добегается...

Мама загородила собой Сергея и обессиленно села на какой-то узел, беззвучно заплакала.

Похороны затянулись. Шла вторая половина дня. Мы несколько раз выскакивали во двор, но усиливавшийся обстрел гнал всех в подвал. Старухи, пошушукавшись, решили кормить детей.

— Я же не Сережка! — сердито шепнул матери, но, когда начали разливать душистый борщ, мне стало не по себе. Сидеть в подвале было нельзя. Плотники тоже вышли.

— Кажется, стихает, — сказал дед Кирилл.

— Надо нести, — сокрушенно оглядывая запыленный двор, добавил его напарник.

— Только без провожатых, — словно ища у меня поддержки, опять сказал дед Кирилл. — Пусть прощаются здесь. — Плотники принялись увязывать ящик веревками. Вышли старуха Глухова и несколько женщин. — Без провожатых, без провожатых. Только Маруся и Андрей с нами, — прикрикнул на женщин дед Кирилл. И, ухватившись за веревку, скомандовал: — Ну, Степаныч, давай, благословясь.

Мы подхватили ящик и побежали со двора. На улице поняли, что обстрел не стих. Черные фонтаны земли и дыма вырастали то здесь, то там, и тетя Маруся завопила:

— Ой, батюшки! Ведь убьют же! Убьют! Скорей! — И тащила всех нас с ящиком за собой. Старик, который был со мной в паре, споткнулся, и мы все повалились, грохнув ящик о землю. Казалось, стреляют только в нас, и уже нельзя было оторвать себя от земли. А тетя Маруся, надрываясь, молила:

— Миленькие, ну давайте, давайте... — И тянула за веревку ящик. Я было поднял голову, но рядом рвануло так, что нас заволокло дымом и по ящику забарабанили комья. Тетя Маруся вскочила и нырнула в пыльную тучу. Меня тоже словно подхватило этим взрывом и швыр-

нуло в колючки на дне оврага. Видно, я летел со скоростью снаряда, потому что скатился туда раньше, чем тетя Маруся.

Чертыхаясь и кляня паразита Гитлера, тетя Маруся погрозила куда-то в небо кулаком, а потом вдруг, задохнувшись, оборвала крик:

— А-а, пропади оно все пропадом...

Сидели недолго. Послышался шорох осыпающейся земли, и мы увидели на краю оврага стариков. Словно коня под уздцы, они спускали в овраг, придерживая на веревках, ящик со Степанычем. Мы поднялись и пошли им навстречу.

— Спрятались от дождя в воду, — сердито встретил нас дед Кирилл и обессиленно сел на ящик. Я с ужасом заметил, что ящик перевернут, показал деду Кириллу, но тот даже не ответил мне, сидел и тяжело дышал, как загнанный.

— А здесь и правда намного тише. — Он наконец поднялся.

Мы уже не спешим, несем ящик с «передыхом». Вот и то место, откуда стреляли «катюши». Валяются деревянные ящики, свежая земля из могилы Степаныча. Но что это? Яма почти до краев залита водой. Мы так растерялись, что долго не могли произнести ни слова.

— Ему теперь все равно, — сказала тетя Маруся.

— Да и то ведь, — заметил дед Кирилл, а его напарник добавил:

— Здесь где ни рой, везде вода будет. Овраг.

И все же всем было страшновато хоронить Степаныча в воде. Плотники принялись ровнять лопатками оплывшие бока могилы. Но это была ненужная работа, и тетя Маруся, ухватившись за веревку, приказала:

— А ну!

Она была самой решительной из нас.

— Он не обидится, — проговорила тетя Маруся и начала быстро сгребать лопатой землю в воду.

Когда возвращались, обстрела уже не было, и я пошел через пепелище своего дома. Вокруг груды обгоревшей глины, зола и черные головешки. Беру палку, ковыряю и каждый раз нахожу здесь что-нибудь. То дверную ручку, то замасленный чугун или сковороду. Сегодня отыскались наши изуродованные часы-ходики. Мне словно клещами кто-то перехватил горло, когда я взял их в руки. Стою и не знаю, что мне с ними делать, куда

идти. В руках родная вещь, она, сколько помню себя, всегда была в нашем доме, всегда рядом. А сейчас — как будто из другой жизни, той, далекой и недоступной, которую, кажется, навсегда отрезала война.

КОСТЯ

— Костю ранило! Прямо всего миной изрешетило,— сообщил, прибежав к нам в подвал, Витька. У него потное удивленное лицо. Тревожно смотрит то на меня, то на мать. Мама лежит на коротком сундуке Глуховых. У нее все еще не прошла контузия.

— Я к Бухтияровым! — прокричал я на ухо матери. — Риванол и бинты отнесу.

— Что?

— Костю ранило, — чуть не плача повторил Витька.

Мать устало прикрыла глаза. Я понял это как разрешение и, ухватив полевую сумку с пузырьками риванола и бинтами, метнулся к выходу.

Из дяди Сашиной сумки давно уже выброшены учебники и тетради. Теперь там бинты, марлевые салфетки и наш спаситель — риванол — желтый, похожий на сухую горчицу порошок в маленьких конусообразных пузырьках.

У меня целый ворох медикаментов. Принес я их с пустыря за оврагом, где валялась разбитая санитарная повозка.

Выскочили из подвала и по прямой рванули к Верхней улице через погорелье и развалины. Витька еле поспевает. Вечно он отстает! Прямо сил моих нет. Стали подбегать к разбитому, но еще не сгоревшему дому Бухтияровых, Витька и совсем перешел на шаг, отвернул голову куда-то в сторону.

— Ты чего?

— Боюсь туда... — В глазах у Витьки подрагивают слезы.

— Пошли... — Я подтолкнул его. — Ну чего?

— Знаешь, у него сорок семь ран...

Теперь остановился и я. Не понимая, гляжу на Витьку.

— Да. А Катьку даже не царапнуло. Он варил кашу, а Катька была у него на руках. Мина прямо рядом — Катьку накрыл, а сам...

Вошли в блиндаж, и первое, что я увидел, — Костино лицо, белое, без кровинки, словно вымазанные мелом.

На лбу мелкие, как изморось, капельки пота. Вяло приоткрылись веки, и на чужом лице-маске беспомощно дрогнула полуулыбка. Костю закутали в одеяло, оставив только лицо. Пересиливая страх, я подошел. Костя, видно, хотел что-то сказать, но у него застучали зубы, и он, превозмогая боль, языком придержал их. Его мать, тетя Паша, сидевшая на топчане, где лежал Костя, быстро обмакнула белую тряпочку в кружку и вытерла ему губы.

Я не знал, что мне делать, что говорить, боялся, вот-вот расплачусь, как Витька. И вдруг неожиданно спросил:

— Неужели сорок семь?

— Ага, — выдавил из себя Костя, и на лице опять скользнула та же вымученная полуулыбка. Мать знаком велела ему лежать, но одеяло зашевелилось, из-под него высунулась рука. Пальцы, такие же белые, как и его лицо. Тетя Паша кивнула мне, но я боялся дотронуться до этих уже не Костиных пальцев.

Выручила Катька. Она подошла к топчану и, поднявшись на цыпочки, заглянула в лицо брату.

— Ты заболел?

— За-б-бо-ле-л... — трудно выдохнул Костя.

— А долго будешь болеть?

Костя молча пошевелил головой. Мать поспешно отстранила Катьку и вытерла Косте губы. На тряпочке была кровь.

Я тут же ухватился за свою сумку и начал высыпать из нее пакеты бинтов, салфеток и пузырьки с риванолом.

— Мы с Витькой еще сейчас принесем. Мы сейчас...

— Что это? — взяла в руки пузырек тетя Паша.

— Риванол. Его прямо на раны из пузырька. Засыпайте, и все. Сейчас мы еще...

Но нас остановили. Тетя Паша тихо поднялась, уступив мне место. Витька стоял рядом, отвернувшись к стене. Он плакал, вздрагивая всем телом.

Костя опять закрыл глаза. Я боялся дышать — не повредить бы Косте. Вернулась тетя Паша с миской воды. Она отжала в ней тряпки и стала осторожно вытирать Косте лицо. Как только она касалась губ, тряпка краснела.

Все молчали. А Катька лопотала и лопотала, расхаживая по блиндажу. Когда она оказывалась у изголовья брата, тетя Паша молча отстраняла ее рукой. Но она

через минуту опять подходила и, ухватившись за край топчана, вытягивала свою худенькую шею.

— Ты заболел? А чего ты заболел?

Косте было плохо, он то открывал, то закрывал глаза и смотрел прямо на нас с Витькой, наверное, ничего не видя, потому что в его глазах была только боль.

Мы поднялись и вышли. Светило наше жаркое южное солнце, стояла дивная пора бабьего лета, даже дымные тучи догорающего города не могли скрыть призрачную синеву неба. Почему я раньше не замечал этой удивительной синевы? Жил и не замечал. Солнце как солнце, небо как небо, а теперь, как только стихают стрельба и бомбежка, смотрю вокруг, будто вижу все это впервые. Как же Костя без всего этого?

Где-то глухо ухают раскаты взрывов, а в нашем поселке тихо, и опять летит паутина. Сколько же ее в этом году? Удивительная теплынь. А бедному Косте холодно под теплым одеялом. Я все же дотронулся до его пальцев — холодные как лед. Он даже не пошевелил ими.

Нас не бомбили уже несколько дней. Наверное, кончились у немцев бомбы. Теперь нас засыпали минами и снарядами. Бомбежки кончились, а людей убивает еще больше. Когда летит самолет, его видно, и все прячутся. А мину или снаряда не боятся, да и услышишь их только, когда разорвутся или пролетят мимо. «Свой снаряд не услышишь», — говорил Степаныч. Вот Костя и не успел.

— Надо больше риванола и бинтов, — сказал я Витьке. — Ведь сорок семь.

И мы побежали на пустырь, где бомбой разбило санитарную повозку.

В этот день было еще несколько обстрелов, и мать мне не разрешила идти к Бухтияровым. Не пришел к нам в подвал и Витька. «А ведь уговаривались встретиться и идти к Косте. Наверное, и его не отпустила мать». Лежу под койкой. Свернулся калачиком. Колени у самого подбородка. Зубы стучат, как у Кости.

Все время думаю о нем. «Как он там? Сорок семь ран. Может ли быть у человека столько ран?»

В подвале душно. Безбожно коптит светильник «катюша». Мы все перепачканы в саже.

Только к рассвету стало прохладнее, и я уснул в своем закутке. Проснулся с тяжелым, тревожным чувством вины. Проспал! Костя! Предчувствие беды сильнее, чем ночью. Надо бы не слушать мать, не слушать.

— Поешь, там вчерашняя каша! — кричит она мне вслед.

Где там. Прямо с постели — во двор. Хорошо, не надо одеваться: в чем ходим, в том и спим. Ухватил сумку с лекарствами и бинтами и чешу через погорелье. Витька, наверное, уже там. Сегодня опять погожий день, опять солнце. Дыма над городом вроде меньше. Видно, и пожары выдохлись, гореть уже нечему. Днем паутина полетит. Может, немцев уже погнали? Что-то они присмирели. А Костя? И меня словно обожгло.

Выбегаю на Верхнюю улицу. Вот и дома. Они не сгорели чудом. Правда, все покорежены, снесены или сдвинуты крыши, повалены заборы, оборваны доски с обшивок и, конечно, выбиты стекла.

Скособочился и бухтияровский домик, пустыми глазницами окон смотрит на изрытую воронками улицу.

Около блиндажа две женщины, соседки Бухтияровых. Я замедляю шаг. Боюсь идти, ноги мои становятся ватными. Повернуть, убежать, забиться в щель? Костя, Костя...

— Опоздал, Андрюша, — прикладывая к глазам конец платка, говорит соседка. — Отмаялся. Еще ночью...

Все во мне затяжелело, не чувствую ни рук, ни ног, захотелось сесть прямо на землю.

Из блиндажа вышел Витька. Что-то сказал мне, а я стою, оглохший. Витька всхлипывает, тянет меня за руку.

Костя лежит на том же топчане, но уже не под теплым одеялом, а под простыней. Лицо совсем не его, нос заострился, глазницы запали, только белесый, выгоревший на солнце чуб — Костин. Все всхлипывают. Витька вытирает глаза кулаками, размазывая сажу по раскрасневшемуся лицу, а у меня закаменело горло. Подошла тетя Паша и стала совать в мою сумку бинты и пузырьки риванола. Что-то говорила, а потом, обхватив нас с Виктором, в голос заплакала, запричитала...

В МЫШЕЛОВКЕ

Бежим с Витькой в их блиндаж, и почти перед самым входом нас накрывают разрывы снарядов. Падаем со всего маху и, как ужи, отползаем к развалинам. Здесь замираем. Надо лежать, не шевелиться, и стрельба тогда стихнет. Мы знаем: если стреляют, значит, за-

метили нас. Теперь немцы, как только увидят человека, так и палят. Затаились, как мыши, но стрельба не стихает. Видимо, кто-то бежит. Лежим в развалинах, и нас засыпает кирпичной пылью и землей.

— Давай! — кричит мне Витька.

Мы вскакиваем и в несколько отчаянных прыжков достигаем блиндажа.

— Хватит бегать, хватит! — выговаривает нам сквозь слезы мать Виктора. — Никуда больше не пущу. Сидите в блиндаже!

Потом она приходит к моей матери, жалуется.

— Пусть уж сидят вместе, а то они добегаются, — решают наши матери, и мы в тот же день, захватив свою постель и узел с барахлом, перебираемся к Горюновым.

Горюновы давно звали нас к себе, но мы оставались в подвале у Глуховых, потому что рядом был наш дом. Теперь он сгорел, и нам не за что там держаться. Дома Глуховых тоже не стало, нет и всей нашей улицы. Да и всего поселка почти нет. Если бы сейчас вдруг окончилась война, все бы мы так и остались жить в блиндажах и убежищах. Но война продолжается, и нам нужно думать, как жить дальше, потому мы и у Горюновых.

У них отличный блиндаж, может, самый лучший во всем поселке. Строил его дядя Миша, а какой он мастер, знают все — первый на заводе.

— Его и в армию потому не брали, что без него нельзя, — объяснял нам Витька. — На заводе сейчас все больше женщины, он их всех учил...

Теперь и дядя Миша, и Сенькин отец, и все другие, у кого была броня, на войне. Мой отец шел на нее, а к ним она пришла сама. Про рабочий батальон нашего поселка ходили слухи, будто его бросили за Тракторный завод, — туда, говорили, прорвались танки. Потом вроде бы ополченцы воевали на Мамаевом кургане. Кто-то из нашего поселка видел на переправе раненых из батальона. Они рассказывали, что половину людей выбило в первый же день, еще под Тракторным. Там вроде бы погиб и дядя Миша Горюнов.

Об этом с Витькой не говорю. Я уже знаю столько убитых, что нечего причислять к ним тех, кого не видел своими глазами. Для семьи Горюновых и для меня дядя Миша — живой. Кто-то же удерживает фашистов, не пускает сюда. Раз уж он здесь, под землей, такие хоромы соорудил, фашистам с ним нелегко справиться.

Блиндаж большой, в три наката бревен, внутри обшит строгаными досками, «вагонкой». Сделаны отличные нары, в стенах полочки, в большой нише — вроде погреба, там Горюновы хранят продукты. Все добротно, все надолго, словно дядя Миша знал, что сгорит их дом и семье придется жить в этом блиндаже.

Места хватило и нам, и нашим пожиткам. Мы пришли не с пустыми руками, у нас полмешка муки, большая сумка пшена, мы гордились этим богатством. Но когда все это поставили в нишу рядом с продуктами Горюновых, то поняли, насколько мы беднее их.

У Горюновых — сало, солонина, гречка и даже рис. Пышки они пекут из чистой муки, а наша мама, как только начались бомбежки и перестали выдавать продукты по карточкам, сразу начала подмешивать в муку тертую картошку, свеклу, отруби.

Горюновы люди нежадные, и мы зажили у них припеваючи. Только бабка Устя у них строгая, порядок во всем любит, на нас покрикивает. Но она незлая. А уж нам с Витькой благодать, весь день вдвоем, даже спим вместе.

У нас с ним свои обязанности по блиндажу: следить, чтобы в питьевом баке была вода, носим ее от Коршуновых, метров за шестьсот-семьсот. Научились бегать с ведрами на коромысле, и вода не расплескивается. Кроме того, каждый день должны разводить огонь и варить обед. Еду наши мамы готовят в блиндаже, а дальше уже наша забота. И вот тут-то требуется от нас настоящая сноровка и военная хитрость.

Горюновский блиндаж на погорелье, открытом месте. Значит, огонь и дым надо прятать. Огонь-то можно, а дым? В поселке гибли люди из-за этого проклятого дыма. Как только где-нибудь начинают варить еду, так сразу же туда летят снаряды или мины. Так погиб не только Костя Бухтияров.

— Солдаты в своих окопах могут обойтись без огня, — рассуждал Витька. — У них сухари, хлеб, консервы...

— Да и горячее им приносят, — поддержал Витьку Сергей.

— Приносят, если не сильно стреляют, — оживился Витька. — А нам как? Муку, пшено или сырую картошку есть не будешь. Надо варить.

Сергей, соглашаясь, кивает головой. Сергей наш помощник. Правда, мать его не выпускает из блиндажа,

но он все же нет-нет да прорвется туда, где мы мастерим свою кухню, хитрим, обманываем фрицев. Вырыли яму и сложили в ней из кирпича печурку. Я видел, как Степаныч делал свою, и мы сделали нашу точь-в-точь по его образцу: положили металлическую плиту, приделали дверцы и поддувало, вывели дымоход.

— Все как в лучших домах, — хвастал Виктор.

Пока стояли погожие дни, обходились углем — на любом погорелье его навалом. Уголь не дымит, его только надо разжечь. Но вот пошли дожди, и все раскисло. Даже дров сухих нет.

И мы с Виктором стали соображать, как бы избавиться от дыма. Начали собирать на погорельях трубы. Всякие: чугунные, из жести, даже приволокли длиннющую асбестовую. Сложили из них трубопровод и подвели его к нашей печурке. Трубопровод уходил в груду кирпичей и развалин, оставшихся от горюновского дома.

Боялись, не будет тяги. Даже матери не верили в нашу затею. А зажгли огонь, и все получилось — гудит, как в топке паровоза.

Дым идет по трубам и метрах в двадцати от печурки расползается по кучам битого кирпича.

Печка была нашей маленькой радостью, нашей победой над немцами.

Перебравшись к Горюновым, мы словно попали в западню. Жизнь с каждым днем ограничивалась, сжималась, и вот она уже загнана в горюновский блиндаж, будто в мышеловку, из которой некуда податься: позади Волга, а впереди враг.

— Провались они в тартарары, эти проклятые германцы, — сокрушенно говорила бабка Горюновых. — И когда уж их отгонят?

— Скорей нас здесь всех перебьют, — ответила ей тетя Нюра, Витькина мать. — Вон уже и Борисовых нет, и Сальниковых. Никого не остается на нашей улице...

Почти всегда такой разговор кончался спором, где сейчас наши, а где немцы, и тут чего только не говорили. Кто-то видел немецких автоматчиков в овраге. Вроде они уже вышли к Волге и ночью бродят по поселку. Где наши, тоже толком никто не знал. Одни говорили, что все еще по бугру держатся, другие уверяли, что скатились к шоссейной дороге, а третьи утверждали, что стрельба идет уже у «полотна». А это всего в полукилометре.

Последнее утверждение походило на правду: там мы

сами еще недели полторы назад видели свежие окопы. Но по окопам нельзя определить линию фронта. Окопы везде, даже на нашей улице. На этой страшной войне ничего нельзя понять. Все вдыбки, все вверх дном.

Иногда казалось, что по заводскому району лупят из орудий и минометов и немцы и наши. Бьют, пока здесь все не сровняется с землей. Последний раз я видел красноармейцев, наверное, неделю назад. Вечером, когда уже совсем стемнело, по поселку брели раненые. Догорали дома на Верхней улице. Мы с Витькой стояли у входа в блиндаж. Запомнился мне здоровенный красноармеец. Он прыгал на одной ноге, опираясь на винтовку, как на костыль. Поравнявшись с нами, выпрямился, и я увидел, какой он большой.

— Уходите отсюда, пацаны, — сказал, переведя дыхание. — Вас же минами порежет.

Мы так были поражены этим молчаливым шествием раненых, что не заметили, как начался минометный обстрел. Красноармейцы брели медленно, ступая осторожно, но поддерживая друг друга, будто шли по тонкому и скользкому льду. Мы стояли и смотрели на них, они на нас. И только еще один спросил:

— Далеко до берега?

— Нет, метров шестьсот, — ответил Витька.

— Мне и это далеко, — отозвался красноармеец и, еще ниже опустив голову, побрел вниз к реке.

Как прошли те раненые в конец улицы, так здесь больше никого и не было.

Правда, теперь и мы уже не бегаем по поселку, как раньше, а сидим, словно суслики в своей норе. И поселок кажется вымершим, все затаились и ждут. Чего мы ждем? Хотим переждать войну. А ее, наверное, нельзя переждать. Она то обманчиво затухает, то вдруг остервенело вспыхивает, и тогда молотят по поселку и с бугра и из-за Волги.

А вчера мы с Витькой видели немца. Разжигали свою «печь-агрегат», и вдруг вдоль нашей бывшей улицы на бреющем прошмыгнул самолет.

— Во! — заорал Виктор. — Прямо пешком по головам.

Мне показалось, что летчик нарочно накренил машину, чтобы разглядеть нас. Он прошел так низко, что я заметил очки и черный шлем. Летчик был большой, почти упирался головой в «фонарь», а может, он приподнялся, разглядывая, что мы делаем в своей яме?

Витька уверял, что видел лицо летчика.

— Прямо зубы блеснули, а лицо чугунное, и очки здоровенные.

Мы долго спорили, какой это был самолет. Мне показалось, «мессершмитт», а Витька уверял — «хейнкель».

Этого события нам хватило обсуждать до самой ночи. А утром мы опять были в своей яме. День выдался пасмурный, срывался сеющий дождик, и наши матери решили, пока совсем не раздождилось, сварить обед. Вынесли из блиндажа сухие дрова и быстро развели огонь. Но «агрегат» работал неважно.

— Тяги нет, — заметил Витька и взялся за фанерку.

Размахивая ею, он нагнетал воздух через дверцу под дрова, и дело пошло быстрее. Я выглянул из ямы и увидел, как дым густо пополз по развалинам горюновского дома.

— Тише ты! — крикнул я ему. — Сейчас врежут.

Витька перестал махать, и наш огонь сразу сник: теперь пришлось мне самому браться за фанерку, а Витька следил за развалинами.

Так у нас огонь то затухал, то вспыхивал, и мы измаялись вконец. Но вот варево начало закипать.

— Еще немного, — шепнул Витька, — и понесем.

И вдруг послышался короткий свист мины, и почти одновременно — два взрыва. Наш дым засекли. Не сговариваясь, мы выпрыгиваем из ямы и летим к блиндажу. Витька впереди, я у него почти на плечах. Противный, хрюкающий свист, и мы сваливаемся в блиндаж. Я ныряю вниз головой, сбиваю с ног Витьку. Катимся вниз по ступеням.

— Проскочили! — хохочу я. — Только ногу сильно зашиб.

Поднимаемся. Меня разбирает смех.

— Как мы летели! Прямо ласточкой.

Иду за Витькой и на ходу сую руку под пояс штанов. к ушибленному бедру. Выдергиваю руку — на ладони кровь. Все в блиндаже испуганно смотрят на нас. Я нащупываю в бедре липкую дырочку, в ней кусок гвоздя. Хватаю его ногтями и выдергиваю. Это не гвоздь. На выпачканной в крови ладони — тонкий, сантиметра в полтора, осколок. Чувствую в бедре режущую боль, нащупываю еще осколок, но вытащить нет сил — нога горит огнем.

Меня ранило! Но почему-то ко мне никто не подходит. Все возятся с Витькой. Окружили, снимают с него

рубаху, как с больного, он начинает хныкать все сильней и сильней.

— Андрей! Где твоя сумка? — шепнула мама, когда я шагнул в полосу света. — А это что? — берет она мою руку. — Ты что? А ну...

Меня кладут на нары рядом с Витькой. Он уже лежит на спине, без рубахи. У него на груди три красных пятнышка. Из одного, ниже соска, выползает красный червячок.

— И тебя тоже? — перестает хныкать Витька.

— Добегались, — нарочито строго ворчит мама.— Теперь с вами нянчайся. А ну? — Она уже нашла мою сумку, быстро срывает гремящую бумагу с бинтов и промокает струйку крови на груди у Витьки. — Ничего страшного. Нюра! Давай водку.

Витькина мать метнулась к закутку в блиндаже. Приподнимаюсь на локтях, запрокидываю голову и вижу быстрые руки матери. Что же они так долго с ним возятся? Бедро горит.

— Все! — торопливо переводит дыхание моя мама. — Теперь за тебя...

Но за меня берется тетя Нюра. Она уже пришла в себя и, щедро плеснув на руки водки, смывает кровь с моего бедра.

Витька перетянут белыми бинтами, как пулеметными лентами, тянет шею, заглядывает, что там делают со мной.

— Ничего, до свадьбы заживет, — говорит тетя Нюра. Моя мама молча помогает ей.

И действительно, огонь в бедре стихает. Только в ранке моей что-то подергивается, будто туда переместился пульс. Но эту боль перетерпеть можно.

— Перепояшьте меня вот здесь, — показываю я на поясницу.

— Зачем? — удивилась тетя Нюра.

— Бинт же не будет держаться на бедре, — поясняю ей. — Надо к поясу его привязать.

— А-а, — весело подмигивает она моей матери. — Давай, давай. И тебя увяжем, как Витю. Давай.

УХОДИТЬ!

Это была, пожалуй, первая ночь, когда мне не хотелось спать. Даже во время бомбежек и обстрелов, выставив своих сторожей-хранителей, я ухитрялся спать. А теперь проходил час за часом, а сна не было.

Ночь выдалась спокойная. Где-то, конечно, грохотало и ухало — без этого теперь вообще не было жизни на земле. Бедро мое тоже унялось, ранка не пульсировала, казалось, ничто мне не мешало, а я ворочался с боку на бок, и тягучие, цепкие думы разрывали, разламывали мою голову.

Я думал о войне, о Косте, Степаныче, девчатах с Украины, о Сеньке и всей их семье, о себе, матери, отце, Сережке... Думал о тех, кто приютил нас в этом блиндаже: тете Нюре, бабке Усте, Витьке, дяде Мише, который с ополченцами нашего района бьется на Мамаевом кургане и не пускает сюда немцев, о наших защитниках—красноармейцах, которых оставалось все меньше и меньше там, за полотном железной дороги.

Думал о старшем брате Викторе — ведь он только зимой сорок второго начал воевать, а в мае уже оборвались от него письма, думал обо всех и всем сразу, потому что все сплелось в один тугой, запутанный клубок, и в его центре был я сам, связанный по рукам и ногам. Как выбраться?

Если бы я знал, что ничего не случится завтра, не случится послезавтра и мы все выживем в этом земном аду... если бы знал, по-другому бы глядел, дышал, по-другому жил. Весь мир для меня не сошелся бы на этой проклятой мышеловке — блиндаже. Я мог бы думать, например, о том, что придет время, когда все кончится — и наш страх и наши муки, я мог бы думать, что настанет час, когда немцев отобьют от Сталинграда, когда кончится война, и я бы терпел, ждал. Я всегда думал об этом, в нашей семье даже были часы, когда мать возвращалась с работы и мы садились ужинать, тихо разговаривали о том, как мы заживем после войны. Но это было давно, еще до 23 августа, тогда вокруг нас шла жизнь, а теперь она вместе с нашим поселком и городом, да, наверное, и всем миром выгорела, забилась в блиндаж и лишь теплится в этой норе — под тройным накатом бревен.

Сейчас я знаю всю панораму Сталинградской битвы, знаю, какое в ней место занимали бои за наш рабочий поселок, прижатый к крутому берегу реки, знаю, каким было все сражение на Волге. Знаю, что осенью сорок первого бои шли не только здесь, но и на Кавказе, и под Воронежем, Смоленском, Ленинградом и Мурманском, и, зная все это, могу увидеть себя, четырнадцатилетнего мальчишку, в том гигантском развороте собы-

тий. А тогда? Тогда, не ведая, что творится в мире, я был поглощен только своей бедой, подавлен той страшной катастрофой, которая разразилась над нашей узкой полосой волжской земли.

«Неужели война со всеми так?» — спрашивал я себя, забившись в угол на нарах. И с отцом так, и с Виктором, и с дядей Мишей, который сделал этот блиндаж, и с тем парнем-рыбаком, который ушел в рабочем батальоне ополченцев?

«Так! Со всеми так, — кто-то говорил мне. — Война, она вся такая».

«Тогда детям нельзя быть на войне, нельзя!» — хочется крикнуть мне. Сережка наш во время налетов зеленеет и заходится в плаче так, что у него набивается пена у рта. А мой пятилетний, двоюродный братишка Вадик, когда нас бомбят, в поисках защиты тянет трясущуюся руку ко лбу. Ему нечем защититься от режущего воя летящих в нас бомб, и он тянет свою тонкую, как стебелек, руку, сведенную страхом, к потному лбу. Она всегда дрожит у него на уровне переносицы, и он никак не может дотянуться до лба, а когда разражается грохот взрыва, падает на скрюченный кулачок, плачет, нет, — кричит так, как не должны кричать люди. Для меня этот крик страшнее бомбы.

«Детям нельзя быть на войне! Нельзя!» — хочу крикнуть я, но рот, нос и уши забиты удушливой гарью взрыва, опять засыпало землей...

Меня трясет мама.

— Ты чего, чего? Спи. Все тихо...

Оказывается, я в блиндаже, лежу на нарах с открытыми глазами. В голове, как молоток, стучит одно-единственное слово: «Война, война, война».

«Какая же это война, если мы не знаем даже, где фронт?» — вновь потихоньку закипает во мне злость. Дубасят и дубасят. Из орудий и минометов стреляют по одному человеку. Только вылез кто из блиндажа, сразу палят. «Мессера» по головам пешком ходят, из блиндажа в блиндаж перебежать нельзя. Все, как кроты, зарылись в землю. Все затаились...

И люди стали непонятными, злыми, жадными. Даже тетя Нюра, добрейшая тетя Нюра, которая никогда не различала, где я, а где Витька, вчера потихоньку сунула Витьке кусочек сала с пышкой, а он, забившись в темный угол блиндажа, стал жевать. Мне было стыдно и за Витьку, и за себя, жалко, что не могу уйти из их

блиндажа. Идти некуда. Там, на улице, смерть, а я боюсь всего: боюсь, что нас убьют, что мы умрем с голоду или замерзнем в этом горюновском блиндаже. Боюсь не один я, боятся все... Затаив дыхание, Витька глотает куски пышки и сала. Он даже не жует, боится — я услышу. Ой как плохо. А как же дальше?

И мама моя стала не такой. Как только меня ранило, мама сразу забыла о своей контузии, речь у нее теперь почти выправилась, но нам с Сергеем не стало житья. От себя нас — ни на шаг. Сергея, бедного, даже по нужде не выпускает из блиндажа. Приспособила ведро и сама выносит за ним. Про отца и Виктора почти не вспоминает. Только мы и мы. Сергей как-то спросил у нее: «Где наш папка?» — и она тут же зло накричала на него:

— Лихоманка забрала бы твоего папку: мы тут погибаем, а он... Где он воюет, твой папка?

Сергей даже голову втянул в плечи и пригнулся, как это он делал, когда рядом свистел или рвался снаряд.

Что же происходит и что будет дальше? Как мы будем жить? Вопросы, вопросы. И нет на них ответов. Жизнь наша уперлась во что-то непреодолимое. Куда-то она должна свернуть, потому что это уже и не жизнь. Куда же дальше? Разве может быть хуже?

Вон каким гоголем пролетел над нами тот немец. Прямо как у себя дома, паразит. Еще и зубы скалил. Теперь уже и я готов был поверить, что видел этот хищный оскал белых зубов. Да, увидел, и произошло это вчера. У меня немножко путается в голове, но это было вот как. Вечером, перед закатом, из-за Волги прямо через наш поселок, сотрясая гулом небо, прошли шесть наших тяжелых бомбардировщиков. Они шли медленно, без прикрытия истребителей и, как только перевалили через бугор, сразу начали метать бомбы. Во мне все задрожало от радости. «Ну, гады! Это вам за все!» Самолеты скрылись за горизонтом, а волны взрывов все еще доносились из-за бугра *.

И вдруг через несколько минут опять натужный гул. Три самолета вынырнули и стали падать прямо на наш поселок. За ними гнались два «мессершмитта». Наши

---

* Всего в период боев в городе наша авиация произвела 45 325 самолето-вылетов (в среднем ежесуточно 676 самолето-вылетов), сбросив более 15 400 тонн бомб. За период боев за город было уничтожено и повреждено 929 самолетов противника (Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Воениздат, 1958, с. 322).

стали расходиться веером в стороны. «Мессершмитт» зашел сбоку, и наш самолет, продолжая снижаться, стал дымить. Немец отвернул и погнался за другим. Это был тот летчик, который пролетел над нами с Витькой. Я узнал его по оскалу зубов. Смотреть больше не мог. Заплакал и ушел в блиндаж.

Лежу час за часом без сна, а мысли мои вертятся бесконечным колесом, цепляются одна за другую. Я не знаю, как их оборвать, как выйти на прямую дорогу. Ведь надо же куда-то идти, необходимо до чего-то додуматься, а я верчусь, как белка, в этом заколдованном колесе. И нет из него выхода. А он должен быть. Я это знаю. Война меня тоже кое-чему научила. Только надо искать, искать, надо что-то делать, куда-то идти.

Я ухватился за эту мысль: «Именно идти! Не сидеть в мышеловке! В ней обязательно прихлопнут. Надо идти. Идти всем. Горюновы тоже с нами. Мы с Витькой старшие мужчины в доме. — И тут же возразил себе: — Домов-то нет!» «Все равно, — ответил, — мы старшие в блиндаже. Отцы нас оставили здесь за себя, — нам и решать. Надо уходить». «Куда?» — снова спросил я себя. «Туда, где нет войны». «Она сейчас везде, на всем свете, кругом только война, и больше ничего нет». «Уходить туда, где есть наши красноармейцы. К ним, к людям...»

Я все-таки выбрался на дорогу. Выбрался. Решено главное.

«Так. Куда? — снова спросил себя. — Уходить, и все. Хуже, чем здесь, не будет. Мама тоже говорила: хуже не бывает». «Как уходить? Мама никогда не бросит ни продукты, ни одежду. Нельзя. Дело к зиме». «Ну, и как же быть?» «А все взять с собой». «Как?» «На тележку. В овраге даже дрожки есть. Там и лошади раньше бродили — и раненые и здоровые. Теперь, конечно, поубивали. А может, где-нибудь какая спряталась. Можно поискать. Вот бы на лошади!» «Куда?» «Куда, куда! — передразнил я своего двойника-спорщика. — Куда глаза глядят. Только подальше отсюда».

Настырный спорщик опять сбивал меня, толкал в беличье колесо, но я уже вцепился зубами в спасительное «Уходить!». Уходить, и все! Надо сейчас же обдумать, как мы это сделаем. Как будем уходить от войны... Я, кажется, начинаю дремать. Явь путается со сном. Надо все хорошо продумать.

Так. Правильно: мы едем все на дрожках. На тех, что

я видел в овраге. Вот они. Да, мы едем по степи. И с нами отец. Он в майке, в той, в которой любил ходить дома. А на мне костюм. Откуда костюм? Он же сгорел на пожаре. Нет, целенький, без дырок. В руках у меня вожжи. Впереди стреляют. Вырастает лес взрывов. Кричу отцу: «Надо поворачивать. Там война!» Он смеется: «Езжай, езжай!»

Он ничего не знает, он не был на нашей войне и напрасно смеется. Взрывы катятся на нас. Ближе, ближе. Сейчас накроют. Кричу. Но крика не получается, голос сел. Только хрип, удушье. Такое уже было со мной. И не во сне. Сейчас тоже не сон, потому что слышу, как ухают и сотрясают землю взрывы. Вот-вот они накроют нас. Отца уже нет. Нет и дрожек, а есть разрастающиеся режущий свист и взрывы, от которых глохнешь. Блиндаж встряхивает. Что-то падает с полки. Вскрикивает тетя Нюра.

— Господи, господи, да что же это?

Я тяну на голову одеяло. В блиндаже уже никто не спит. Сергей жмется ко мне, испуганно сопит, вот-вот захнычет. Три дня назад его контузило волной от взрыва тяжелого снаряда.

— Не успел добежать до блиндажа, — плакал оглохший Сергей. — Не успел...

Сейчас глухота его прошла, но его все еще сотрясала дрожь. Она какими-то волнами пробегала по его телу, и это пугало меня.

Прижимаю его рукой, он, напрягаясь, ждет нового взрыва, потом шепотом спрашивает:

— Ты чего стонал? Опять нога заболела?

— Нет, лежи.

Еще плотнее прижимаюсь к брату. Он успокаивается, вдвоем не так страшно. Заворочался на нарах и Витька. Он что-то шепчет Сережке. Теперь совсем не страшно. А главное, я знаю, что делать.

— Мы уходим, — шепчу Сергею. Витька высовывает голову из-под одеяла и тянется к нам. Застонал, видно, неловко повернулся, — у него все еще болит грудь. Его ранки заживают хуже, чем моя. А все оттого, что ленится делать перевязки. Тетя Нюра замаялась с ним.

— Куда уходим? — дышит мне в лицо Витька. Он уж залез под наше с Сергеем одеяло, горячий, как печка. Наверное, опять температурит.

— Уходим отсюда. Понимаешь, надо к нашим...

Витька молчит, а потом вновь шепчет:

— А как же мы пойдем?

— Я зна-а-аю... — за меня отвечает Сережка. — Нам к бабушке надо. У них дом...

«Мудрый у меня брат, конечно, к бабушке, в Бекетовку. Слухи доходили, что у них там и дома целы».

— А как к бабушке, кругом же немцы?

Теперь Витька шепчется с Сергеем, они продолжают мой спор с самим собой. Понимают: пока живы, надо что-то делать.

— А мы по берегу Волги, — говорит Сергей, — прямо под кручей и пойдем.

«Ты гляди! Ай да Серега!» Мне уже и спать не хочется, и обстрел вроде бы стихает.

— Как же мы пойдем, ведь стреляют?

— А мы ночью.

— Ночью тоже стреляют. Слышишь, как бухают?

Сергей сопит. Он думает.

— А мы переждем. Когда перестанут...

— Надо утром все высмотреть, — соглашается Витька, — все подготовить и идти всем вместе... Надо сказать Костиной матери.

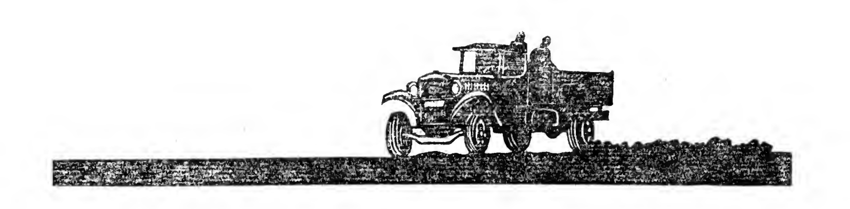
Нет, Витька — хороший парень. Он не виноват. Ему, наверное, и самому стыдно за то сало. И тетя Нюра хорошая. Это все война.

Она людей гнет.

— Вы чего колготитесь? — тихо спрашивает мама. — Спите! Теперь до утра стрелять не будут.

— Мы спим, — отвечает Сергей. И, повернув голову ко мне, шепчет на ухо: — Нам только до оврага добежать. А там прямо к Волге. И по берегу...

«Нам только пережить эту ночь, — думаю я, — дождаться утра. Обязательно пережить эту длинную ночь, и тогда все будет по-другому. Мы уйдем отсюда все: и Сергей, и мама, и Витька, и тетя Нюра, и Костина мама с маленькой Катькой... Нас осталось немного, но мы уйдем, мы выживем. Только бы дождаться утра».



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЕРМАНЦЫ

Меня разбудил крик тети Нюры. Когда открыл глаза, увидел: она спиной прижимала дверь блиндажа и кричала так, будто ее хотели убить. Все соскочили с нар и бросились к ней. Первой подоспела бабка Устя, отстранила сноху, распахнула дверь и шагнула по ступеням вверх.

Тетя Нюра оборвала крик, потерянно глядя вслед бабке Усте, словно та шла к пропасти. Мы сбились у выхода, боясь выглянуть за порог. Сергей испуганно захныкал, мы с Витькой тоже были готовы удариться в рев.

Тетя Нюра опомнилась и начала теснить всех от двери.

— Уходите, уходите, туда нельзя.

Ничего не понимая, мы пятились, а тетя Нюра, расставив руки, подталкивала нас к нарам.

— Да что там случилось? — дрогнул мамин голос. — Что? — И она, пошатываясь, пошла к выходу. Навстречу ей по ступеням уже спускалась бабка Устя.

— Там германцы, — тяжело переступив порог, выдохнула она и прошла в свой закуток.

Все смотрели на нее, даже шатнулись ей вслед, ждали, что она скажет еще, будто от ее слов теперь зависела вся наша жизнь. Но бабка молчала. Постояла у нар, привычно поправила свою постель и вдруг, резко повернувшись, опять пошла к выходу.

— Надо воду слить.

— Какую воду? — вскрикнула тетя Нюра. — Вы что, мама?!

— Там дождевая вода набралась. — И ее галоши уже зашлепали по порожкам.

Сергей тормошил меня за плечо.

— Там немцы, что ли? Немцы?

Я отстранил его руку и осторожно выглянул за дверь. Потом сделал еще несколько шагов.

Все было так же, как и вчера. Доски двери холодные, в белой росе. Седая изморозь на камнях и щепках вокруг блиндажа, только появились небольшие лужицы стылой воды. Ведь ночью шел дождь. Я глянул на заволжский лес — там тоже все было таким же. Через темную полоску поредевших деревьев и низкие рваные тучи, повисшие над ними, тяжело пробивались лучи просыпающегося солнца. Перевел взгляд на развалины и пепелища и вдруг метрах в шестидесяти увидел грязного серого мужичка. Он сидел на каком-то коробке, повернувшись невидимым мне лицом к полоске Волги, и что-то бормотал.

«И это немец?» — чуть не вскрикнул я, и тот испуг, который вошел в меня там, в блиндаже, вместе с криком тети Нюры, стал проходить.

Рядом со мною вынырнул Витька и тоже молча уставился на серого мужичонку. Я, осмелев, огляделся: через развалины Нижней улицы, согнувшись, быстро шли двое — в руках автоматы почти касались земли, за спинами, как у школьников, плоские ранцы. Шагали, озираясь, а потом опять, низко пригнувшись, затрусили к оврагу. Больше никого.

Витька все еще смотрел на мужичонку, который теперь повернулся к нам лицом. Он уставился на нас, но без интереса, словно слепой.

— Что он здесь делает? — наконец выдавил из себя Витька. — Он кто?

— Наверное, немец...

Только сейчас я рассмотрел на нем серовато-зеленый френч, такой грязный, что определить цвет было трудно. Немец сидел на таком же ранце, как у тех солдат, которые скрылись в овраге. Рядом лежал автомат, а на нем — темная пилотка.

Это был какой-то странный и непонятный немец, а может, и не немец вовсе. Бабка Устя ходила вокруг блиндажа и сливала в ведро воду, а он сидел на своем ранце, поджав под себя ноги, и что-то бормотал. Потом вдруг начал размахивать руками, будто дирижировал, и мы услышали:

— Вольга. Во-ль-га. В-о-о-ль-га!

В его бормотании я еще понял слово «мутер».

— Да он пьяный, как свинья, — сказала бабка и пошла с ведром в блиндаж.

Наконец солдат обратил на нас внимание.

— Гей, гей, комм, — вяло махнул он рукой, что, видно, означало приказ подойти к нему. Но мы и не подумали двинуться, а по-прежнему, высунув головы из входа в блиндаж, молча смотрели на него. Витька, видно, как и я, все еще никак не мог согласиться, что вот этот тщедушный, заморенный и грязный мужичонка и есть тот самый немец, который спалил город и порушил всю нашу жизнь.

— Да такого можно камнем пришибить.

— Нет, это какой-то приблудный немец, — отозвался я. — Как он сюда попал?

О тех двух, которых видел на Нижней улице, думать не хотелось (они тоже могли быть случайными!). И тогда страшная беда — «нас захватили немцы» — уже не была непоправимой. Не мог же такое сделать этот мозгляк и заморыш. Не мог! Да он скорее похож на подростка-нищего, чем на солдата.

Теперь он, отвернувшись от нас, как заправский пьянчуга, принялся рыться в своих карманах.

— Наверное, деньги ищет, — хохотнул Витька, — чтобы выпить еще.

— У-у-у, фашист! — замахнулся рукой Сергей. — Камнем бы его...

— Да на него и камня жалко, сам помрет, — осмелев, распрямился Витька.

Да сколько у немца карманов? Зачем одному человеку столько? Два на груди, два большущих внизу френча, карманы на брюках спереди, карманы сзади, и все они набиты разным барахлом. Целый магазин в его карманах. Нет, с этим немцем не соскучишься. Опять начал петь и размахивать руками.

— Вольга, Вольга, — передразнил Сергей немца, — распелся тут! — Сергей вел себя смелее нас. Он, видно, еще не понимал всего, что случилось.

— О, кляйн кнаббе, кляйн, гей, гей, комм, — залопотал немец и опять стал рыться в карманах.

— Это он тебя, — толкнул Сергея Витька.

— Да пошел он!.. — сердито отозвался брат. — Его надо прогнать отсюда. — И опять указал глазами на кучу битого кирпича.

Немец нам надоел, и мы спустилсь в блиндаж.

Только сейчас, глядя на притихших и совершенно рас-

терявшихся наших матерей, мы, мальчишки, начинали понимать, что с нами случилось худшее из того, чего мы могли ожидать: нашу часть города захватил враг, и, значит, мы все теперь у него. А где же наши? Неужели за Волгой? Не может быть! Ведь стреляют еще и слева и справа. Правда, стрельба откатывается все дальше и дальше...

Мой слух настроился на удаляющуюся стрельбу уже давно, сразу, как только я увидел этого несчастного немца. Но ведь еще стреляют. Стреляют!

Теперь я держался за это спасительное «стреляют», потому что все вдруг потеряло свою цену, лишь одна стрельба оставалась реальностью.

Особенно сильная канонада и захлебывающаяся пулеметная трескотня доносились со стороны элеватора. Там она уже много дней, но сегодня стрельба остервенело-злая. Там наши. Нам надо туда. Но как? Как доберемся все мы: мама, Серега, бабка Устя?

Меня накрыли залпы этих раздерганных, без начала и конца мыслей, и я сидел оглушенный, не зная, что делать, что предпринять, куда бежать, что ответить Сергею. А он, видно, начав понимать наше положение, испуганно смотрел то на меня, то на маму.

Все оборвалось, все сломалось, и наша жизнь теперь уже и не жизнь, потому что красноармейцы там, за элеватором, за Лапшиным садом, а мы здесь, у немцев, или немцы у нас. Разве сейчас поймешь? Конечно, это ненадолго, пытался я найти оправдание, наши могут поднажать и погнать, как уже не раз отгоняли их под самый бугор и дальше, но все-таки как же их пустили сюда, к самой Волге, и где наши были все последние дни. Где? Может, все они погибли там, у полотна железной дороги, где держали фронт?

А ведь еще вчера нам казалось, что жизнь налаживается. Именно вчера во всем Сталинграде было затишье после многих дней непрерывных артобстрелов и бомбежек. После долгого сидения в блиндаже мы, мальчишки, вылезли на волю и словно ошалели. Вели себя так, что бабка Устя взяла хворостину и уже перед вечером стала шутливо загонять нас домой, в блиндаж.

Днем мы с Серегой бегали в овраг — посмотреть на разбитые дрожки. И вот тут я дал волю своим занемевшим мышцам. Рванулся по склону вниз, выбежал на взгорок, потом с размаху прыгнул через забитую сухим бурьяном канаву и, почувствовав ожог в раненом бедре,

свалился на бок. Я не упал, а именно свалился и, видно, не от боли, а скорее от радости, которая разрывала меня..

Перевернулся на спину и затих, пережидая привычную боль. Сейчас она пройдет, сейчас... Да и что эта боль в сравнении с той свободой и простором, в которых я плыву, как рыба. Надо мною не доски блиндажа, закопченные, черные, а высокое синее небо и белые редкие облака. Жалко, что они похожи на разрывы зенитных снарядов, но все равно это настоящее синее небо и настоящая теплая земля.

Придавив спиною сухую, ломкую траву, слышу, как в меня возвращается тепло того мира, в котором я родился и прожил свои долгие четырнадцать лет. Как же мне было хорошо! Могло ли быть что-либо прекраснее этого бездонного неба и этой затихшей земли? Этой свободы и этого покоя?

Сергей трясет меня за плечо, дергает за руку, но я не отзываюсь. Боль в бедре прошла, и только остро пульсирует ранка. Над головою высокое небо. Его не замутили неожиданные взрывы, взметнувшиеся где-то под самым бугром (из-за Волги бьют гаубицы!). Прижимаюсь спиной к нагретой скупым осенним солнцем земле, оттягиваю свое возвращение в блиндаж, в эту «мышеловку», где холодные стены и тяжелый, спертый дух — от сырости, запаха человеческого пота, немытых тел, преющего тряпья, от постоянного страха за свою жизнь.

Серега продолжает ныть. Бубнит про лошадь.

— Какая лошадь? Какая? — кричу я ему в лицо. — Где она? Смотри!

Он испуганно отшатнулся и сник, потом опасливо осмотрел пустынный овраг и, поморгав своими длинными, девичьими ресницами, словно смахивая с них соринку, сказал:

— Ладно. Сами потащим. Впряжемся и... Потом, может, и лошадь где раздобудем.

Я не хотел возвращаться в сегодняшний день. Если не думать о том, что мы видели там, на дворе, а смотреть на закопченный потолок и скользкие, в пятнах плесени стены блиндажа, то можно подумать, что все как и вчера. Над головою те же темные доски, через которые при взрывах сыплется земля, а там, за полотном железной дороги, бьются наши красноармейцы.

Перевожу взгляд на наших мам. Они рядом, притихшие и печальные, как птицы перед грозой. О чем они

думают? Наверное, все о том же: «Что будет дальше?»

Мне тяжело смотреть на их беспомощную растерянность, и я отворачиваюсь к закутку, где хлопочет бабка Устя. С ней легче. Она уже перелила дождевую воду в бачок, а теперь перетряхивает постель. Все как всегда. Сейчас достанет из-под нар веник, смочит его, побрызгает на пол и начнет мести. Мамы смотрят на бабку Устю отрешенно, а меня ее деловитое спокойствие опять возвращает во вчерашний день.

Мы в овраге. Рядом разбитые дрожки — наша надежда и спасение. На них мы укатим от войны. Дрожки легкие, аккуратные. Правда, разбито переднее колесо, но это не беда. Можно сделать тележку на двух колесах. Я даже знаю, как она называется — «двуколка». У древних египтян и греков были такие колесницы.

Мы уже с Сергеем все решили: завтра придем сюда с инструментом. А сейчас, перед возвращением в блиндаж, я лежу на нагретой солнцем траве и медлю. Нам обоим не хочется возвращаться. От кого-то я слышал, что птицы, выпущенные на волю, почти всегда возвращаются в свои клетки. Мы с братом не из этих птиц. Но у брата бредовая идея: дрожки есть — теперь нужна лошадь. Он предлагает искать ее сейчас же здесь, в овраге. Раньше тут действительно бродили раненые кони, но теперь... когда в поселке не осталось даже собак?

Наш Серега настырный. Низко присев на корточки и просунув свое исхудалое, перепачканное лицо между коленей, отчего оно стало похожим на мордочку мышонка, он продолжает хныкать:

— Пойдем искать лошадь. Пойдем. Лошадь... Ну...

Я обрываю его. Он умолкает, всхлипывая, и тут же опять принимается за свое:

— Вон в кино дядька-цыган ухватился за оглобли и вез, да еще по песку...

Сергей говорит о «Последнем таборе». Этот кинофильм шел в нашем клубе перед самой первой бомбежкой. Но когда это было? Тысячу лет назад. Совсем в другой жизни. И все-таки мне теплее от этих воспоминаний. Ах, как лихо дрался на кнутах крепкий, красивый цыган с толстым вожаком табора! А потом, когда у него забрали лошадь, он сам впрягся в повозку. Колеса глубоко вязли в песке, а он тащил, тащил...

В блиндаж возвращались тем же кружным путем. По оврагу спустились почти до самого берега Волги, потом свернули налево, прошли под кручами и оказались

напротив нашей улицы. Теперь надо выбираться наверх и метров двести бежать по открытому месту, до первых развалин.

Через этот пустырь всегда возвращались из школы. Вон там, левее, где сейчас громадная воронка, на дне которой стоит вода, мы часто резались в футбол. Идем из школы, Костя Бухтияров заскакивает домой, берет мяч, сооружаем из портфелей ворота... Теперь это место надо пролетать пулей.

Уже добрались до самой кромки бугра, лежим. Набираемся сил. За нами пустая, свинцовая Волга. Я смотрю на темную кромку заволжского леса. В нынешнем году, кажется, лес дальше, чем обычно, отступил от берега. Тускло и одиноко блестит осиротевшая песчаная коса. Ни одной живой души вокруг.

— Видишь затопленную баржу? — спрашиваю Сергея.

— Вижу.

— Вон там, чуть правее, мы с Костей выловили того летчика...

Сергей смотрит не отрываясь, будто ждет, что и сейчас там кто-то появится. Я тоже молчу.

Река словно чужая: ни пароходов, ни плотов, ни лодок. Она уже отстонала, откипела и даже отгорела гигантскими кострами, которые сползали с крутого правого берега, где несколько дней рвались белые баки нефтебазы. Волга, как и люди, наверное, смертельно устала, несет в низовья свои потемневшие осенние воды отчужденно и сердито.

Наш правый берег тоже пустынен и тих. На нем уже давно не стало не только лодок, барж, катеров, от которых здесь всегда было тесно, вокруг ни одного бревнышка, ни одной доски, исчезли даже топляки, замытые на берегу песком. Все пошло в ход. Все, что могло плавать, уплыло с ранеными на тот берег. Слухи доходили — раненых переправляют выше, у Банного оврага и у Сухой Мечетки. А ниже, за Лапшиным садом, где-то в районе Бекетовки и Красноармейска, есть постоянные переправы. Да как туда добраться?

Сергей трогает меня за плечо и молча кивает: «Давай, мол!» Но я молчу, медлю. Всматриваюсь в чужие, опустевшие берега, хочу понять, куда же подевались люди. Ведь столько их было здесь, везде, по всему берегу, на десятки километров — люди, машины, повозки и опять люди... У дебаркадеров, крохотных пристаней,

причаленных к берегу плотов — везде беженцы с узлами, чемоданами, ящиками, мешками.

Все, на чем можно писать — на дощатых заборах, стенах, — везде надписи; перила, столбы, сходни и те были испещрены. «Надя, Коля, Петя, Марина» — и дальше фамилия, а затем прямо крик: «Мы уезжаем за Волгу! Ищите нас в Красной слободе (до такого-то числа), потом в Ленинске...», «Ищи в Верхней Ахтубе, в Николаевске, Палассовке, Энгельсе, Черном Яру...», «Уезжаем (число), ищи» — и сразу несколько названий пунктов и сроки. «Уезжаем, ищи...»

Этими «телеграммами»-криками было исписано все не только возле переправы. Незадолго до 23 августа мы с ребятами ездили в центр города, и тогда меня поразил забор нашего центрального стадиона «Динамо». Он тоже был весь испещрен и изрезан надписями. А за забором, на трибунах и прямо на футбольном поле, — тысячи беженцев, прибывавших ежедневно в Сталинград.

Здесь люди дожидались отправки на левый берег. Куда они теперь все подевались? Хорошо, если переправились за Волгу. Но уже тогда, до 23 августа, в городе не хватало переправочных средств, и люди по нескольку дней, а то и недель ждали своей очереди.

На правом берегу скопились десятки тысяч голов скота. Скот тоже ждал переправы, и я видел, как однажды утром эти гигантские гурты коров, бычков и волов пастухи стали загонять в воду. Страшное зрелище, по крайней мере для нас, мальчишек. Мы были уверены, что скот решили утопить в Волге, чтобы он не достался врагу.

Берег оглашался рвущим душу мычанием и ревом, коровы не хотели идти в воду, упирались, поворачивая назад, и, задрав хвосты, карабкались на кручи, а пастухи стегали их кнутами, били палками и гнали в воду.

И вдруг рев и невообразимая толчея оборвались. От стада оторвалось с десяток коров, и, задрав морды и пригнув рога к спинам, они поплыли. За ними легко, рассекая воду, пошли другие, потом еще и еще. Мы замерли, а Костя даже присел на корточки, словно его уже не держали ноги. «Неужели переплывут? Неужели? Ведь это же Волга, ширина больше километра...»

Но первые сотни задранных над водой голов уже подхватило течение и легко понесло вниз. Теперь все стадо бесстрашно шло в воду.

Это было удивительное зрелище: только темные го-

ловы над водой, да тусклый стальной блеск рогов — целый лес голов с прижатыми к спинам рогами. И тишина, даже слышен плеск рассекаемой воды. Пастухи перестали бить бичами и тоже замерли. Они, как изваяния, стояли на берегу, молча провожали глазами уплывающий скот. Думаю, и сама Волга не видывала такого.

Мы стояли над кручей до тех пор, пока первые темные точки не стали появляться километрах в четырех-пяти от нас на том берегу...

И вот теперь передо мною совсем другая река. Все будто смел огненный смерч. Все погибло? Нет, не все. Есть и живые. Они зарылись в землю и воюют, держатся по берегу реки. Раз немцы не идут дальше, значит, еще много живых. Только их не видно, они с головой зарылись в землю.

Тихо переворачиваюсь на живот, трогаю Сергея за плечо.

— Пошли! — вырывается сдавленный хрип из моего горла, и мы летим через пустырь.

Сергей легко обгоняет меня, а в моих глазах — горячие радужные круги, бедро пылает. Нога деревенеет, но я бегу и наконец падаю на кучу мусора, так и не добежав до развалин. Падаю и чувствую, что опоздал с этим падением. Надо мной уже завывают и по-поросячьи противно хрюкают мины. Это бьют с бугра, от немцев. Разгребаю мусор и ужом ползу к развалине. Там скрылся Сергей. Взрывы встряхивают воздух и засыпают меня землей. Удушливая вонь сгоревшего тола, отдающего огуречным рассолом. Ползу. Ничего, сейчас и по тем, кто бьет сюда, шарахнут из-за Волги. Ни-че-е-го...

БАБКА УСТЯ

И это было только вчера? А сегодня?

Сегодня стряслось страшное. Что теперь будет со всеми? Нас хоть и немного здесь осталось, но ведь мы еще живы! Как же они нас бросили? Как? Только вопросы, и нет на них ответов.

Чувствую, как к самому горлу подступили и ползут выше, к глазам, слезы. Сейчас заплачу. Меня доконало вот это: «Как они могли!» Если бы здесь воевали отец и брат Виктор, они бы не допустили такого. Слышите, не допустили! А теперь что? Они там вместе со всеми, а мы здесь.

Я изо всех сил держусь, не хочу, чтобы мои слезы видели Сергей и Витька, но мне так обидно, так плохо, что хочется зареветь, закричать на весь мир. Из меня рвутся эти два слова: «Как могли?», «Как могли?», «Как...»

Зря тогда мы с Витькой не убежали с тем парнем-рыбаком, который ушел с рабочим батальоном. Зря! А ведь хотели. Но нас остановили. А как же больная мама и Серега? Как все, кто здесь? И дядя Миша Горюнов нам наказывал: «Вы остаетесь старшими в доме».

В каком доме? Домов-то давно никаких нет. Ничего нет! И где дядя Миша сам? Почему он допустил этого хиляка немца сюда. Почему?

Удержался, не заплакал. Но во мне что-то сгорело в эти минуты. Я перестал верить в людей, перестал верить и в слова и в дела взрослых.

Так я думал, и тогда меня никто бы не смог переубедить. Мне казалось, что я знаю о людях и о жизни все до дна, знаю, потому что заглянул в бездну.

Но знает не тот, кто много видит, а тот, кто много думает. Это мне еще предстояло понять.

День тянется долго. Еще нет и двенадцати, а кажется, уже прошла вечность. Из блиндажа не выходим. Боимся. Только для бабки Усти вроде бы ничего не произошло: перетряхнула постель, подмела пол и сейчас не спеша пошлепала по ступенькам выбрасывать мусор. Глядя ей вслед, вдруг оживают и наши мамы.

— А ну, заголяйтесь, — неестественно бодро говорит тетя Нюра. — Будем перевязки делать. — С тебя, Андрей, начнем? Ты вроде похрабрее будешь...

Делая перевязку, Витькина мама говорит моей:

— Вчера как сумасшедшие скакали, вот и сегодня рана опять открылась. — Она умолкает, потом что-то шепчет. Я, сцепив зубы, терплю. — Это хорошо, что открылась, — уже для меня повторяет она. — Сейчас прочистим, и все как рукой снимет...

Так она говорит всякий раз, когда перевязывает нас. Но что-то ее таинственная «рука» плохо помогает. У Витьки так совсем не заживает. Но он виноват сам: залезает под бинт грязными пальцами.

В блиндаже запахло водкой. Тетя Нюра уже не льет ее так щедро, как в день нашего ранения. Да и водку перелили из бутылки в пузырек. Тетя Нюра только начинает смачивать марлевую салфетку, а мое бедро уже пылает огнем.

— Я осторожно, я чуть-чуть, — приговаривает она, — потерпи, ты же мужик.

Но у «мужика» из глаз сами собою льются слезы. Кричу, рану разрывает раскаленными клещами. Мама прижимает мои руки к нарам, а они рвутся к бедру.

С Витькой та же история. Он кричит еще свирепее меня.

Когда начинается экзекуция перевязки и если в это время не стреляют, Сергею разрешается выходить из блиндажа. Если же стреляют, он забивается в дальний угол нар и накрывает голову тряпьем. Его трясет от нашего крика. Это у него после контузии.

Сейчас не стреляют, и он сидит у входа в блиндаж, свесив ноги на порожки. Мне видны только его коричневые ботинки с ободранными носами. Раньше за эти сбитые носы у совсем новых ботинок ему бы досталось от мамы, а теперь до этого никому нет дела.

Блаженно лежу на спине. Раненое бедро как бы догорает, и мне кажется, что те угли, которые меня жгли, постепенно рассыпаются в теплую золу. Благодать...

В блиндаже сыро, пахнет плесенью. По ночам начинаем мерзнуть.

— Холод пролезает к нам через землю, — объясняет всем Сергей. — Видишь, по утрам мороз уже, — показывает он на побелевшую дверь блиндажа.

— Это не мороз, — говорю я, — а роса, морозам еще рано.

— Тогда изморозь, — упирается брат, — дверь холодная, я пробовал. И зори холодные.

Я и сам знаю, что вслед за холодными, седыми росами и густыми туманами приходят и первые заморозки. Что тогда? Вчера слышал, как наши мамы шептались — собираются сложить в блиндаже печку.

— А то сгинем, — горько вздохнула моя мама.

...Витька перестал кричать. Всхлипывая, он перевалился на бок и отдувается. Я продолжаю смотреть в проем раскрытой двери. Покачиваются Серегины ботинки с облупленными носами, виден кусок закатного неба. Оно уже почти чисто, дымов над городом мало, гореть нечему. Только высокие столбы рыжей и черной пыли постоянно вздымаются на развалинах и пожарищах. Гремят взрывы. Проходит время, и столбы рассыпаются, но тут же дыбятся в небо новые.

Смотрю на квадрат голубого осеннего неба. Ему нет дела, что творится на земле, что стряслось с нами здесь,

у выгнувшегося дугой берега Волги. Почему я раньше не замечал ни синего неба, ни седых, как изморозь, осенних рос, ни закатов? Почему никогда так не думал, как сейчас? Неужели потому, что осень сорок второго может для меня стать последней, как она была последней для тех, кто еще вчера жил и вот так же, как мы, дрожал, суетился, куда-то рвался и не ведал, что его ждет сегодня.

Я никогда так не думал и не знал, что человек может сразу рассуждать и о жизни, и о смерти, и о себе, и о всех людях на земле. Не знал, что это все так близко друг от друга, все рядом, все сцепилось.

Сергей спустился в блиндаж. Как все быстро меняется: до нашего ранения его считали мальцом, мама чуть не на привязи держала подле себя, а сейчас, когда нас укладывают на нары, он старший мужчина в блиндаже, и все заботы на нем. Ему надо достать сухих дров, наковырять на пепелищах углей, сбегать за водой, побывать у соседей в блиндаже: узнать новости.

Когда Сергей собирается уходить, мама говорит все те же слова, что говорила и нам:

— Смотри, осторожно. Начнут стрелять, возвращайся.

Так было еще вчера, а сегодня мы все затаились и носа не кажем из блиндажа. Самая смелая из нас бабка Устя. Вот она еще раз стряхнула землю с постелей на нарах, сложила нашу одежду и пошла к выходу.

— В разведку, бабушка? — спрашивает Сергей.

— В разведку, милый, — невесело отшучивается она.

— Я с тобой!

— Сиди! — останавливает его окрик мамы, и брат, недовольно ворча, возвращается на нары.

В блиндаже опять повисает гнетущая, тягучая тишина, будто мы только что кого-то похоронили.

— Ну что там? — нетерпеливо спрашивает наша мама, когда бабка появляется в блиндаже.

— Шныряют по поселку пруссаки, — отвечает бабка Устя и тяжело вздыхает: — О-хо-хо, о-о-хо-хо, грехи наши. Что деится, что деится... И сказано в святом писании: живые будут завидовать мертвым. Господь бог за все прегрешения наши...

— Замолчите, мама, со своим богом, — недобро кричит на нее тетя Нюра. — Если б он был, ваш бог, то не допустил бы такого. Хватит! Надоело!

Бабка бормочет что-то про себя, уходит в свой угол

блиндажа, и оттуда еще долго слышится: «Что деится, что деится, люди ако звери, о-хо-хо, о-о-хо-хо...»

«Все люди, все человеки», — говорил мудрый Степаныч. Как-то ему теперь там лежится в ящике из-под снарядов «катюши»? А то, что мы положили его в воду, ничего: Степаныч — волгарь. Ему-то теперь все равно, а нам? И где его невестка тетя Маруся? Она же с нами собиралась уходить от войны, обещала поглядеть на дрожки. Приходила еще днем и обещала заглянуть к вечеру.

Надо же! Оказывается, и это происходило только вчера, в той, в другой жизни, когда здесь были наши.

Выглядела тетя Маруся Глухова плохо, какая-то черная, еще больше исхудавшая, с обвислой кожей на щеках и ввалившимися, горячими глазами. Глядя на нее, мама сокрушенно сказала:

— Краше в гроб кладут. С тобою что, Мария?

— Вот тут что-то давит, — и она прижала кулаки к плоской груди, — прямо камень...

Тете Марусе положили в миску немного пшенной каши, но она не дотронулась — то ли стеснялась съесть нашу порцию, то ли ей действительно не хотелось есть. Она рассказала нам, что не видела ни одного красноармейца в поселке и это, наверное, не к добру. А мы ее все начали успокаивать, особенно усердствовала тетя Нюра Горюнова.

— Они все к железной дороге подались, немца аж под самой бугор турнули...

— Может, и турнули... — неуверенно повторила тетя Маруся и умолкла.

Разговор шел лениво, с затяжными паузами. Так говорят люди о давно сказанном и надоевшем.

— А вот наши, — и мама кивнула в сторону нар, где мы лежали, — собираются уходить.

— Куда? — равнодушно спросила тетя Маруся.

— Из поселка, — ответил я.

— А-а-а, — протянула она и, помолчав, натянуто улыбнулась: — А в какую сторону?

— Хотят по берегу, в сторону Бекетовки, — ответила за меня мама. — Вон сегодня и телегу уже нашли. Теперь осталось погрузиться и ехать...

При этих словах тетя Мария вдруг оживилась.

— А может, и вправду туда пробиваться? В Бекетовке, говорят, есть и переправа через Волгу. Чё ж дожидаться смерти? — И она начала нас расспрашивать,

что за дрожки и где мы их нашли. Теперь в разговоре участвовали все, кроме бабки Усти. Она сидела в своем закутке на нарах и в полной темноте вязала чулок. Скудный свет от коптилки, сделанной из сплющенной снарядной гильзы, не доходил до нее, и меня всегда поражало, как она могла вязать вслепую.

Тетя Маруся согласилась, что лучше дрожки делать на двух колесах, но все это надо решить там, на месте. Уходя от нас, она сказала:

— Я все сама посмотрю. А завтра можно и в дорогу...

Тетя Маруся ушла, а мы, мальчишки, еще долго шептались, все обсуждали и рядили, как сделаем двуколку и как будем уходить из поселка. Тетя Маруся такой союзник, что взрослые теперь не будут смеяться над нашей затеей. Вон моя мама даже сказала, что можно сшить шлеи из мешковины. Легче будет тащить дрожки.

Сидели на нарах и шептались, как нам делать двуколку — с ящиком или без него. Витька говорил, что с ящиком лучше.

— И детям будет удобнее, — поддержал его Сергей. — Вон Катька Бухтиярова, она такая, что ее без ящика привязывать надо. А Люся Четверикова? — Мы уже сказали и тете Паше Бухтияровой и маминой сестре тете Наде Четвериковой, а у нее двое маленьких ребятишек. Владик-то может еще и сам идти, ему уже пять, а вот Люсю, как и Катьку, надо везти, им еще и двух нет.

Шепчемся, а сами прислушиваемся к усиливающейся канонаде. На улице палили сразу и наши и немцы. В тяжелое уханье снарядов и противное фырканье летящих мин врывался заполошный треск пулеметных и автоматных очередей, одиночных винтовочных выстрелов. Такой стрельбы мы еще не слышали. Она доносилась уже не из-за полотна железной дороги, а откуда-то совсем рядом. Теперь понятно, почему до сих пор не появилась тетя Маруся.

Канонада грохотала все ближе, и решительность наших мам — «уходить!», — которой мы так долго добивались, таяла.

А тут еще подлила масла в огонь бабка Устя. Молчала, молчала, даже с каким-то любопытством следила за нашими хлопотами, как смотрят взрослые на безобидные шалости детей, а когда мама стачала две отличные шлеи и Витька, достав из-под нар отцовский ящик

с инструментами, сказал, что завтра идет с ним в овраг, она вдруг вышла из своего закутка.

— Вы зачем детей сбиваете с толку? — закричала бабка на наших мам, и я сразу узнал ту властную и сердитую бабку Устю, от зычного голоса которой у Витьки всегда голова втягивалась в плечи. — Зачем? Их и так не удержишь...

— А чего же мы здесь высидим, — возразила тетя Нюра. Но бабка Устя, словно задохнувшись, прикрикнула на нее:

— Своего ума нет, хоть у людей спросила бы. Куда пойдешь, куда детей потащишь? Посмотрите, что деится. Уже никого в поселке нет, отбегались...

— Но и сидеть тоже, — робко отозвалась мама, — смерти ждать...

Но и ее бабка Устя сердито окоротила:

— Ты, Лукерья, вольна своими детьми распоряжаться, а нас не сбивай. Не сбивай! Слышишь!

И все поняли, что в блиндаже последнее слово за бабкой Устей. Наши мамы могут говорить, предлагать, даже спорить, но решать будет она. Прожили у Горюновых почти месяц и до сих пор не знали этого только потому, что бабка Устя ни во что не вмешивалась, она была сама по себе, а мы — сами по себе. А теперь коснулось, как нам жить дальше, и она отстранила всех.

— Раскомандовалась, как Чапаев. Мы тоже не пешки, — буркнул я.

— Замолчи! — Мать дернула меня за рукав.

Но меня взяло такое зло, что я соскочил с нар.

— А мы все равно уйдем. Уйдем! — крикнул я.

— А ну марш на место, сверчок! — гаркнула бабка Устя.

Сбросив сандалии, я покорно полез в угол нар, где была наша постель. За мною подались Витька и Серега.

Стрельба не прекращалась. И на нары заползал сухой перестук крупнокалиберного пулемета. Он бил монотонно, как автомат, который то включат, то выключат: бу-бу-бу-бу, — и умолкает, бу-бу-бу-бу — и опять пауза. Тревожило то, что стрельба раздавалась в нашем овраге и время от времени вспыхивала в самом его конце, где овраг выходил к Волге. А это же было метрах в пятидесяти позади нас. Получалось, что стреляют как раз в том месте, через которое мы собирались выходить из поселка.

— Да, стрельба сегодня не такая, — сказал Витька.

— Она всегда не такая, — ответил я и в сердцах

добавил: — А двуколку мы все равно сделаем. И уйдем отсюда!

Витька молчал. Видно, он, как и его мать, боялся ослушаться бабку Устю, но я еще раз повторил:

— Мы сделаем двуколку и уйдем.

Витька долго прислушивался к канонаде, даже попытался высунуть голову из нашего укрытия, подавшись ближе к двери.

— Палят в овраге, — сказал он. — Как бы дрожки не разбили.

И мы опять замерли. Стреляли не только слева, в овраге, но и прямо перед нами и справа. Впечатление такое, что полуторакилометровую полосу нашего сгоревшего и разбитого поселка сейчас рассекали на несколько частей, и теперь уже совсем нельзя было понять, где проходит линия фронта. Раньше хоть на берегу Волги не стрекотали автоматы, а теперь и туда просочилась пальба.

— Уж лучше бы бомбили, — вздохнул Сергей.

Когда совсем стемнело и мы закрыли дверь в блиндаж, постучала тетя Маруся. Ее стук знали все. Она дважды ударяла отрывисто, а потом барабанила дробью.

Ввалилась мокрая и в грязи. Оказывается, пошел дождь. Бусинки дождинок дрожали в ее темных волосах, выбившихся из-под платка. Тетя Маруся прямо у порога прислонилась плечом к столбу и с минуту стояла молча, с закрытыми глазами. Потом шагнула к нарам и, подвернув постель, присела.

— Еле проскочила, — выдохнула она. — Что-то не то там сегодня творится, — и она покосилась на дверь. — Какие-то шныряют по Нижней улице. Я окликнула, а они бежать.

— Может, не наши? — испуганно спросила тетя Нюра. Слово «немцы» она, видно, боялась произнести, как и все мы.

— Да нет, — раздумчиво ответила тетя Маруся. — Вроде шинели наши, а вот чего не отозвались, может, спешили куда. Шли шагом, а как окликнула, сразу побежали. Пригнулись и прямо мимо борщевского погорелья к оврагу. Ну а я сюда...

Как только в блиндаже появилась тетя Маруся, бабка Устя вышла из своего закутка и стала выставлять за дверь посуду. Она вынесла кастрюли, потом два тазика, и только когда взяла в руки ведра, с которыми мы бе-

гали за водой, я понял, зачем она это делает. Сергей продолжал смотреть на бабку удивленно и с опаской, будто она помешалась, и я, толкнув его, шепнул:

— Воду собрать хочет...

Брат даже взвизгнул от удивления.

— Во хитрая!

Тетя Маруся вытерла концом платка мокрое лицо и продолжала:

— Видела я ваш тарантас, — кивнула она нам с Витькой и улыбнулась. — Хорошая тележка получится. Там и делов-то. Я передок откинула и уже выкатила его из оврага. Он легкий.

Видя, что мы молчим, вдруг неожиданно умолкла и тетя Маруся.

— Вы чего это?

— Да вот, — тетя Нюра указала глазами на бабку Устю.

А та словно не слышала обидных слов снохи. Сняв с себя телогрейку и стряхнув с нее капли дождя, она повесила ее на гвоздь у входа и не спеша прошла в свой закуток.

— Ну и глупо, — вслед ей сказала тетя Маруся. — Чего ждать-то? Пока прихлопнут? Я вон и Ильиничну свою уговорила...

— Вы как хотите, а мы как знаем, — прервала ее бабка Устя. Сказала, как отрезала, никто и слова больше не решился вымолвить, все затихли, будто виноватые перед ней. Ну и бабка — язва!

Тетя Маруся поднялась.

— Ну, смотрите, — только и сказала. И тут же ушла.

Больше эту добрейшую женщину нам видеть не довелось. До сих пор я не знаю, осталась она жива или погибла в ту дождливую ночь, в которую не стало многих. На следующий день ее уже не было в нашем поселке, как не было и тети Паши Бухтияровой с маленькой Катей.

Прошло несколько часов в тревожном ожидании. Чего мы ждали? Во всяком случае, не лучшего. Раньше думали, что худшего с нами уже произойти не может, а оно вышло вот так. Сколько я ни пытался спрятаться от случившегося, сколько ни убегал в свои воспоминания, а сегодняшний день, то, что произошло, ни на минуту не отпускало меня. Поднимал глаза и видел потерянное лицо мамы, притихшего Сергея и Виктора и без конца снующую по блиндажу бабку Устю.

Надо было что-то делать. Хотя бы двигаться, как бабка Устя. Почему мы все оцепенели? Моя мама во все трудные времена говорила: «Живому — живое», а сейчас молчит.

Да, живому — живое! Пока человек что-то делает, двигается, ищет выхода, ему лучше, чем мертвому. Изорванному осколками Косте, убитому Степанычу, семье Грызловых и девчатам с Украины, задавленным в блиндаже, — всем тем, кого уже унесла война, все равно хуже, чем нам. Как они этого не поймут, наши мамы? Я до судорог боюсь того, что случилось с Костей. Его страшная, мученическая смерть что-то повредила во мне. Лучше уж так, как с Сенькой Грызловым — только громадная дымящаяся воронка на месте блиндажа.

Но я и этого не хочу! Не хочу! Слышите, не хочу!

ДВУКОЛКА

Раздался испуганный голос тети Нади, маминой сестры, а через минуту появилась и она сама в дверном проеме нашего блиндажа.

— Вы живые тут? Чего же сидите? Там уже всех выгоняют. — Она еще что-то хотела сказать, но, прижав завернутую в одеяльце полуторагодовалую Люсю, заплакала в голос, повторяя: — Всех выгоняют! Всех...

Вслед за матерью заплакала Люся, захныкал Вадик, размазывая слезы грязными ручонками. Он жался к ногам тети Нади и смотрел вверх на нее, словно ждал ее команды заорать, завизжать, как только он умел один.

Я боялся этого крика (помню его до сих пор) и молил тетю Надю, чтобы она замолчала, а то закричит Вадик, и у всех нас разорвется сердце.

Тетя уже сидела на нарах, Люся была на руках у моей мамы, она как-то легко смогла ее успокоить, а перед Вадиком присел на корточки Сергей.

— Нас выгнали всех из окопа (тетя Надя называла блиндажи окопами), и ничегошеньки мы не успели взять. Я просила, я плакала, а он, паразит, гонит, как скотину, ничего не хочет понять...

— А куда ж теперь? Куда ж идти? — спросила тетя Нюра.

— Я ему на детей показываю, а он, как взбесился, кричит: «Вэк, вэк» — и ружьем в морду. И какой же гад, ни малых, ни старых не жалеет! Меня как ударил, так

вот здесь что-то хрустнуло. — Она дотронулась до плеча и опять заплакала.

Мне так жалко было смотреть на тетю, что у самого навернулись слезы. Представил, как она держит на руках плачущую Люсю, а ее бьет прикладом этот плюгавый фашист, и во мне все захолодело. А тетя продолжала:

— У кого окопы в овраге, всех уже повыгоняли. Скоро, наверное, и сюда доберутся...

Она говорила и говорила. Ей, видно, нужно было все рассказать, потому что только со словами она успокаивалась, и в ее голосе исчезал тот испуг, с которым вошла к нам в блиндаж.

— Там был немец. Он немножко понимает по-нашему. И он сказал... Вечером всех погонят на гору. «Надо детка собирать, собирать все». — Она передразнила немца. — Лопочет черт знает что... Ну, этот хоть объяснил, а те гонят, как скотину... Что ж теперь с нами будет?

Она говорила и никак не могла остановиться, а мы, затихнув, молча слушали ее и не могли поверить, что это ей в лицо грозили автоматом, ее ударили, а потом улюлюкали и гнали с детьми от блиндажа. Надо было еще привыкнуть к мысли, что тебя на твоей земле, где ты родился и вырос, кто-то вот так, как скотину, может гнать, бить... Надо было пережить и отвечать. Нельзя же все сносить, все принимать. Надо что-то делать!

Мы сидели и молча слушали тетю Надю. Хотелось вскочить, закричать: «Так нельзя!» Я не знал, кому теперь кричать, кому жаловаться, кого звать на помощь.

...Первые часы шока проходили. Наши мамы уже спокойно сидели на нарах и тихо разговаривали.

Живым — живое.

Я уже знал великую силу этого закона жизни. Что бы ни случилось, хоть бы обрушилось небо, разверзлась земля, а если ты еще жив, если в тебе еще осталась хоть капля сил, ты должен двигаться, должен, обязан думать, искать выход.

Мы откапывали заваленных в блиндажах и подвалах соседей, приходили с пожара, где сгорела целая улица домов, мы сами выбирались из-под обломков или хоронили тех, кого убило бомбой, разорвало миной или снарядом, мы, словно в бреду, плыли через бесконечную ночь, когда город остервенело бомбили самолеты и засыпали

снарядами и минами, а приходило утро, и мама, отряхивая с крышек кастрюль землю, доставала из полотняной сумки хлеб и говорила:

— Живому — живое.

И что еще я понял на этой проклятой войне, чего, может, никогда бы и не узнал, — это неистребимую живучесть человека, умение его приспосабливаться к самым тяжелым и невероятным условиям. Война взвалила на людей такие перегрузки, что в мирное время их трудно себе представить. О пределе своих физических и духовных сил узнавали лишь те, кому суждено было пройти через войну. Человек терпел до самой смерти и если выживал, то предела его усилий не было.

Брат Сергей выжил в аду Сталинграда, но война (он был контужен и страдал эпилепсией) жестоко истязала его потом всю жизнь и, настигнув, поразила, когда ему было уже сорок пять лет.

Виктор Горюнов, отец двоих детей, чуть не погиб через двадцать лет после нашего с ним ранения. Осколки мины в его груди вдруг начали путешествовать, и один из них прорвал плевру. Виктор находился в дальнем рейсе (он шофер), и его в тяжелейшем состоянии доставили в больницу. Только срочная операция спасла ему жизнь.

Костя Бухтияров умер от сорока семи ран. Предел его страшным мукам наступил только через сутки. Таких, кто прошел через Сталинград от начала до конца, мало. Среди моих друзей-мальчишек я не насчитаю и десяти, и все они мечены войной. Эти отметины никому из них не помогли жить. Судьбы у них почти те же, что у Сергея и Виктора.

Перечитал это невольное отступление, и рука потянулась вычеркнуть.

Зачем оно? Ведь рассказ ведется от имени мальчишки? Да. Но книгу пишет не он, а человек втрое старше, и у него за плечами не только военное детство, но целая жизнь, иной опыт, и, пожалуй, пустое занятие — отрывать ту жизнь от этой.

...Сидим на нарах и прислушиваемся к тому, что обсуждают наши мамы. Они говорят, что надо брать с собою только еду и теплую одежду.

— Еду всю, какая есть, а теплой одежды — сколько унесем, — говорит тетя Нюра.

— Мы заберем все, — вмешиваюсь я, — если сделаем двуколку.

— Отвяжись, — отмахивается мама, — какая, к лешему, двуколка?

— А и вправду, — говорит тетя Надя. Она уже не плачет и опять та же тетя Надя, какую мы знали: шумная, неунывающая, ей постоянно нужно что-то делать, с кем-то говорить, спорить. — Я видела, хлопцы, вашу тележку. Она там, перед подвалом Глуховых. А Маруси не видно. Мы через их двор шли, я еще посмотрела, дверь открыта, все перерыто, и никого в подвале... Ильиничны тоже нет. А тележка добрая. Надо бы ее сюда прикатить.

Мы с Витькой сразу соскочили с нар, готовые бежать к подвалу Глуховых.

— Давайте сходим, — согласилась тетя Надя. — Может, этих чертей рогатых там уже нет.

«Рогатыми чертями» она называла немецких солдат. Их действительно не было не только у глуховского подвала, но и среди развалин и пепелищ всей нашей Нижней улицы. Мы прошли по ним свободно. Странно, может, никаких немцев и не было, и все это нам показалось в горячке?

Тетя Надя растерянно озиралась по сторонам: наверное, и ее мучили те же сомнения. Она еще раз огляделась и даже выпрямилась во весь рост, чего мы уже давно не делали.

— А ну подождите, я к своему окопу сбегаю. Может, они и оттуда убрались. — И побежала меж развалин.

Мы постояли и пошли к глуховскому подвалу.

Наша тележка без передних колес и передка стояла, приткнувшись к обрушенной стене. Здесь же валялись две, толщиною в руку, жерди и отброшенная в сторону ножовка. Подошли ближе и увидели, что тарантас в метре от передка наполовину перепилен. Это тетя Маруся старалась.

Я присел перед колесом и увидел, что втулка и ось смазаны дегтем. Здесь же, у самой стены, лежит консервная банка с разлитой черной жидкостью. Деготь свежий, наверное, она мазала колеса еще сегодня утром. Надо искать Глуховых. Я шумнул Виктору. Тот подошел к входу в подвал и негромко позвал:

— Тетя Маруся, тетя Маруся! — А потом спустился вниз. — Никого здесь нет, — донесся уже из подвала его голос, — никого...

Я заглянул в развалины дома и тоже позвал.

— Тетя Мару-уся! — Обошел разрушенные стены,

полазил по завалам и еще несколько раз позвал. Никто не откликался. Когда вернулся, Витька уже пилил ножовкой.

— Тут немножко осталось, — морщась от боли и придерживая рукою через рубаху бинты на груди, сказал он. — На, допили...

Ножовка у Степаныча была отменная, и я быстро перехватил последние лесины дрожек. Теперь нужно было прибить поперечную планку, чтобы лесины не разваливались, а сбоку — вместо оглоблей — приладить две жерди, которые припасла тетя Маруся.

— Делов-то всего ничего, — пересилив свою боль, сказал Витька.

...Через полчаса мы уже все сделали, прибили большущими гвоздями (меньших у Степаныча не нашлось) планку, приколотили с обеих сторон жерди-оглобли, а потом еще для прочности прикрутили их проволокой.

Я впрягся в дрожки и предложил Виктору прокатиться. Он тут же вскочил на двуколку, и я в упряжке пробежал вокруг развалин дома. Дрожки мчались лихо. Я изображал норовистого коня, а Витька заправского седока. Он кричал, размахивал руками. Мы дурачились.

Рядом не стреляли, из-за заволжского леса уже поднялось неяркое привычное солнце, и мы на несколько минут забыли, где мы и что с нами случилось, забыли, что в нашем районе немцы, что куда-то убежала тетя Надя и запропастились Глуховы, забыли, что там, в блиндаже, волнуются и ждут нас наши мамы, — мы все забыли и гоняли вокруг разбитого дома.

Теперь уже я взгромоздился на дрожки, а Витька потащил их вокруг развалин. Но у него дело шло хуже. Шагов через тридцать Витька вдруг стал задыхаться, а потом и совсем остановился. Пытаясь справиться с болью, он вымученно улыбнулся.

— Я смогу, ничего, смогу... Только передохну...

Я опомнился, отстранил его и впрягся в оглобли.

Но веселье уже улетучилось. Что же мы делаем? Кругом немцы, нас там ждут, а мы... И тетя Надя запропастилась где-то...

Витька тоже сник и виновато смотрел в сторону. Мы стали прислушиваться. Стреляли по-прежнему где-то далеко, за элеватором. Ухало за бугром. Когда возились с тарантасом, туда через центр города из-за Волги пролетело несколько самолетов, а в нашем районе

было необычно тихо. Я осторожно взобрался на развалины и огляделся. У самого берега, там, где еще вчера с Серегой перебегали пустырь, несколько человек копали траншею. Они были без мундиров, с обнаженными головами, но и так можно было узнать, что это не наши.

Посмотрел в овраг и сразу увидел две диковинные машины. Низкие раскоряки, на гусеницах, с широченными железными кузовами. Таких никогда не видел. Вокруг машин на высохшей, пыльной траве лежали и сидели люди тоже без мундиров и простоволосые.

— Гляди, — шепнул приползшему ко мне Виктору.

— Да, — вздохнул он, — настоящие немцы...

Тетю Надю ждать здесь больше не было смысла, и мы, пригибаясь, покатили меж развалин двуколку к нашему блиндажу — я впереди, а Витька сзади.

От этих немцев я не мог прийти в себя. Меня словно окатили ледяной водой. Сколько же их там? Это транспортеры, догадался я, а за ними еще были автомашины, тоже широченные, с низкими железными кузовами и какой-то странный танк — на гусеницах здоровенная пушка. Таких я никогда не видел. Ох, сколько там машин и людей! Люди сидят, лежат, и только несколько человек стоят.

Подальше от всего этого. Подальше! И мы быстро катили двуколку, словно за нами гнались.

Встретила нас Витькина мама. Она уже шла навстречу, но вдруг опасливо прислонилась к обломку стены и что-то закричала. Мы прибавили ходу, однако скоро оба выдохлись.

Дорога шла в гору и через сплошные развалины. Надо было бы их обойти, да где там — давно привыкли бегать напрямик.

— Ну куда ж вы, куда ж лезете? — расслышал я ее крик.

Залезли в такие завалы, что двуколка уже не шла ни вперед, ни назад, и тете Нюре пришлось выручать нас.

— Вы ошалели, там же немцы, — прохрипела она, вытаскивая двуколку из развалин, — куда ж вы прете?

Мы перепуганно молчали, но, когда тетя Нюра, задохнувшись от натуги, предложила бросить двуколку, опомнились.

— Нет, дотянем! Вот через этот завал. И еще через завал...

Так и не выпустили из рук свою двуколку.

Мамы и Сергея в блиндаже не было. Бабка Устя сказала, что прибегала тетя Надя, принесла одежду, и они все подались опять в свой блиндаж. Я хотел бежать за ними, но бабка сердито прикрикнула:

— Сиди! Ишь развоевался, Аника-воин. Без тебя там вода не освятится.

Она умела так сказать, что ослушаться ее уж было невозможно.

Бабка Устя спровадила нас в блиндаж, где в закутке сидели Вадик и Люся. Вадик играл с сестренкой — взяв ее ручонку в свою руку ладошкой вверх, указательным пальцем начинал потихоньку щекотать, а она, обнажив свои остренькие, как у суслика, зубки, заливисто повизгивала.

— Тут пень, — тыкал он в ладошку, — тут колода, — дотрагивался до ручонки в изгибе, — а тут студеная вода, — и он щекотал под мышкой. Сестренка хохотала и просила:

— Исе, исе...

Я присел и тоже стал играть с Люсей, показывать ей «козу». Девочке нравилась и эта игра, и она смеялась все громче и громче.

Витька сразу повалился на нары, и тетя Нюра, стянув с него рубаху, стала разматывать бинт.

Глянул: рядом стоит бабка Устя и вытирает концом шали глаза. «Бабка Устя плачет?!» Испуганно вскочил, и во мне, как в ту минуту, когда увидел немцев, все похолодело: «С нами что-то случилось?» Но она легко положила мне руку на плечо:

— Играйте, играйте, детки. Это я так...

УХОД

Все было собрано и связано в узлы, но нас пока не выгоняли из блиндажа, а сами мы не спешили уходить. Бабка Устя заявила, что никуда не уйдет, будет здесь ждать наших. Ее никто не разубеждал, теперь все хотели остаться поближе к своим. Мы, мальчишки, уже стали шептаться — «может, пронесло, и про нас забыли», хотя видели, как из других блиндажей выгнали несколько семей и повели к полотну железной дороги. Сидели тихо, затаившись, как мыши в норе.

Но нет, не пронесло. К вечеру появился у блиндажа немец и начал орать:

— Гей, гей, шнель, шнель!

Все кинулись вытаскивать узлы из блиндажа и грузить на двуколку, но немец стал сбрасывать вещи на землю и как оглашенный орал: «вэк» и «шнель, шнель».

Мы растерялись. Узлы большие, и, чтобы нести на себе, их надо перевязывать, а когда? Фашист орал и замахивался автоматом, гнал нас всех от блиндажа. И вдруг на немца пошла бабка Устя. Она распрямилась во весь свой высокий рост и, ухватившись руками за края своего платка, шагала прямо на немца. Тот отскочил и потянул на себя затвор автомата. Бабка остановилась перед ним и громко спросила:

— У тебя есть мать? Мать, спрашиваю, есть? Мать есть?

— Мутер, мутер, ист, ист, — не то передразнил, не то повторил вслед за бабкой немец, но стрелять не стал. Бабка повернулась и стала складывать узлы на двуколку. Немец закричал:

— Фюнф минутен, — и показал свою грязную пятерню.

Мы все бросились помогать бабке. Быстро погрузили узлы и начали увязывать их веревкой. Немец стоял в стороне, отвернувшись от нас, и курил. Когда закончили и все уже были готовы двигаться, бабка Устя вдруг спустилась в блиндаж. Мы все замерли.

— Она остается, — захныкал Витька. — Сейчас туда спустится немец и застрелит ее...

Прошла напряженная минута. Немец уже докурил и с любопытством поглядывал на вход в блиндаж. Наконец она появилась с корытом.

— Бабушка, — кинулся к ней Витька, — он тебя застрелит! Поедем...

Но бабка Устя стала прилаживать корыто впереди узлов. Немец ждал, хотя его пять минут уже истекли. Умостив корыто меж узлов, бабка Устя взяла из рук тети Нади Люсино одеяльце, расстелила в корыте, а потом посадила туда Люсю.

— Ну, с богом — сказала она тихо и сама встала сбоку, поддерживая девочку.

Мы потащили двуколку вверх по засыпанной щебенкой и битым кирпичом улице.

Нас согнали к железнодорожной платформе. Между изрытой насыпью с исковерканными бомбами и снарядами шпалами и рельсами и разрушенным зданием за-

вода образовалось что-то вроде ущелья. Сюда-то всех и втиснули.

— Куда же нас гонят? Куда? — все спрашивали друг у друга. — Куда? В Германию?

— Да зачем им старики и дети?

— Детей и молодых женщин они как раз и угоняют, — отозвался какой-то старик, и все окружили его. Я опасливо отошел.

Был ранний вечер. Солнце пряталось за тучами у самого бугра, куда нам предстояло идти. Высокий и худой немец в грязном серо-зеленом френче и еще более грязных штанах, заправленных в короткие сапоги, показывал автоматом на бугор и что-то кричал. Моих школьных знаний хватило, чтобы разобрать два слова: «мюссен» и «геен». Немец сильно картавил, и я сразу назвал его Картавым.

В опущенной правой руке Картавый небрежно держал автомат. Немец один, но для нас и одного было много. Я никак не мог поверить, что со всего нашего района набралась только эта горстка людей: десятка четыре, не больше. Представил, какая уймища народу жила здесь прежде, и мне стало страшно. Только в одной нашей школе училось почти шестьсот человек, а ведь она была неполная средняя. Старшеклассники занимались в средней школе в центре города. А сколько народу провожало рабочий батальон! Тогда весь овраг запрудили люди. Где же они сейчас? Куда подевались? Нельзя же такую массищу людей убить. Наверное, они прячутся, не хотят уходить отсюда, как не хотели уходить мы и особенно бабка Устя.

Картавый перестал кричать и размахивать автоматом. Он стоял метрах в пятнадцати от нас и, видно, кого-то ждал. Я рассматривал толпу, выискивая знакомых, и узнавал всех. Только две семьи — женщину с двумя мальчиками да старика со старухой — видел впервые. Они скорее всего были из эвакуированных.

Витька разговаривал с Таней Зуевой. Она жила где-то у мебельного завода, но училась в нашей школе, годом младше нас. Я подошел. Таню не узнать. Худущая, лицо почерневшее, с выпирающими скулами, все время лезет рукой под грязный серый платок и скребет пятерней свалявшиеся нечесаные волосы. Не знаю, каким был я (месяца два не смотрел на себя в зеркало), но, видно, не таким, как она. Мы все-таки умывались... Витька начал расспрашивать про наших ребят.

— Ой, Витьку Красильникова еще двадцать третьего, — тихо сказала Таня. — Их тогда... всю семью. Даже не откапывали...

— А Решетковых? Борьку их знала?

— Знала. Они на Продольной жили. Борьку раненого видела. У него рука перебитая. Куда они подались, не знаю. А Наташку Силину помните?

— Помним, — ответил Витька.

Он знал всех девчонок из старших классов. Я не знал Наташку.

— Ну как же, — удивился он. — Рыжая такая, с глазищами — во! — И он поднес к своему лицу два кулака. — Да знаешь, с Машкой Новоселовой дружила.

Но я не знал и Новоселову.

— Память, что ли, отшибло? Пионервожатой у вашего Сережки в классе была...

— Ну и что с ней? — спросил я.

— Вчера ее зарыли...

— Как зарыли? — переспросил Витька.

— Ранили еще месяц назад, в ноги — миной... и все мучилась, а вчера только умерла. И в нашем дворе ее закопали. Там такая воронка была...

Я вспомнил Машу Новоселову — жаловалась мне на Сергея, а потом вспомнил и Наташку Силину. «Закопали». Хотел спросить про Новоселову, да побоялся. Пусть хоть она остается живой. Но Таня сама заговорила о ней:

— А Маша тоже двадцать третьего погибла. У них тогда вся улица сгорела...

Я отошел от Тани к нашей двуколке.

Охранял нас сейчас другой немец. Тот только прошел с нами несколько шагов, махнул рукой — идите прямо, и ушел, видно, выгонять из развалин и блиндажей другие семьи.

«Куда же нас погонят и что с нами будет? — тревожно отстукивало сердце. — На работы? Но какие же мы работники? Дети, старики, женщины...»

Я еще раз огляделся. Из-за туч прорвалось уставшее за долгий день солнце, и от людей упали на землю длинные тени. Вскоре эти тени начали таять. Солнце огромным раскаленным диском падало за бугор, оставляя нас с тем, что случилось за сегодняшний страшный день, и тем, что еще нам предстояло пережить в эту первую ночь в неволе.

К нашей группе присоединили еще четырех человек:

двух молодых женщин, старуху и мальчика лет десяти.

— Санька! — крикнул мальчику Сергей. — Санька, давай сюда! — Но тот испуганно ухватился за руку старухи. Старуха недобро посмотрела в нашу сторону. Мама тряхнула Сергея за плечо:

— Ты чего лезешь к людям?

Сергей виновато опустил голову.

— Чего он? Это ж Санька Говоров...

— У них маму и сестренку убило, — тихо сказала Таня Зуева. — Они одни теперь с бабкой.

— Алес! Алес! — закричал издали тот немец, который выгонял нас из блиндажа.

Я припомнил и это слово и перевел нашим.

— Значит, собрали всех, — отозвалась бабка Устя. Я же был уверен — не всех. Когда на майские или октябрьские праздники выходили на демонстрации, то улицы нашего района надолго заполнялись народом, яблоку негде было упасть. И даже 23 августа, когда немцы зажгли город, сколько людей было! У каждого горящего дома — люди, люди. Где же они теперь? Зычный окрик немца-охранника оборвал мои мысли.

— А-а-п, лёс, а-а-п, лёс! — заорал он, точь-в-точь как кричат пастухи, когда трогают с места стадо.

Этих слов я не знал, но все поняли и поспешно подняли свои узлы, мешки и чемоданы. Завизжали и заскрипели тележки. Как и мы, несколько семей были «на колесах». Но такой двуколки не было ни у кого. Я впрягся в шлейку и шел рядом с тетей Надей, самой молодой из наших женщин, ей еще и тридцати не было. Она в упряжке «коренная», а мы с тетей Нюрой в «пристяжных». Нам было куда легче, чем тем, кто нес поклажу на себе.

Шли вдоль железнодорожного полотна, той же дорогой, что и уходивший на фронт рабочий батальон. Где они теперь, те ополченцы, и где тот фронт? Они двигались на Мамаев курган, но оттуда уже давно не слышно стрельбы. А сейчас и у нас тихо; только время от времени глухо стучит крупнокалиберный пулемет — бу-бу-бу, бу-бу-бу — да гремят разрозненные взрывы мин, и снова непривычная тишина. Стрельба в стороне элеватора. Но и она уже какая-то вялая: то затихнет совсем, то вновь вспыхнет, будто кто-то бросает остатки сухого хвороста в догорающий костер. Сгребет и бросает на угли — пламя вспыхнет и тут же погаснет, и он, тот невидимый, снова собирает по прутику, по щепочке.

И только пулемет ритмично, через каждые три минуты, разрывает тишину своим простуженным: бу-бу-бу, бу-бу-бу.

Совсем стемнело. Миновали развалины мебельного завода. Больше года назад отсюда уходил на войну отец. Сколько за это время событий! Страшно подумать. У меня прошла целая жизнь, а может, и не одна, и я, наверное, уже состарился. Это оттого, что мне будто связали руки. Всех нас подхватил поток и несет, бьет о камни, заливает с головой, но все мы еще живые, барахтаемся. Я тоже живой, и мне остается только смотреть и думать, думать.

Чернеют и дыбятся в небо развалины отцовского завода. Где он сам? Если бы он знал, что с нами стряслось!

Жарко, снял свое пальтишко и бумазеевую куртку. Когда уходили, все натянули на себя по нескольку одежд, чтобы меньше было поклажи. Снял и фуражку, а пот все равно заливает глаза, рубаха и майка прилипли к спине, и плечо под шлеей саднит. Наверное, растер. Надо спустить лямку ниже. Вот так будет хорошо, теперь уже легче. Совсем здорово, я не задыхаюсь, и шлея у меня теперь точь-в-точь как у того бородатого бурлака на репинской картине.

Нет, воз наш тяжелый. Это только поначалу казалось, что двуколка бежит сама. Сейчас дорога пошла в гору, растянувшуюся колонну круто повернули на бугор, и, по всему видно, дело наше — табак. Через каждые десять-пятнадцать шагов останавливаемся. Все дышат как загнанные. Огнем горит бедро, иногда боль прихватывает так, что начинаю спотыкаться, и тогда на меня покрикивает тетя Надя:

— Чего ты дергаешься? Иди ровнее!

В темноте ей не видно, как я припадаю на ногу. Остановились. Никак не могу успокоить дыхание. А бедро горит. Сунул руку под пояс брюк, бинт мокрый и съехал. Хочу поправить, но не успеваю. Раздается негромкий голос бабки Усти:

— Ну, пошли...

Теперь она командует — когда нам останавливаться, и сколько отдыхать, и когда трогать. Налегли. Колеса еле вращаются. Опять залезли в песок. Вдоль колонны время от времени проходит немец и лениво, точно засыпая на ходу, выкрикивает: «шнель», «шнель» и «гей», «гей».

В начале пути он кричал резво и бормотал что-то. Я прислушивался и угадывал лишь отдельные слова: было забавно знать, о чем он думает, и досадно, что мало угадываю слов.

Все чаще останавливаемся. Уже не слышно окриков немца. Он, кажется, исчез. Может, уснул. Мне тоже хочется спать. Люсю и Вадика сон сморил давно — спят на двуколке. Сережка с Витькой упрямо идут и помогают нам. Я забыл про свои часы. Сейчас бабка Устя скомандует «передых», и посмотрю. Сейчас, сейчас, сейчас...

Мы уже стоим, но никак не могу отдышаться, повис на мягких узлах, и кажется, нет сил потянуть за цепочку. Наконец часы в руке, смотрю — и глазам своим не верю — еще нет и десяти часов. Испортились, сломались? Подношу к уху — нет, идут. Неужели прошло только два часа? Хочу спросить у тети Нади, но уже раздается: «Пошли!» — и мы молча наваливаемся на двуколку.

Когда же конец этой проклятой горе или мы так и будем всю жизнь подниматься по ней? Куда нас гонят? Я слышал, как мама обронила: «Похоже, на Песчанку идем».

Я знаю дорогу в это село. Подъем уже давно должен кончиться, а мы идем и идем...

Где-то я уже слышал или читал про это. Люди вот так шли, шли, они долго взбирались в гору, и все поднялись на небо. Надо попросить бабку Устю сделать «передых», перевязать бедро... Надо... Немец исчез, бабка согласится...

— Андрей, Андрей, — дернул меня за руку Сережа, — ты смотри, трассирующие летят, смотри.

Оказывается, я задремал, прижавшись к теплым узлам. Мы вроде бы на Ельшанском бугре. Отсюда днем в ясную погоду виден почти весь город. Но сейчас ночь, и иссиня-черную темень прорезают огненные линии трассирующих пуль. Словно выскакивая из земли, линии эти прерываются, ломаются и вновь уходят в нее, в землю, или тают в черной хмари, которая тяжело придавила мертвый город.

Повернул голову влево, туда, где светло проступает полоса Волги, и увидел, что город не мертв. Это только наш район почти до самого Лапшина сада молчит, а там, в центре, у самой кромки берега непрерывно вспарывают темень ракеты и огненными шмелями летят то

в одну, то в другую сторону трассирующие пули. Видны всполохи и в районе нефтебазы и там, где прижались к Волге заводы-гиганты: «Баррикады», «Красный Октябрь», Тракторный...

Небо низкое, беззвездное, и я нахожу на нем одно зарево от вспыхивающих ракет. Оно где-то за Тракторным. Держится Сталинград, хотя эти красные и белые хвосты уже и не над городом. Там, за Тракторным заводом, есть какой-то поселок. Сейчас вспомню... У него спортивное название. Мы ездили туда с Виктором, старшим братом, в День воздушного флота — на праздник. Летали самолеты, прыгали парашютисты. Вспомнил!

— Там Спартановка, — обрадованно кричу подошедшему Витьке. — Там Спартановка!

— Да, Спартановка, — не понимая моей радости, отозвался он, — там речка Сухая Мечетка, она за заводом, а за нею Спартановка и еще одно село...

Я уже не слушаю Витьку. Оказывается, вот что мне нужно: надо было взобраться на эту гору и все увидеть. Увидеть, что город живой, что в нем есть люди, наши бойцы, которые дерутся с фашистами.

Мне уже не хотелось спать, и, хотя усталость сотрясала мое тело и горело бедро, я мог идти дальше в гору и тащить нашу колымагу.

Выискиваю огоньки и всполохи, прислушиваюсь к стрельбе. Потом показываю Витьке и Сергею, где может проходить линия фронта.

— Там наши. Там!

Смотрим на юг, в сторону Бекетовки, туда мы собирались пробиться. Огненные пунктиры трассирующих пуль прочерчивают небо над Лысой горой и у Лапшина сада. Там же вспыхивают и гаснут ракеты, а где-то совсем далеко, может, уже за домом отдыха «Горная поляна», повисли осветительные ракеты. Их бросают немцы с самолетов перед бомбежкой. Спускаясь на парашютах, они освещают огромные пространства.

Стоим, прислушиваемся, ждем взрывов, но их не слышно. Наверное, бомбят слишком далеко отсюда. Около нашей двуколки останавливаются люди и, сбросив с плеч узлы, валятся на землю. Но, странное дело, через несколько минут они поднимают головы и смотрят туда же, куда и мы.

Многое забылось за эти десятки лет: стерлись имена и даты, совсем утратились детали, целые эпизоды и отдельные события, но память сохранила те давние

ощущения. Наверное, в человеке есть еще какая-то особая память, может быть, та, которую хранит наше тело.

Именно такими были для меня те мгновения октябрьской ночью сорок второго года на Ельшанском бугре. Вокруг немцы, они захватили большую часть Сталинграда и продолжают вгрызаться в него, а в меня входило чувство свободы и раскрепощения: свободы от четырех стен в подвалах и блиндажах, свободы от полного неведения, что творится за этими готовыми расплющить тебя стенами, раскрепощение от постоянного страха. После той ночи (а она только начиналась, и ее еще надо было пережить) в моей жизни было всякое, но я помню, как именно в те минуты и на том бугре в меня постепенно начало возвращаться все то мое человеческое, что выколачивала из всех нас война.

Не помню, сколько мы пробыли там, скорее всего несколько минут, потому что откуда-то появился «пропавший» немец и начал всех гнать дальше, но я и сейчас вижу, как все долго не могли тронуться с места. Немец бегал, орал: «Вэк, ауфштейн!», даже бил кого-то сапогами, а люди неторопливо поправляли мешки и узлы на плечах, топтались на месте, но не шли вперед. И только когда заскрипели и завизжали колеса тележек, вся сбившаяся в кучу колонна тронулась и медленно побрела, втягиваясь в лесопосадки «Зеленого кольца», которое по бугру, подковой, огибало город.

Двигались опять молча, и, хотя теперь дорога уже шла по равнине, нашу колымагу тащить стало еще трудней.

К моему удивлению, деревья в лесопосадках во многих местах каким-то чудом уцелели. На них сбросили столько бомб, выпустили с обеих сторон столько снарядов и мин, что, казалось, здесь ни одному деревцу не выстоять. А они выжили. Природа, видно, как и человек, беспредельно живуча. В темноте нельзя было рассмотреть, как иссечены осколками деревья (это мы увидели, когда стало рассветать), но по обе стороны почти сплошной стеной темнели полосы молодых лесопосадок. И только там, где зияли огромные воронки от бомб, полосы прерывались, и в этих просветах видна была колышущаяся, чернильная синь степи.

У прогалин мы обязательно останавливались, чтобы хоть немного перехватить свежего воздуха: из лесопосадок окатывало тяжелым трупным запахом. Все мы знали сладковато-липкий запах развалин, под которыми по-

гребены люди. Но то, с чем столкнулись здесь, было страшно. Многие падали на свои узлы, корчились в рвотных конвульсиях.

Нас терзал песок. Те, кто был «на колесах», теперь будто поменялись с «пешими». Все время шли впереди колонны, а сейчас оказались в хвосте. Исчез немец-конвоир, но мы и без его окриков тащили поклажу из последних сил и, если бы не страх умереть голодной смертью или замерзнуть зимой, бросили бы все и убежали бы куда глаза глядят из этого могильника. Наконец лесопосадки кончились, лишь поодаль дороги темнели отдельные деревца и заросли кустарника, от них шел тот же смрадный дух, но уже можно было дышать и жить.

Бедные сталинградские деревца, и кустики, и те несчастные, кто в них прятался! У нашего степного города никогда не было леса. За несколько лет перед войною по бугру и за бугром, который прижимает город к Волге, сталинградцы стали сажать лесополосы, возводить «Зеленое кольцо». В сухой, безводной степи деревья росли плохо, гибли, но их из года в год подсаживали, и это «Зеленое кольцо», хотя и не сплошь, а обозначилось.

Гитлеровцы бомбили лесополосы нещадно, прочесывали пулеметными очередями с самолетов, засыпали минами и снарядами. Уже после войны я узнал, что в течение всей Сталинградской битвы, длившейся больше полугода, с обеих сторон участвовало несколько миллионов *. Мне кажется, вся эта гигантская масса людей прошла через чахлые лесочки, и больше половины тех, которые погибли в Сталинграде, остались именно в них, а остальные вместе с тысячами и тысячами мирных жителей полегли в развалинах города.

...Со мною случилась новая беда: сон валил с ног, так захотелось спать, что я уже ничего не соображал и несколько раз, задремав, спотыкался, и только шлея удерживала от падения. Никогда не думал, что на ходу да еще в упряжке можно заснуть. Как мне хотелось спать! Наверное, если бы сказали: ладно, ложись и спи, а проснешься — тебя убьют, я бы согласился. Как из подземелья, до меня доносились слова тети Нади: «Не спи,

---

* В напряженных боях на отдельных этапах (с обеих сторон) воевало свыше 2 миллионов человек, насчитывалось до 25 тысяч орудий и минометов, более 2 тысяч танков и свыше 2300 самолетов (История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941—1945, т. 2, с. 224).

Андрей, не спи!» Останавливались на короткий отдых, и моя свинцовая голова падала на узлы.

Подошла мама и впряглась в мою шлейку, а меня отправила к Витьке и Сергею подталкивать двуколку. Но и это не помогло. Я валился с ног, все мое тело, каждая клетка в нем кричали, нет, вопили: спать, спать, спать!

А наши мамы решили не останавливаться: и так отстали от других, а с одними нами может всякое случиться. Выхода не было — не мог же я, когда малец Сергей и раненый Витька толкают повозку, взобраться на нее и улечься рядом с Люсей и Вадиком. И вдруг пришла счастливая мысль: видно, ее, как спасение, высекло мое отчаяние.

Все равно от меня нет никакого толку, так не лучше ли побежать вперед, насколько хватит сил, упасть на дорогу и заснуть. Наши будут идти и разбудят меня. Сказал Витьке и Сергею об этом и побежал вперед. Когда пробегал мимо мамы, боялся — остановит, но она, наверное, и не заметила меня. Видно, и ее силы были на пределе...

Приказал себе пробежать столько, чтобы наши до меня смогли дважды остановиться на отдых. Бабка Устя подавала команды теперь примерно метров через двести. Значит, надо пробежать метров четыреста и тогда падать. На школьных соревнованиях много раз бегал на стадионе, сохранилось чувство времени и расстояния. Взрослые будут отдыхать и меня не хватятся: головы к узлам — и дышат, как выброшенные на берег рыбы.

Значит, четыреста — всего один круг стадиона, четыреста! Стучит в висках кровь, сердце вот-вот лопнет. Ноги как ватные, а левую не чувствую и припадаю на нее уже не от боли, а по инерции. Еще, еще... Уже выхожу на финишную прямую. Последние сто метров... Только бы не упасть, только бы дотянуть стометровку. Еще, еще... Вот уже вижу: Костя Бухтияров, Сенька Грызлов, Красильников... Все они пришли на стадион болеть за меня. Кричат, но я их не слышу. Я оглох, ослеп, я падаю... Но падаю не сам, до финиша мне осталось всего несколько шагов, меня сбивают с ног, и я лечу в яму.

Оказывается, это одиночный окоп; мой родной одиночный, который уже спасал мне жизнь, когда мы с мамой попали под залп наших «катюш», спасет и сейчас. Какой же он удобный, как люлька, можно даже вытя-

нуть ноги и привалиться спиной, как на высокие подушки...

Проснулся сам, как и загадал, видимо, через пятнадцать-двадцать минут. Открыл глаза и увидел метрах в десяти от себя наших. Они, наверное, только остановились на «передых», и я еще мог несколько минуток «понежиться» в своем кресле-перине. Так делал дома, когда мама будила в школу. Лежу и наслаждаюсь.

Наши двинулись, и, когда поравнялись со мною, я вскочил. Вскочил на удивление легко и, подойдя к двуколке, попросил у мамы шлею.

— Давай, я поспал и теперь могу...

— Где поспал? — удивилась она.

— Вот здесь, — указал я на обочину дороги, — в окопе.

Мама коснулась ладонью моего лба. Так она делала всегда, проверяя, не заболел ли я. Она, наверное, принимала мои слова за бред.

— Не заболел?

— Нет.

Мама сняла с себя шлею и, передав ее мне, отошла в сторону, пережидая, когда мы проедем. Она тоже выигрывала секунды для отдыха.

А со мною произошло чудо. Мою голову и тело кто-то очистил от той смертельной усталости, которая валила с ног, и я понял, что это сделал мгновенный сон, в который я провалился.

С тех пор я знаю, как снимать любую усталость, — надо всего на десять-пятнадцать минут уснуть, но уснуть мертвецким сном.

ДОРОГА ВОЙНЫ

Мама не ошиблась. Мы действительно пришли в Песчанку. У этого села, находящегося километрах в двадцати от города, не зря такое название: стоит оно на песках и среди песков.

Сейчас, днем, мы сидели, укрывшись в небольшой балочке, на окраине полусгоревшей Песчанки. Затащила нас сюда бабка Устя, и мы были рады, что оторвались от колонны. Над нами светило высоко поднявшееся солнце, а в кастрюльке, осаждаемой тучами ненасытных мух, ожидала нас разваристая пшенная каша. Все мы поспали на солнечном припеке часа два-три, и

эта земля уже не была такой чужой и неприветливой, как ночью.

Колонна разбрелась по селу, но утром ее собрали и направили дальше, куда-то в сторону Калача, а мы по совету мудрой бабки Усти спрятались. (Позже мы узнали страшную весть: всех, кого погнали дальше, где-то под Карповкой гитлеровцы заперли в сарай и сожгли.)

...Мамы сидели в сторонке от костра. Я стал прислушиваться к их разговору и с испугом понял: Горюновы остаются здесь (так сказала бабка Устя!), а мы идем дальше.

— Как только нас отобьют, мы рядом, — будто оправдываясь, вздохнула тетя Нюра. — Спустились с горы — и дома...

Мама молча качала головой, оглядывая разоренную Песчанку.

— Как отобьют, тогда и Гавриловка рядом, — отозвалась тетя Надя.

Значит, все же Гавриловка — всколыхнулась во мне радость. Там наш дедушка — Лазарь Иванович Четвериков. При одной мысли, что я увижу этого суетливого и вечно чертыхающегося восьмидесятилетнего деда, мне совсем расхотелось спать. Я был готов тут же вскочить и бежать в Гавриловку. Это село, где работал в колхозе конюхом мамин отец, а наш дедушка Лазарь Иванович, еще в конце августа захватили немцы. До нас тогда доходили слухи, что другие мамины родственники, семьи двух ее сестер и брата, эвакуировались, а дедушка не захотел уходить из села. Как он теперь там один?

Семья у деда большая: пять дочерей, из них моя мама старшая, а тетя Надя младшая, да еще двое сыновей: дядя Ваня — он долго работал в этом селе председателем колхоза — и дядя Коля, кадровый военный, который служил перед войной где-то под Белостоком. Оба с первых дней войны на фронте. Старший, дядя Ваня, еще перед войной был взят на сборы, воевал под Белой Церковью да с тех пор так и «сгинул», как говорил дедушка. А от младшего, дяди Коли, письма шли до самого последнего дня, хотя он уже и был дважды ранен.

И вот теперь мы, оказывается, идем в Гавриловку, откуда всего километров двадцать, а может, и меньше до Бекетовки.

— Мы пойдем сейчас? — спросил Сергей, и у него уже загорелись глаза. — Сейчас?

— Не знаю! — сердито отозвался я.

Мне тоже хотелось к деду, но как же мы расстанемся с Горюновыми, как же Витька, как бабка Устя и тетя Нюра? Где они здесь будут жить и как мы без них, а они без нас?

Сергей не знал и другого: чтобы попасть из Песчанки в Гавриловку, надо сделать по степным дорогам этакий своеобразный полукруг, который пройдет километрах в двадцати от выгибающейся у Сталинграда Волги. Полукруг немалый, наверное, километров тридцать.

Мама хорошо знала эти места, она выросла здесь, да и мне приходилось не раз бывать вместе с родителями. Но сможем ли мы пробиться туда теперь?

Женщины, видно, нарочно ушли в сторонку от места, где варился обед, чтобы их не донимали мухи. Я никогда не видел столько мух — зеленые, большие, и жужжат, как шмели, сотрясая воздух.

А день выдался хорошим — заблудившийся осколок бабьего лета. Вовсю светит солнце, безветренно, только нет паутины. Не стреляют, и в небе ни одного самолета. Прислушиваюсь — канонада далеко. На севере, за горизонтом, там, где расположены заводы, она яснее, а на юге, куда поворачивает невидимая отсюда Волга, ее еле слышно.

Мы в центре. Я мысленно представляю себе громадный клин. Немцы острием этого клина врубились в Сталинград и увязли в нем. Увязли так глубоко и крепко, что им теперь ни вперед, ни назад. Мне кажется, я видел это там, на бугре, ночью. Клин, хоть и разрубил наш город, но сам застрял, как застревает топор в крепком сучковатом полене, и его теперь самого надо вытаскивать. А выручать немцев, видно, тоже некому. Тот плюгавый немец-заморыш, который вчера утром пьяно бормотал у нашего блиндажа: «Вольга, Вольга», — не вояка.

...Расставались с Горюновыми тяжело. Женщины плакали, даже Сергей и Вадик, глядя на своих мам, хныкали. Мы с Витькой отошли в сторону и молча смотрели в землю. Витька шмыгнул носом и старательно затаптывал каблуком ботинка сусличью нору. Притоптав землю, сказал:

— Так наши винтовки и остались там...

— Вернемся, возьмем, их никто не найдет. Патроны к ним надо...

— Теперь можно найти, — ответил он, — ты тоже запасай.

— Хорошо, буду.

Мы замолчали. Витька нашел новую нору.

— Ты не ленись делать перевязки, — сказал я. — И не хнычь! Риванол и бинты не жалейте. Я тете Нюре много оставил. Ну, давай?

Мы, как и подобает мужчинам, да еще старшим в своих семьях, пожали друг другу руки. Женщины все еще обнимались и плакали. Наконец бабка Устя оборвала все сразу:

— Хватит землю кропить! С богом, Лукерья. — И она легонько за плечи подтолкнула маму к двуколке.

Я тоже подошел и накинул через плечо свою шлею. Тетя Надя встала на свое место, а шлея тети Нюры была свернута и подсунута под корыто, в котором уже сидела Люся. Бабка Устя оставила корыто нам, когда сгружали в Песчанке их вещи.

— Девочку надо купать, а мы обойдемся.

До хутора Цибенко, как сказала мама, километров двадцать. Я вынул отцовские часы, стрелки показывали половину второго.

Значит, к вечеру будем в селе, там заночуем и утром двинемся на Гавриловку.

— Оттуда до дедушки совсем недалеко, — сказала тетя Надя Вадику. — Только ты давай топай ножками. Больше ножками, нам же тяжело и Люсю везти и тебя. Люся маленькая, а ты большой. Она девочка, а ты мужчина.

— Я большой, — охотно согласился Вадик. — Я мужчина...

— Ну вот, значит, тебе надо ножками.

Пятилетний мужчина задумался, вытянул губы, потер зачем-то рукою ухо. Наверно, он не ожидал такого оборота. Но наш Вадик действительно был мужчиной, он ответил:

— Ладно, я буду ножками...

Двуколка тронулась, и он, размахивая рукой, широко зашагал рядом.

Выехали на большак, и у всех нас отлегло от сердца. Оказывается, не одни мы горемычные. Таких на этой дороге много. С тележками, тачками, с узлами через плечо и с детьми на руках люди шли в одиночку и группами. Большинство двигалось в том же направлении, что и мы, на юг, но были и такие, кто шел нам навстречу.

Встречных останавливали и расспрашивали, а они,

в свою очередь, расспрашивали нас, что там, в Сталинграде, где немцы, где наши, как лучше пройти в город? Через час мы уже знали, что хутор Цибенко не сгорел (в Песчанке нам сказали — сгорел), а в нем разбито всего несколько домов, цела и Гавриловка и другие окрестные села.

Те, кто шел в Сталинград, были горожанами. Они находились на рытье окопов, там их два месяца назад и отрезали немцы. Скитались по хуторам и селам, шли за фронтом, а вот теперь хотят проскочить в город, к своим семьям. Все знали, что случилось со Сталинградом, знали и многие подробности, видно, уже говорили с беженцами, но на наши советы не идти в город отвечали:

— Да нет, пойдем. А может, еще и живой кто остался.

— Ничего, как-нибудь пройдем.

— Мы уже давно в дороге, с августа...

— Теперь тут рядом...

Тетя Надя, налегая со мною на тележку, вытирала глаза.

— Где они их там найдут, — всхлипывала она, — там же всех выбили, все сгорело...

Через полчаса нас опять остановили две женщины — серые сгорбленные фигуры, с ног до головы запорошенные пылью. А когда развязали, сняли с лиц платки, я увидел, что одна из них почти девчонка. Тоже «с окопов». Стоят, рассказывают еще одну горькую историю.

— Как бомбить начали, многие разбежались... Другие ушли раньше. А мы побоялись без разрешения. Слышим, немцы уже впереди нас. Вот так и случилось...

Женщины — из рабочего поселка металлургического завода «Красный Октябрь». У той, что постарше, в поселке мальчик, «такой как Вадик». Они идут уже два месяца.

Мы трогаем свою двуколку, а женщина опустилась на колени перед Вадиком и хочет обнять его. Вадик испугался, закричал и бросился к нам...

Двигаемся по обочине широченной, разъезженной дороги. Наши ноги почти по щиколотку утопают в пыли. Мимо в обоих направлениях то и дело проходят большие зеленые и серые грузовики с низкими металлическими кузовами. Сидят в кузове солдаты и гогочут, как гусаки.

Навстречу движется обоз. Чтобы избавиться от пыли,

он идет по самой кромке дороги. Мы сторонимся еще дальше и теперь уже тащим свою двуколку по степи.

— Вот это лошадки! — кричит Сергей, и они с Вадиком бегут к дороге.

Я поворачиваю голову и вижу лошадей-гигантов. Мы даже останавливаем свою колымагу и смотрим на чудо-коней. Они намного выше наших лошадей, но не это нас поразило. Лошади без хвостов, только торчат коротенькие обрубки, а спины широченные, как кровати. В цирке я видел настоящих битюгов. Им на спины прыгали по пять и больше наездников, а на этих конях уместится и десяток, да еще место останется.

— Это откуда же такие? — растерянно спросила мама у остановившейся рядом с нами женщины.

— Так кто ж их знает, — отозвалась та. — Гитлер, наверно, вывел.

— Та нет — кони французьски и брички французьски, — сказал старичок с мешком за спиной и тоже остановился около нас. — Я в германьску видел такие у французив. Одна коняка пятьсот пудов везет.

Я стал прикидывать, сколько же это тонн, — получилось восемь. Врал, наверно, старик, — это же три грузовика. Ну куда же столько? Оглядел старичка. Нормальный, опрятный старикашка, бородка клинышком (такую себе завел Степаныч после пожара), глаза острые, добрые — врать не станут. Кирзовые сапоги побились, в руках палка из орешника или другого какого дерева, которое не растет в наших краях. Видно, идет издалека.

— Куда ж вы теперь, дедушка? — спросила мама.

— Та в Саратов, милая, в Саратов.

— Как же в Саратов?

— А так, теперь уже недалеко. От Царицына тут уже по Волге...

— Так Царицына-то уже нет, и не пройдете вы туда, дедушка.

— Слыхал, милая, слыхал, что порушил все немец. Та разве ж он только тут порушил, по всей земле теперь разор...

— А откуда же вы, дедуся, идете? — вмешалась в разговор тетя Надя.

— Та с под Перемышля-города. Там у нас сын служил, красный командир. Мы со старухой до него в гости поехали, а тут война, а там граница рядом... Долго рассказывать, милая. Старуха моя умерла в эту зиму, а я

вот все иду, иду... У меня ж в Саратове еще сын и две дочки замужние. И внуки там. Все там...

— Это что ж, с самой войны и идете? — вдруг спросил я.

— С самой войны, милый, с самой. В поезде мы и сто верст не проехали. Побомбил нас немец сразу... А потом вот так, — он указал глазами куда-то себе под ноги и повторил: — Вот так, милый, вот так...

— Да вы, дедусь, снимите мешочек.

— Не беспокойся, милая, он не заважит плечи, та и пойду я.

— Вам в город не надо, дедушка, — опять сказала мама, — вам другой дорогой на Саратов как-нибудь. Да и как же вы туда, тут же война кругом...

— А как-нибудь, мне только до Волги, а там уже дома...

Старичок переступил с ноги на ногу, намереваясь идти. Мама бросилась к узлу.

— Подождите, дедушка, я вам хоть пшена немножко, на кашу...

Старичок, поправив свой тощий мешок, поклонился маме, тете Наде и нам, мальчишкам. Он отвесил три низких поклона и не спеша пошел. Мы стояли и смотрели ему вслед. Шагов через двадцать он повернулся и, сняв шапку, еще раз нагнул голову к земле. Мы, мальчишки, помахали ему, а мама с тетей Надей тоже поклонились.

Обоз все еще шел мимо. Теперь уже не было тех богатырских коней, а в упряжках шли нормальные лошади, но подводы были интересные: крепкие, окованные железом, с большущими колесами, со специальным сиденьем для ездового. Сбоку, по правую руку у каждого, тормозное устройство. Короба подвод под брезентом, в некоторых открыто стоят бочки, лежат мешки и ящики. Ездовые все больше пожилые, небритые солдаты, в грязном, заношенном обмундировании. Восседают высоко и, пощелкивая время от времени кнутами на непривычно длинных кнутовищах, покрикивают:

— Ёо-ёо, ёо-ёо.

Сергей и Вадик осмелели и уже несколько раз перебегали дорогу, что-то собирая на ее обочинах. Взрослые перестали кричать на них, они теперь были предоставлены сами себе.

Скоро два часа, как мы в пути. Нам с тетей Надей жарко. Почти после каждой машины, которая проно-

сится мимо, нас окатывает клубами рыжей едкой пыли. Мы уже давно сошли с основной дороги (благо в степи теперь столько проселков), а вездесущая пыль настигает нас и тут. В Песчанке мучили мухи, а здесь — пыль. Лица у всех такие, точно нас вывозили в грязной луже. По дороге еще не было ни одного колодца. Пьем из нашего бачка. Вода теплая и противная, пахнет нагретым алюминием.

После перевязки, которую сегодня утром напоследок сделала тетя Нюра Горюнова, бедро болит меньше: все же его вчера сильно натрудил. Мне кажется, что я не только чувствую, где сидит осколок, но знаю, какой он формы. Величиною с фалангу мизинца, но с острыми, рваными краями. Тот, который вынул, был вдвое тоньше, как обломленный гвоздь с зазубринами. Иногда осколок разрастается, ночью был величиною с кулак, а сейчас ничего, нормальный, жить можно. Я уже себя приучил: если терпеть хватает сил, значит, все в порядке.

Прибежали Сергей и Вадик. В руках у них яркие, многоцветные картонные коробочки, обрывки фольги, плоская жестяная баночка, не то из-под консервов, не то из-под чего-то еще. Все необычной формы и необычных, ярких красок. В руках моих младших братьев другой, чужой мир, который занесли сюда эти пугающие нас люди. Они, как хозяева, едут по дороге, а мы сторонимся, тащимся по обочине. Мне хочется крикнуть моим несмышленым братьям: «Бросьте эту гадость! Сейчас же бросьте!» Но мое извечное мальчишечье любопытство подводит меня. В моих руках самая красивая картонная коробочка, и я вслух читаю:

— «Цигареттен». Это у них папиросы такие...

Борюсь с искушением оставить себе эту маленькую, ладную коробочку. В ней могли бы разместиться тепешние «спички»: кресало, кремень и трут — все вместе. Удобная коробочка. Но я перебарываю себя и отбрасываю ее. Сережка бежит, чтобы поднять коробочку. Мой окрик останавливает его:

— Брось! Брось сейчас же все!

Серега недоуменно смотрит сначала на меня, потом на маму, ища у нее защиты. Но я уже ору, не помня себя:

— Брось! Брось! Заразу всякую собираешь!

Сергей испуганно бросает под ноги все богатство. То же делает Вадик.

... Мы долго тащим двуколку молча. Ребята, присмиревшие, идут рядом, я видел, как они несколько раз оглядывались на брошенные ими коробки и баночки, и глаза у них в это время были «на мокром месте».

Ничего, переживут свое горе. А то слишком веселые стали, забыли, что вокруг творится. Дрожь во мне уже почти прошла. Я вижу дорогу, а то шел как в бреду. Теперь способен рассуждать спокойно. Надо будет объяснить ребятам. Вот придем к дедушке, и я им все объясню. Надо обязательно, а то они наделают глупостей.

Мне показалось, что мы миновали уже больше половины пути к хутору Цибенко, когда на дороге началась паника. Она всех нас насмешила, и мы потом еще долго смеялись. Неожиданно машины и подводы начали сворачивать с дороги и, как тараканы, разбегаться по степи. Нас чуть не сбил и не истоптал лошадьми здоровенный детина в серо-зеленой шинели. Обозники в карьер гнали лошадей по степи, а потом бросили свои повозки и смешно, как рыжие прусаки, разбежались, прячась под сусличьи бугорки.

В небе появились два наших «ястребка». Они шли невысоко, в стороне от нас и, видно, не собирались обстреливать или бомбить тот обоз и машины. Самолеты, отвернув влево, стали бить из пулеметов куда-то за бугор, а потом километрах в пяти от нас бросили несколько малых бомб. Нам же пока не было видно, кому они там «дают шороху».

Остановились и смотрели на переполох, поднявшийся на дороге. Это от двух-то самолетов! Ну и вояки! А если бы на них налетел десяток самолетов или столько, сколько налетало на нас? Куда бы они бежали и что делали?

Я даже взобрался на узлы нашей двуколки и смотрел в сторону удалявшихся «ястребков». Но мне видны были только несколько столбов рыжей пыли от взорвавшихся бомб.

— Наверное, Короватку бомбят, — поднимаясь на носки и вытягивая шею, радостно сказала мама. — Смотри, смотри, опять туда поворачивают. Может, там Витя наш... Где-то ж он летает... — Она умолкла, и мы все смотрели в небо до тех пор, пока там совсем не растаяли темные точки. — А может, и в живых давно нет, — грустно вздохнула она. — Сколько их сгорело, сколько полегло...

Теперь наша двуколка, казалось, бежала сама, а мы только и говорили о «ястребках» и о том, «как они им поддали жару».

— А этот, этот, — хохотал Сергей, — фуражка с него слетела. А он голову — за бугорок, а сам весь снаружи.

— И штаны у него красные, — вместе со всеми радостно повизгивал Вадик.

— Где ты видел красные? — спросил Сергей.

— Видел, красные...

— Он что, генерал? — засмеялся я.

— Он генерал, — повторил за мною Вадик и тоже засмеялся.

— Да он не знает, какой цвет красный, — отозвался Сергей, — на желтый говорит — красный.

— Знаю, знаю, — зачастил Вадик и перестал смеяться. — Я знаю и желтый, и красный, и всякий.

— Он знает, знает, — заступилась за сына тетя Надя, и Вадик удержался от слез, которые вот-вот должны были хлынуть из-под его подрагивающих белесых век.

Нам всем было весело. Нет, это не мы у немцев, а они у нас. Мы стояли и никуда не бежали, не прятались, а они, как крысы, разбежались по степи. Суслики и те стояли у своих норок на задних лапках, столбиками, а они врассыпную и ползут, как ужи, на животе. Смех, да и только.

Позже мы все убедились, что Сергей напрасно обидел Вадика недоверием. Дети, оказывается, часто видят больше и острее, чем взрослые.

Солнце клонилось к закату. Мы тащились уже пятый час, а мама недавно сказала, что прошли половину.

Что-то мама просчиталась со своими двадцатью километрами, и я сказал ей об этом.

— По пять километров в час никто не ходит, — ответила за нее тетя Надя. — Это бежать надо. А потом мы же не по дороге, по-за дорогой и по-за дорогой, как зайцы, петляем...

Стали втягиваться в лощину.

— Вот от нее, — мама показала рукой вдоль лощины налево, к горизонту, — пойдет Короватка.

Я знал, что этим странным словом называется цепь почти высыхающих летом озерков, а может, и прудов на дне неглубокой, почти сглаженной балки. В некоторых местах эта балка угадывалась только по более тем-

ному цвету травы, хотя к осени она и здесь вся выгорала.

— Гляньте, гляньте, — заерзал на узлах Вадик. (Он устал, и мама опять его подсадила на двуколку, к Люсе.) Вадик смотрел в лощину и заметил там, наверное, такое, что нам еще не было видно.

Когда спустились в лощину, я обмер: тут был целый город. Вдоль пологих склонов, с обеих сторон, тянулись блиндажи и огромные, широченные окопы, в которых вровень с землей стояли автомашины, транспортеры, лежали штабеля ящиков, какое-то барахло, дымились кухни, тянулись вереницы канистр (позже я узнал, что в них немцы возили воду). Сколько успел охватить мой взгляд за короткое время, пока мы рысью пересекали лощину (здесь стояло несколько солдат, и они подгоняли беженцев), я увидел, что лощина вся сплошь забита людьми и техникой. А сколько понастроено и понарыто? Вот где надо бомбить! Вот куда они позалезали, как клопы в щели.

Пересекли лощину и приуныли. Потом на нашем пути лежало еще несколько балок, хотя и не таких больших, но все они также были сплошь изрыты блиндажами, окопами, ямами. Кругом люди и техника, люди и техника.

«Так вот кто прет на наш город, — стучало у меня в голове, — вот сколько их... Неужели наши не знают про эти муравейники? Неужели? Не может быть».

Знают. Сюда же прилетали те два «ястребка».

Мы уже еле плелись и все чаще останавливались.

— Надо хоть потихонечку, а идти, — говорила мама, — отдыхать хуже...

Но через двадцать-тридцать шагов ноги останавливались сами. Быстро темнело, и мне казалось, что мы начинаем втягиваться во вчерашнюю страшную ночь. Я, как и вчера, стал засыпать на ходу...

Где-то за нами загудела степь, и я вначале не мог понять, что это. Гул быстро нарастал, и скоро в нем можно было различить натужное пофыркивание дизелей, скрежет и лязг гусениц. Гул накатывался прямо на нас.

Остановились и увидели, что от темнеющего горизонта надвигается пыльный вал. Свернули еще дальше от дороги, в степь, и скоро мимо пошли приземистые угловатые танки с открытыми люками на башнях. В каждом почти по пояс торчал человек во всем черном.

В танках, видно, было жарко. Многие танкисты были простоволосые.

— Давайте подъедем поближе, — сказал я тете Наде.

— Это зачем?

— Посчитаю...

— Я тебе посчитаю, я тебе посчитаю. — И тетя Надя рванула двуколку еще дальше в степь. — Ты сдурел...

Зря я ей сказал. Надо было считать, и все. А отсюда теперь видно хуже. Только силуэты крайних танков можно различить, а те, что дальше от нас, застилает пыль. Видно, какую-то большую часть перебрасывают, наверное, полк, а может, и целую дивизию. Танки идут с севера на юг, с Тракторного в сторону Бекетовки или Красноармейска. Похоже, прижали их там наши. Идут без огней, только иногда на секунду-две вспыхнет где-то узкая полоска света, выхватит из темноты участок дороги, и опять один только надрывный гул моторов да скрежет и лязг гусениц оглашают степь. Вот бы знали наши, что они здесь. Послали бы самолеты и накрыли всех сразу...

Когда танки прошли, я достал свои часы. Шли они почти полчаса. За каждую минуту проходил танк. Я считал. Было два, а иногда и три ряда. Мы тоже не стояли, а шли. За полчаса прошли, наверное, километр, не больше... Вот она, математика, а я не любил ее, убегал с уроков!

Получилось, что прошло семьдесят или восемьдесят танков. А сколько это — полк? Батальон? Ничего, наши определят.

ДЕД ЛАЗАРЬ ИВАНОВИЧ

Еще в хуторе Цибенко мы узнали, что дед наш, Лазарь Иванович, жив. Однако его выгнали из дома, и теперь он ютился в летней кухоньке-землянке. Я знал эту развалюху, выложенную из самана, с земляным полом, где почти все место занимали русская печь и плита.

К Гавриловке подходили на следующий день часов в одиннадцать утра. Опять светило солнце, была теплая погода, какая нередко устанавливается в наших краях в октябре, и я еще с бугра увидел дедушкину избу на два окна — с распахнутыми голубыми ставнями, под тесовой крышей. В Гавриловке немного изб из дерева. Большинство слеплено из самана, а крыши крыты соло-

мой или камышом, который в изобилии растет по берегам маленькой и петляющей речушки Червленой. К ее правому берегу и прижалась Гавриловка — небольшое село на три или четыре десятка изб. За селом построили МТФ (молочнотоварную ферму). Раньше здесь высилась силосная башня и металлический ветряк, который качал из речки воду для коровников. Сейчас силосной башни не было, а ветряк согнут. Дома же, кажется, все целы.

Спускались с небольшого взгорка, тележка катилась сама, а мы все жадно всматривались в подобие двух улочек, которые шли от заросшего камышом берега речки. В селе пустынно. Несколько человек у коровников МТФ. Там же приткнулись к самым стенам несколько крытых брезентом автомашин. Позже заметил такие же машины и в самом селе. Все они лепились к стенам, и их сразу нельзя было различить.

Перед домом деда стояли две легковушки, одна совсем крохотная. Автомашины таких размеров я еще никогда не видел. Это был «опель-кадет», как я узнал позже. Машина мне так понравилась, что я прозевал, когда со двора вышел дед. Тетя Надя и мама с плачем пошли ему навстречу и чуть не насмерть перепугали старика. Он даже попятился от них, будто не хотел слышать, что они собирались говорить, а когда увидел, что все мы живы и все перед ним на своих ногах, то закричал на своих взрослых дочерей, будто они были детьми:

— А ну, цыц, сейчас же цыц!

Он стоял простоволосый, в своей синей старенькой рубахе навыпуск и солдатских хлопчатобумажных штанах-полугалифе, в галошах на босу ногу. В серых всклокоченных волосах стало еще больше проседи, а его «калининская», небольшая бородка совсем побелела. Глаза у деда слезились, он, кажется, еще хуже стал видеть. Я был рядом, а он смотрел через меня куда-то вдаль, где дорога сливалась с осенним небом, будто хотел понять, откуда мы свалились.

— Ну хватит, хватит хлюпать, — уже не сердито прикрикнул он на своих дочерей, подошел к двуколке и покатил ее к кухне. Дед повез ее не через двор, где стояли автомашины, а в объезд, со стороны огорода. Здесь была протоптана дорожка к кухне, и, когда Сергей с Вадиком захотели пройти через двор, он остановил их.

— Туда не надо, — сказал. И, тяжело вздохнув, добавил: — Тут теперь свои порядки.

По тому, как дед один, без особого напряжения вез нашу тележку по грядкам вытоптанного огорода, было видно, что в нем еще осталась та сила, которая раньше поражала всех. Деду уже перевалило за восемьдесят, а он до последнего времени работал в колхозе конюхом и управлялся с самыми свирепыми лошадьми — выездными жеребцами. Мне почему-то казалось, что дед наш был всегда вот таким, каков он сейчас. На японскую войну 1905 года его не призывали в армию — он был старым. Дед родился крепостным и два года прожил, как сам шутил, «в крепости».

Наша мама родилась, когда деду было тридцать шесть. Она помнит двух братишек, семи лет и девяти, которые умерли в один год от оспы. Позже рождались девочки — четыре мамины сестры. Дед негодовал, ему нужны были сыновья-помощники, а не девки, на которых, как он говорил, «царь не давал земли». Пять девичьих ртов разорили его, как он говорил, «вдрызг». Дед бросил хлебопашество и ушел в город на «чугунку». Сначала работал сторожем, а потом стрелочником.

Дед был упорным человеком: здесь у него родилось два сына. Он воспрянул духом и вернулся в село — «за земельным наделом на сыновей». Хотел получить и третий надел, но сорвалось — родилась дочь. Это была тетя Надя. Шел уже 1914 год, и нашего упрямого деда, видно, остановила война. Ему было пятьдесят четыре, он девять раз менял свое местожительство и построил своими руками семь домов.

...Дед подкатил двуколку прямо к двери летней кухни и неторопливо стал развязывать веревку. Проснулась и заплакала в своем корыте Люся. Лицо деда расплылось в доброй, теплой улыбке, которую я так любил. Он почмокал губами, но Люся закричала еще сильней: наверное, испугалась его бороды.

— Не солдат, — добродушно сказал он и стал снимать и носить узлы в кухню.

Слово «солдат» у деда было высшей похвалой человеку. Он даже когда хотел сказать добрые слова о женщине, то говорил «солдат-девка» или «солдат-баба». Я бросился помогать деду. Он улыбнулся, обнажив беззубый рот, и положил мне на голову свою чугунную руку с негнущимися пальцами.

— Натерпелись?

Я кивнул. За три этих долгих, как годы, месяца нас

никто, ни один человек не пожалел, потому что мы жили среди таких же горемычных, какими были сами. Живые жалели только мертвых, а тут вдруг это участливое и тихое, как выдох, «натерпелись»... Глазам моим стало горячо, я отвернулся. Дед взял у меня из рук узел.

— Ты, Андрюха, отдохни. Прибился ведь с дороги, вон даже хромать стал...

— У него осколок вот здесь, — выпалил Сергей и хлопнул себя сзади по штанам.

— Не здесь, — обиделся я. — В бедре он.

Беззубый рот деда опять весело приоткрылся.

— Фу-у ты, я тебя враз на все четыре поставлю. Коней тут раненых взялся выхаживать. Целый лазарет у меня. — И он кивнул на низкий сарайчик в конце двора. — Корову и всю живность эти супостаты порешили, так я теперь там коней держу.

— А где ж вы их берете, тато? — спросила тетя Надя.

Меня вдруг развеселило это странное слово «тато». Так тетя Надя и моя мама иногда называли своего отца.

Дед говорил, что много раненых коней бродит по степи.

— Приходят в село, смотрят в глаза и только что не скажут — люди, мол, добрые, помогите.

Через час мы с дедом уже «возжались», как он говорил, в конюшне. В тесном сарайчике, где раньше была корова, теперь стояли три лошади. Резко пахло карболкой, она заглушала все другие запахи конюшни и даже густой пряный аромат отвара трав, который дед принес из кухни. Он вынимал из чугуна пучок разваренной травы и осторожно промывал рану на ноге рыжего Дончака. Конь послушно стоял, только время от времени поднимал и опускал раненую ногу да нервно подрагивал чистой атласной шерстью.

— Потерпи, хороший, потерпи, умница, — приговаривал дед, макая пучком в отвар и мягко проводя по правой передней ноге коня. Рана была выше колена, она уже затягивалась, оставалось сантиметров десять рассеченной кожи. Дед отбросил пучок травы, зачерпнул со дна чугуна пригоршню разваренной зеленой кашицы, аккуратно разровнял ее на белой тряпице и стал запихивать в рану. Конь недовольно замотал головой, переступая с ноги на ногу.

— Подай-ка! — Дед указал глазами на полоски тряпок.

Я подхватил их с пола. Это была разрезанная вдоль солдатская обмотка.

— Давай бинтуй, солдат.

Когда мы обмотали ногу коню, я метнулся из конюшни и принес охапку бинтов и салфеток. Дед восхищенно осмотрел их, а потом отодвинул в сторонку.

— Да чего там, у нас этого добра много, — сказал я.

— Нет, это для людей, — решительно повторил он, и мы опять стали бинтовать другого коня обрезком солдатской обмотки. Я знал о любви деда к лошадям. О ней в нашем доме ходили легенды. Когда он куда-нибудь уезжал, в его «торбу» клали хлеб или другое что из «печева» и приговаривали: «Деду и коню».

Дед ничего не жалел для коней, а сейчас вдруг пожалел какие-то бинты. Значит, что-то стряслось. Мы закончили наше «лекарьство», и дед, хитро сощурив свои слезящиеся от едкой карболки глаза, весело сказал:

— Ну а теперь давай тебя...

Сергей с Вадиком захохотали. Оказывается, и они пришли в конюшню, а я так увлекся работой, что не заметил мальчишек.

Нет, с нашим дедушкой явно что-то произошло. Когда мы уходили из конюшни, он вынул из кармана белую тряпицу, которую носил вместо платка, и завернул в нее хрусткие пакеты бинтов и салфеток.

— А еще что у вас есть?

— Риванол, — ответил я и пояснил: — Такое лекарство от ран, в порошке.

— А еще что?

— Инструмент медицинский. Санитарную повозку разбило. Двуколка наша из нее...

Дед даже крякнул от восторга.

— Ты мне покажешь все. — Он завязал концы тряпицы, подержал узелок на широкой ладони, будто взвешивая его, и, поднявшись на свои короткие, так и не распрямившиеся в коленях ноги, сказал: — А теперь, хлопчики, пошли доводить до ума вашу двуколку. Мы ее под Дончака справим. Его уже запрягать можно.

До самого вечера дед возился с нашей тележкой. Он вытесал и приделал ей настоящие оглобли, сбил ящик и даже впереди него приделал лавочку для сидения. Потом достал старый хомут, седелку, вырезал из

старой кошмы потник. Стачал из двух солдатских ремней чересседельник, а вот вожжи были из веревки.

— Как у бедного цыгана, — весело подмигнул он нам. — Ну да ничего, разживемся и вожжами хорошими. Завтра в Парасочкину балку съездим, там всякого добра...

Стемнело, когда была готова «вся справа», — так дед назвал сбрую для Дончака. Он еще раз проверил упряжь, прокатил по огороду двуколку, а потом не утерпел и вывел из конюшни Дончака. Конь чуть-чуть прихрамывал, но шел в узде охотно.

У деда был наметанный глаз. Упряжь пришлась Дончаку впору. Сергей и Вадик взобрались в ящик двуколки, и дед, держа лошадь под уздцы, прокатил их за двором. На его приглашение прокатиться с ними я обиженно ответил:

— Не маленький.

Дед, словно заглаживая свою вину, поспешно сказал:

— И правда, мы с тобой завтра делом займемся.

Он выпряг Дончака и повел его в конюшню, а нам приказал идти в кухню.

День прошел, а я еще не видел села. Мы так закрутились в делах с дедом, что только сейчас вспомнил про немцев. Ведь они не только в селе, но и в дедовом доме. Но немцы здесь были какие-то странные — они словно не замечали нас. К дому то и дело подъезжали легковушки. Из них выходили офицеры (у одного были какие-то чудные, плетеные погоны), все они видели, что мы что-то мастерим во дворе, чем-то заняты, но никто даже не поглядел в нашу сторону.

Вечером за ужином я сказал об этом деду, но он тут же возразил:

— Ты, Андрюха, осторожней ходи-поворачивайся. Не смотрят потому, что за скот нас всех считают. — Дед помолчал, пожевал своим беззубым ртом и добавил: — Да и хвост им там, в городе, видно, прижали, не до нас сейчас. А когда в августе пришли сюда, куда какие прыткие были, а теперь морозы начинаются. Где какой шарф, где какая поддевка из кожушины, носки шерстяные — все забирают. А первое — платки бабьи, пуховые, наматывают на себя...

Мы слушали деда молча, только изредка мама или тетя Надя спрашивали у него о ком-либо из деревенских знакомых, но дед отвечал односложно, будто не хо-

тел отвлекаться от своего рассказа о «новом порядке» (он так и сказал: «новый порядок»), какой здесь завели оккупанты.

— Колхоз они вроде бы разогнали и вроде б он есть. Старшим у нас теперь Митька Кривой. Счетовод наш.

— Прибытков, что ли? — переспросила мама.

— Он. Так в своей конторке при счетах и сидит. Они его старостой величают, а он сердится. Да... — Дед опять делает паузу. — На работу люди ходят. Сначала выгоняли, а теперь идут охотно. Все больше за колосками... Сколько кто соберет — все домой и тащат. Попервах-то, когда в колхозный амбар сдавали, так охотников мало было: тот больной, тот слепой, — не видит колосков, а теперь и малый и старый все с утра в поле. Приезжал тут какой-то важный немец из Карповки. Митька говорил — ихний комендант. Так ходил и каркал: «Арбайт карашо, арбайт карашо». Всем надо работать, говорил. Всем. Митька у него за толмача. Он же в германскую у них в плену был. Там и глаз свой потерял. Так вот, кое-что вспомнил по-ихнему и тоже лопочет. Немец тот сказал ему, что будут они всех нас, русских, учить работать, а кто не захочет, тех постреляют. А Митька ему тоже по-ихнему: «Карашо, карашо». Немец-то и уехал с тем, с чем приехал. А Митька собрал всех односельчан и говорит: «Домой носите колоски. Домой. Зерно надо сушить, а в амбаре оно погнить может, да и мыши...» — Дед хитро улыбнулся и подмигнул мне. — Теперь колхозный амбар у каждого дома. Митька даже и трудодни за работу начисляет. Всякая работа, говорит, свою оплату должна иметь. Отчаянный мужик оказался.

— Ну а если немцы собранный хлеб потребуют? — спросил я.

— А сколько там того хлеба? — опять загадочно улыбнулся он. — Много ль по колоску-то наберешь... Да и в амбаре у Митьки немножко есть, гниет... Вот завтра поедем на эту работу. Ртов-то теперь вон сколько. — И он весело повел глазами по кухне.

— А сколько ж за день набирают? — спросила мама. — Вот мы все поедем — и сколько?

— Да попервах-то много... выходило и по полмешка и по мешку семьей набирали. Уборка-то какая была, через пень-колоду. Многие поля и вовсе остались. Так что хлебом запаслись кто попрытче.

Ночью я лежал под старым дедовым тулупом. Постелью была солома, которую мы насыпали на земляной пол кухни. Тело жгли блохи (сколько же здесь этих тварей?). Через неплотно прикрытую дощатую дверь заползла леденящая сырость. Маленькая Люся, Вадик, Сергей и с ними тетя Надя спали на одной койке. Вадик оглушительно кашлял, Люся время от времени вскрикивала и, хныча, жаловалась:

— Меня кусают. Кусают...

Как только мы легли, я сразу уснул, будто провалился в яму, а сейчас проснулся — тело будто огнем жгло, да и сырой холод донимал, ужом полз по земляному полу и забирался под овчину. Лежал без сна, ворочался с боку на бок и думал, что ж это за люди, которые пришли в наш край и устанавливают здесь свой «новый порядок». Кто они, если всех других считают ниже себя и смотрят на нас как на рабочий скот? Кто вот тот немец с плетеными погонами и что он думает про всех других, про меня, про маму, про деда? Неужели он нашего деда, который всю жизнь трудится и все умеет делать, собирается учить работать?

ЗА КОЛОСКАМИ

Дед осторожно трясет меня за плечо, я слышу его ласковый, бархатный голос:

— Андрю-ю-х-ха, Андрю-ю-х-ха, вставай.

А мне снится, что я на рыбалке, в ночном. Когда мы приезжали в Гавриловку летом к деду в гости, всегда просили, чтобы он пошел с нами, мальчишками, в ночь на рыбалку. Дед любил ловить рыбу, у нас к столу всегда была рыба. Не раз дедушка привозил ее и нам, в город. Завернет в мокрую тряпку линей и карасей, и они у него живые до самого нашего дома, а вот ночью с нами идти рыбалить не соглашался.

— Ночью надо спать, — отшучивался он, — а рыба будет ловиться сама.

И она у него всегда ловилась. Мы просыпались, продирая глаза, выбегали на крыльцо к кадушке с водой, а там плавали холодные скользкие лини, широкие золотистые караси и черноспинные, быстрые, как молнии, щуки. Дед ловил рыбу в Червленой вентерями, а для нас, «для баловства» на земляной крыше кухни, которая поросла травой, держал удочки с огромными ржавыми крючками и толстыми лесками, сплетенными из

конского волоса. Вентери у него часто воровали, он, чертыхаясь, иногда седлал лошадь и ехал по петляющему руслу Червленой искать пропажу, но чаще садился и плел их заново.

И вот теперь мне снилось, что мы в ночном, на рыбалке. К утру всех сморил сон, и мы улеглись у костра. Вначале было холодно даже под дедовым тулупом, а сейчас костер разгорелся, чувствую, как в лицо пышет жаром. Ох, как не хочется подниматься, а дед трясет, трясет за плечо.

— Вставай, вставай, Андрю-юх-ха...

Я на рыбалке, наконец-то дедушка согласился взять в ночное. Как же это здорово! Но только еще бы чуть-чуть поспать, пусть поднимется солнце и подсушит холодную росу...

Открываю глаза, и волна той радости, теплой мальчишечьей радости, которая захлестнула меня с ног до головы и которую так боялся расплескать, сразу обрывается.

Жарко горят кизяки в зеве печи, мама их мягко помешивает ухватом, собираясь сунуть туда большой, ведерный чугун. Сергей и Вадик уже встали. Я опять в том же проклятом мире, который занесла сюда, в тихую Гавриловку, война. А ее притащили к нам вон те люди в лягушачьей форме, которые бродят по двору. Вижу их через единственное окошко в кухне. Больше года война катилась впереди них по нашей стране, а теперь — и она и они здесь.

— Просыпаемся, и горе просыпается вместе с нами, — кому-то говорит мама.

— Дедушка, а рыбу ты теперь ходишь ловить? — неожиданно спрашиваю я. Дед не удивился моему вопросу.

— Нет, теперь не хожу.

— Вентери украли?

— Припрятал, да шест пропал. Вода стала холодная, а без шеста не поставишь...

— Я сплаваю, — отзывается Сергей. — Я уже ставил, правда, дедушка?

— Правда, правда, — положил ему на голову ладонь дед, — ты уже большой. — Если вода выгреется в речке, то можно и сплавать. День вроде сегодня разгуливается.

— Я тебе сплаваю, я тебе так сплаваю, — зашумела мама, — что не будешь знать, на что садиться. И вы,

тато, как маленькие. Какая сейчас речка, какая рыбалка?

Дед смешно, как птица крыльями, замахал руками и, заговорщически подмигнув нам, «вылетел» из кухни во двор. Мы все прошмыгнули за ним, даже маленькая Люся заспешила вслед, но у самого порога ее поймала тетя Надя. Однако Люся заревела так, что нам пришлось возвращать Вадика, чтобы тот ее успокоил: только Вадик находил на нее управу.

За завтраком дед сказал, что дома остаются мама и Люся, а мы все едем собирать колоски.

— Двуколка добрая, на ней далеко можно уехать. Мы вас оставим, а сами с Андрюхой поедем на ячменное поле. Коням ячмень нужен.

— Сейчас людям нечего есть, а вы за коней, — начала мама. Но дед сердито оборвал ее, дав понять, что здесь хозяин он — как скажет, так и будет.

Выехали за село, свернули с наезженной и разбитой машинами дороги на заброшенный, поросший травой проселок, и нашего Дончака словно подменили: он перешел на размашистую рысь и даже перестал прихрамывать. Дед захохотал.

— Смотри, Андрюха. Он у тебя научился: знает, когда хромать.

Я хотел обидеться, но у деда было такое смешное, лукавое лицо, что я тоже рассмеялся. Дед, как заправский ездовой, по-турецки скрестив ноги, восседал впереди и в одной руке, внатяжку, держал вожжи. Видимо, эта езда доставляла ему еще большее удовольствие, чем нам, мальчишкам. Вот только вожжи веревочные подводили, но и их дед держал по-особенному, ухарски.

Мне вспомнилась смешная семейная история. Когда дядю Ваню избрали председателем колхоза, дед, уже года три возивший старого председателя, не захотел расставаться с «выездными» лошадьми, которых он вырастил. Дядя Ваня, в свою очередь, не мог позволить, чтобы отец был у сына кучером. Нашла коса на камень.

По полям колхоза и в соседние села дядя Ваня ездил верхом или в пролетке, хотя это, с точки зрения старых колхозников, унижало его председательское достоинство, а вот в район или в город ему обязательно нужно было ехать на «выездных, правленских» лошадях.

— Какой же ты председатель, если приедешь верхом

или в пролетке на одном коне? — говорили колхозники. — Тебя и слушать никто не станет. Тут надо подкатить не меньше чем на паре вороных, и чтобы пена изо рта, и кони как огонь, на вожжах не удержишь. Вот тогда ты хозяин, тогда председатель!

В колхозе были такие кони, но дед их никому не доверял. А раз дед сказал, значит, все. Он не только был старшим в селе, но еще ходил в «вечном колхозном начальстве». Председатели, бригадиры менялись часто, а вот деда как выбрали в 1929 году в первое правление колхоза, так он и оставался его бессменным членом. Список каждого нового правления колхозники начинали со старшего конюха Лазаря Ивановича Четверикова. И только в последние годы дед попросился в рядовые — кучером на «правленские, выездные» и отсюда никуда не хотел уходить, несмотря на скандалы в доме.

Конфликт разрешался всякий раз так. Когда дяде Ване нужно было ехать в район или в город, он говорил деду:

— Запрягайте!

(В семье деда, да и в нашей, родителей называли только на «вы».) Дед запрягал «своих, как огонь, жеребцов» и лихо подкатывал к правлению колхоза. Дядя Ваня выходил из конторы и предлагал отцу пересесть с кучерского облучка на его, председательское место. Дед не спешил.

— Вот простынут, тогда и пересяду. Смотри, еле сдерживаю.

— Надо было на базу выгуливать, — сердито замечал дядя Ваня.

— Выгуливал.

У правления собирались любопытные, начинали подавать ехидные советы. Дядя Ваня прыгал к отцу на облучок, и нетерпеливые правленские кони в клубах пыли уносили председательскую тачанку.

Домой дед всегда возвращался, развалившись на мягком председательском сиденье. Он дремал.

— Кого везешь, Иван Лазаревич? — снимая шапки, подшучивали старики. — Уж не отца ли нашего председателя?

Дядя Ваня тоже не лез за словом в карман, но домой приходил злой.

— Вы хоть бы одевали его поприличнее! — кричал он, сердясь на мою бабушку, свою мать. — Где его одежда нормальная?

— Да я ему не говорю, что ли, вот она лежит, — отвечала бабушка. — Так ему ж хоть кол на голове теши.

— И не буду выряжаться, — взъярялся дед. — Я при конях.

— Так стыдно ж, как старца какого везу.

— Я при конях, мне не стыдно, — повторял дед. — А кому стыдно, пусть пешком ходит.

Когда дядю Ваню уже перед самой войной избрали председателем сельского Совета, говаривали, что Лазарь Иванович перевел Ивана Лазаревича на другую работу: мол, тот ему не понравился.

А дед так и остался конюхом при своих «выездных, правленских» конях.

— Дедушка, а где твои выездные сейчас? — спросил я.

— В Красной Армии служат, Андрюха. Сразу ж, как война объявилась, их и забрали. Добрые были кони... Дончак наш тоже строевой, да, видно, в перипетию попал...

Мы уже были километрах в трех за Гавриловкой, на той стороне Червленой. Речку переехали вброд в километре ниже села и теперь выехали к полям, где колхоз сеял пшеницу. Поворачивая из стороны в сторону свою исхудалую, морщинистую шею и оглядывая изрытые окопами поля, дед сокрушался:

— Что творится, что творится. Так испоганили землю.

Когда выбрались на край пшеничного поля, дед распорядился:

— К окопам близко не подходить! К той балочке тоже не надо. Там мины могут быть. Собирать только по бугру. Хоть и меньше колосков, зато надежнее.

Дед снял с повозки брезент и расстелил его на стерне. Потом сбросил на него мешки, наши сумки, корзинку с харчами, бачок с водой и какую-то странную палку. Даже две, но сцепленные сыромятным ремнем. Одна длиною в мою руку, другая в полруки.

— Что это?

— Цеп.

— Цепь? — удивился я.

— Цеп, — поправил дед, но я не понял. — Вот наберем колосков, тогда объясню, — добавил он и, накинув на шею лямку здоровенной, вполмешка, сумки, бросил: — Пошли.

— Это цеп, — шепнула мне тетя Надя. — Им молотят зерно.

Мы подхватили свои парусиновые сумки с такими же, как у деда, лямками и пошли вслед. У Вадика была сумка от противогаза. Еще дома я облюбовал ее себе, но дед высмеял меня:

— Что ж ты детячью берешь? Сереге отдай. А тебе вот. — Он достал большую сумку из крепкой мешковины. — Эта мужицкая.

Но Сергей тоже отказался от «детячьей», и теперь с ней щеголял Вадик. Он был довольнёшенек. Вышагивал впереди деда и повторял:

— Я командир, я командир!

Однако дед скоро урезонил его:

— Ты, командир, колоски пропускаешь. А ну, иди сюда. Смотри, сколько их здесь. Видишь, а ты прошел.

Так они шли, старый и малый рядом, и старый учил малого, как люди добывают свой хлеб.

Это, пожалуй, был самый легкий из всех существующих способов добычи хлеба и, может быть, больше всего подходивший для нас, мальчишек. Хлеб уже выращен кем-то, а ты только иди, подбирай колоски и клади в сумку, которая мягко постукивает тебя по коленям.

Вначале сбор колосков вообще шел как игра. Вадик и Сергей бегали по полю и выхвалялись друг перед другом и дедом, кто сколько набрал в сумку. Показывали, какие большие колоски им удалось найти, но потом и они уморились и уже ходили, как и мы, молча, подолгу оставаясь на корточках, делая вид, будто сидя ищут колоски.

К обеду, высыпав из своей сумки на нагретый солнцем брезент колоски, дед разгреб весь наш общий сбор, чтобы он лучше проветривался и просыхал, потом объявил:

— Полпуда добрых будет. Теперь, работнички, отдыхайте, готовьте обед, а мы с Андрюхой подскочим до Кривой балки, глянем, что там эти супостаты от ячменей оставили.

Я сдернул с ящика двуколки уздечку и побежал в конец поля, к лощине, где пасся спутанный Дончак.

Конь покорно опустил ко мне голову и дал надеть уздечку и даже легко разжал зубы, чтобы я вставил удила. Потом он так же покорно подождал, пока я развяжу у него на передних ногах путы. Когда все было го-

тово, Дончак бойко тряхнул головой, будто приглашая меня: ну а теперь давай садись!

Сергей и Вадик чуть не умерли от зависти, когда я подскакал к ним, и закричали, бросаясь к деду:

— Нас тоже, нас тоже верхом.

Доскакать-то я доскакал до нашего «стана», а вот с коня меня уже снимал дед. Левая штанина опять намокла. Тетя Надя уложила меня на брезент и стала разматывать бинт. Дед растерянно топтался рядом, приговаривая:

— Ах ты ж, батюшки. Да чего ж тебя понесло, казак несчастный. Чего? И я-то старый...

Дед впервые увидел мою ногу в крови и испугался, а я молчал и даже начал изображать на лице «геройское страдание». Пусть, мол, видит и не подсмеивается!

Но тетя Надя тут же испортила мой спектакль.

— Хватит рожу корчить, а то еще ниже спущу штаны да как отстегаю вот этим кнутом. Прешь, куда твои очи не лезут. — И, повернувшись к деду, успокоила его: — Ничего страшного, тато, нет. Тут и ранка-то с мышиный хвостик. Поглядите. Все уже зажило, так он опять, негодный, расковырял.

Дед немного успокоился, но на мои просьбы ехать с ним к Кривой балке и искать ячменные поля отказался.

До вечера собирали колоски и, как за ужином объявил дед, «набрали больше пуда чистой пшеницы».

БОЙНЯ

Дед разрешил мне «пробежаться по селу» со строгим наказом не ходить к окопам и траншеям. Раньше, когда еще была жива бабушка, мы со старшим братом Виктором, а когда подрос Серега, то и с ним, каждое лето приезжали в Гавриловку.

Поездки к деду были самыми светлыми и радостными днями в нашей жизни. Мы ждали их с самой зимы. Речка, рыбалка, вольный, не родительский режим дня, всегда свежая и вкуснющая деревенская пища — чего еще могут желать ребята в каникулы, которых ждешь как манны небесной.

Но четыре года назад умерла бабушка, и наши поездки оборвались. Странное дело, мы всегда ездили к деду Лазарю Ивановичу и никогда не говорили, что едем к бабушке. И вдруг оказалось, что дом держался не на

деде, а на бабушке. А раз ее нет, то некому за нами и присмотреть, некому и позаботиться.

Мы бунтовали.

— Да что за нами глядеть, мы сами...

— И кормиться будем сами. Молока и хлеба, рыбы у деда полно...

Но родители сказали «нет». Нас с Сергеем свозили в Гавриловку за эти четыре года только раз. И то мы пробыли там недолго.

Я, конечно, растерял здесь своих друзей, стал забывать деревенскую жизнь и сейчас шел по селу с каким-то странным чувством, будто возвращался в чужую страну детства, про которую мне когда-то рассказывали или она недавно снилась, и я теперь силюсь вспомнить ее, далекую и желанную.

У старой фермы маячили люди, а у самой реки стояло несколько здоровенных крытых грузовиков.

Немцы!

Я остановился. Скоро увидел, что из помещения фермы выбежали две женщины и понесли что-то тяжелое в ведрах. Потрусили они далеко, метров за триста, к самому оврагу. Там оставили свою ношу и налегке побежали обратно.

Чуть поодаль, между фермой и грузовиками, вдруг словно из-под земли появилась ватага мальчишек. Они, видно, лежали в бурьяне, а сейчас поднялись и направились туда, куда отнесли свою ношу женщины. Чем же они там занимаются? Постоял, постоял и пошел к ним.

Конечно, я никого не знал из них, как не знали и они меня. Один был совсем взрослый парень, только низкий ростом и худой, поэтому его и нельзя было отличить от других. Но я обратил на него внимание сразу. Мальчишки тоже меня заметили, но каждый молча занимался своим делом.

А дело у них было странное. Сколько я ни смотрел, никак не мог понять, что же делают. Разматывают не то веревки, не то ремни и складывают их обрывки в ведра и тазы.

Сделал еще несколько шагов и увидел, нет, скорее догадался по резкому запаху, что это никакие не веревки. Оказывается, ребята возились с внутренностями скота. Женщины выносили их в ведрах, а ребята что-то выбирали из этих отбросов и складывали в свои посудины.

— Ты чего уставился? — не разгибая спины, повернул голову лобастый русоволосый крепыш. Он, видно,

на год или два был старше меня. Другие ребята моего возраста, а может, и немного меньше. Их было семеро.

Я молчал.

— А откуда ты, пацан? — спросил старший.

— Да к деду Лазарю Ивановичу они приехали, — ответил за меня лобастый. — Городской. Видишь, губы воротит.

— О-о, — оживился старший и, бросив возиться с кишками, подошел ко мне. — Давай в нашу компанию, мы тебя быстро научим.

— Дело нехитрое! — захохотал кто-то из пацанов.

— Только снимите, мистер-твистер, свой парадный фрак, — поддержал его другой.

— Хватит, хлопцы, — повернулся к ним старший. — Видите, перепугали парня.

— Зачем вам это? — наконец выдавил я.

— Пропитание добываем...

— А разве это едят?

— Еще не то едят. А это пальчики оближешь...

Через четверть часа, засучив по локоть рукава, я уже возился с ребятами. Старший, его звали Юрием (значит, он тоже городской, в деревне таких имен не дают), поручил мне «интеллигентную» работу. Я сдирал с требухи пленку и комочки жира, аккуратно складывая их в миску. Если женщины приносили нам теплые внутренности от только что забитой коровы, то работа шла споро: жир легко отделялся, а кишки мы мгновенно выворачивали наизнанку, как чулки, и, вытряхнув содержимое, кидали в ведра. Оставалась, правда, самая противная работа — мыть все это в речке, но мальчишки откладывали такое напоследок. К тому же у всех была надежда, что скоро освободятся женщины и сделают это сами.

Всю нехитрую премудрость «добычи пропитания» таким способом я освоил за час работы. За этот час я узнал всех мальчишек, узнал, кто те женщины, и в этот же час мне надоело сдирать пленку и вылавливать скользкие комочки стынущего на ветру говяжьего жира. Я предложил лобастому Ваське пойти и посмотреть, что происходит в помещении фермы. Васька нерешительно пожал плечами, точно раздумывал.

— А чего? — подзадорил я его.

— Давай спросим у тетки Вари, — решился он. — Если там словаки, то можно.

— Кто?

— Ну, словаки, здешние солдаты, они не немцы и по-русски понимают.

Мы побежали к ферме. Издали казавшееся пустынным и мертвым помещение жило своей, напряженной и какой-то бездушно-железной жизнью. Из загона каждые семь минут (я даже засек по часам) на помост перед входом в помещение заводили корову или телка.

— Вот гады, — прошептал Васька, — наш колхозный скот потрошат...

— А зачем вам столько этого добра набирать? — кивнул я в сторону оврага, не зная, как точнее назвать то, что мы собирали в ведра.

— А это на всех, у каждого семья. И еще соседям дадим... — Видя, что меня все равно не удовлетворило его объяснение, Васька опять пожал плечами и нерешительно добавил: — Потом Юрка себе больше всех нас берет. Жир мы ему тоже весь отдаем.

— А почему?

Васька, будто спохватившись, зло глянул на меня.

— Не почему! Много будешь знать, скоро состаришься.

— Да я ничего, я так, — обиженно проговорил я, не зная, какая это муха укусила моего нового друга.

От фермы шли, не разговаривая, точно поссорившись. Странный парень. То сам рассказывал, а то вдруг осекся, будто его кто за руку схватил.

Уже когда пришли к ребятам и опять принялись за невеселую работу, Васька сказал:

— И тебе требухи дадим.

— Мне не надо.

— Это ты у матери спроси, богач нашелся.

— Все равно не надо.

Я и Юрию, когда мы возвращались в село, сказал, что ничего себе не возьму, а он почему-то никак не прореагировал на мой отказ. Только отозвался «ладно», а потом, видимо, заметив мою обиду, добавил:

— Ладно, мы с Лазарем Ивановичем тут решим.

Юрий расспрашивал про город. Как там и что? Я понял, что Сталинград и ближайшие к нему поселки и хутора он знает хорошо. Значит, здешний.

— С окопов сюда попал?

— Да-а-а, — как-то неопределенно протянул он и опять перевел разговор на Сталинград. Когда я рассказывал про элеватор, Лысую гору и Бекетовку, у Юры туманились глаза, а потом он не утерпел и спросил:

— А что там, в Бекетовке?

— Держится, — поспешил ответить я, — а это почти пол-Сталинграда. Там же не только Бекетовка, там и СталГРЭС, и Сарепта, и Красноармейск...

— Значит, держатся, — сверкнули радостью глаза Юры, и он повторил: — Держатся. А скоро им совсем крышка. Теперь они уже не те. Не те, Андрей, — зашептал он, — я на них тут насмотрелся. — И вдруг оборвал свой шепот. — Ты сам-то, парень, как? Из семьи-то кто-нибудь воюет?

— Отец и брат, — не понимая, к чему он клонит, ответил я.

— Ну ладно. Ничего. Дед у тебя правильный мужик. Ты давай его держись...

— И держусь, — сердито буркнул я, а про себя подумал: «Тоже мне, заговорщики. То Васька темнил, теперь этот тень на плетень...»

И вдруг неожиданно для себя выпалил:

— Я листовку хочу написать.

— Какую?

— Против немцев.

— А что ж ты напишешь? — Юра уже спрашивал серьезно, хотя и вполголоса. Ребята шли впереди. Юра, видно, нарочно отстал от них для разговора со мною.

Я задумался. Мысль написать листовку пришла мне не только сейчас. Я об этом подумывал всерьез, не знал только, для кого ее писать. Не для мамы же и тети Нади.

— Напишу, что наше дело правое...

— Враг будет разбит, а победа будет за нами, — усмехнулся Юрий.

— Почему? — стараясь быть как можно серьезнее, возразил я. — Напишу...

— Брось глупости! — оборвал меня Юрий, и я почувствовал, что голос у него совсем не мальчишечий. — Ты был в правлении?

— Ну...

— Спрашиваю тебя, заходил в правление колхоза?

— Не-а. А что?

— Вот тебе и «не-а», — передразнил он меня. — Ты зайди и посмотри. Там до сих пор висят плакаты «Смерть немецким оккупантам». Как висели при наших, так и висят. Кривой Прибытков не срывает их, а немцы туда не заходят. Им не до этого сейчас. Нашелся агитатор... — Он чуть не задохнулся от злости. —

Теперь и нам не до этого... — Он опять помолчал и произнес уже успокоенно: — Другое нужно сейчас, совсем другое... Давай ребят догоним, а то бросили пацанов.

Шли все вместе. Мальчишки говорили, что если пошарить по окопам и брошенным блиндажам, то можно найти «сколько угодно оружия».

— Даже здоровенная пушка под Парасочкиным хутором стоит, — сказал Шурка, конопатый настырный парень, который был меньше меня ростом, хотя и сказал, что ему пятнадцать. Врал, наверное. Я уже заметил, что он любит прихвастнуть больше других. — Да, стоит, — продолжал доказывать он, хотя с ним никто не спорил. — В речке застряла. Там и снаряды в ящиках валяются.

— А ты чего там был? — насторожился Юра.

— Да не был, — ответил он. — Я еще тогда видел, как ходили.

— Никто не видел, а он видел, — хохотнул Васька.

— Да, видел. Там она и стоит, недалеко от белых круч...

— Ну хватит, — властно оборвал спор мальчишек Юра. — Каждый должен знать...

Что знать, он не договорил, но все сразу умолкли, а мне опять стало не по себе оттого, что все они то начинают непонятный мне разговор, то вдруг обрывают его. Я даже немного отошел в сторону, но Юра опять заговорил со мною про Сталинград.

Теперь я рассмотрел его окончательно. Конечно, никакой он не мальчишка, а настоящий парень, только худой и бледный. И лицо уже брил, на щеках нет мальчишечьего пуха. Такие уже, наверное, могут и в армии служить, если, конечно, не больные. А слушаются они его не только потому, что он старше. Вон как прикрикнул: «Каждый должен знать!» — и все сразу словно языки проглотили.

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Почти неделю мы прожили сравнительно тихо в Гавриловке. И мое тело, видимо, уже стало забывать те бесконечные бомбежки и артобстрелы. По крайней мере я с каждым днем все больше ощущал в себе какую-то непривычную легкость и свободу, будто из меня все время вынимали занозы, а на моих руках, ногах, мышцах

ослабляли и развязывали шнурки и веревки, которые их опутывали.

За это время только трижды прилетали наши самолеты, но тихая Гавриловка их не интересовала. Они бомбили все ту же Короватку, а вчера наши бомбардировщики на низкой высоте прошли в сторону Карповки (от нас она километрах в двадцати) и там устроили фашистам «веселую жизнь». Бомбежка была утром. И мы, мальчишки, да и все в селе целый день ходили именинниками.

«Но что эти бомбежки? — размышлял я. — Вот если бы они каждый день прилетали, да еще и не один раз, да «катюшами» жахнули. Вот тогда бы... — И тут же возражал себе: — Нет, «катюшами» не достанешь, и дальнобойки не возьмут, от нас до Бекетовки по прямой километров двадцать... И все равно надо бить их. А то живем, словно на курорте. Скоро забудем, как мины и снаряды рвутся. Вон Сережка и Вадик бегают везде и уже не прислушиваются, что где-то стреляют. Только мама и тетя Надя все еще не верят в эту тишину и, как только завидят самолеты, сразу кричат: «Сергей! Вадик! Где вы?» — и готовы бежать...»

А бежать было некуда. У деда не то что блиндажа, даже окопа не имелось.

— А зачем? — говорил дед. — Погреб есть. Всегда в погребах отсиживались.

— Тато, тато, — сокрушенно качает головою мама. — Не видели вы тут ничего. Какой погреб? От кого вы там спрячетесь? От мышей?

И они с тетей Надей в который уже раз принимаются уговаривать деда вырыть блиндаж или хотя бы както приспособить под него погреб. Но дед и слушать не хочет. Не действует на него и такой их довод:

— Немцы вон тоже не дураки, вырыли себе за домом блиндаж.

— Им надо прятаться, а мне чего? Я дома.

А вот сегодняшней ночью бомбили где-то совсем близко. Мне показалось, что один раз взрывы прогремели у молочной фермы (вот бы разнесли немецкую бойню!), так дед нас всех звал из кухни в погреб. Мы с Серегой даже вылезать из-под тулупа не стали. Подумаешь, три бомбы кинули. А дед испугался. Может, не за себя, а за нас, но все равно испугался. Будил, будил нас, а потом выбежал во двор и тут же вернулся в кухню.

— Давайте, давайте в погреб. Там вон супостаты, как хорьки, из дому в подштанниках выскакивают.

Мама и тетя Надя, хоть и неохотно, но поднялись и сидели одевшись, а мы, мальчишки, продолжали лежать. Дед посуетился, посуетился вокруг нас и, не найдя поддержки, тоже присел на лавку и стал почти кричать, что нашим надо еще сильней и чаще бомбить супостатов.

— По балкам, по балкам надо бить, там они, как суслики, на зиму зарываются.

Дедушка раскричался так, что маме тоже пришлось повысить голос. Кончилось это тем, что проснулась Люся (от бомбежек она не просыпалась, только от крика), и тогда дедушка угомонился, затих. Теперь разговаривали мирно, успокоенно. Я слушал приглушенный говор, прерываемый взрывами, которые покачивали ветхие стены кухни, стряхивали с потолка пыль и землю, и думал, что хорошо бы посмотреть, как бежал в кальсонах тот немец, который носил на мундире плетеные погоны. Куда смотрела высокая тулья его фуражки? В небо или в землю? А этот толстяк. Как же он? Выйдет из машины, поднимется на крыльцо и, как рыба, глотает воздух. Вот бы была потеха глянуть на него! А то уставится своими оловянными глазами и кривит толстые, как у сома, губы, будто боится о нас взглядом запачкаться.

Ничего, вы еще побегаете, вам еще отольются и наши слезы, и наши муки, и наши смерти...

Бомбить и палить по самолетам уже перестали, хотя еще и слышался их удаляющийся гул.

Конец октября, мы уже неделю как здесь. Жизнь у нас другая. Вот даже раздетые спим, едим почти досыта (если бы мамы не экономили, то и досыта), не трясемся от страха, Вадик не кричит, как обваренный кипятком, — жизнь совсем другая. Но куда ж она приведет?

— Уже предзимье, — вошел вчера утром в кухню дед и постучал сапогом о сапог, как стучат только с мороза. — В этих хоромах мы не перезимуем.

Все согласились. Не перезимуем. А что? Что дальше? Ждать наших. Они рядом. Вот если сейчас затихнет Люся и все уснут, то можно будет услышать канонаду. Я ее каждую ночь слушаю. Она не удаляется и не приближается.

— Значит, наши стоят.

— И немцы стоят.

А кто такой Юрка? Дурит мне голову, что он из эвакуированных, а сам Сталинград знает как свои пять пальцев. В армии был, да в плен небось попал. По всему видно. А сейчас живет в «примаках» у бабки Прасковьи... Дед говорит, что теперь бывает и такое: прибиваются к семьям чужим. Кто за сына, кто за брата, а кто и за мужа и за отца сходит. Чтоб немцы не угнали в лагерь.

Только чего он от меня-то скрывает, я же ему про все рассказываю. Не доверяет?.. Ходят зачем-то к Парасочкину хутору. Там и хутора-то никакого нет, давно одни развалины. Бросили его все, когда колхоз организовывали, и переехали в Гавриловку. Я видел, как Юра оттуда с Васькой шел, и припер его к стенке. Рыбу, сказал, ходили ловить. А у самих пустое ведро. И дедушка ходил туда два раза. Говорит, у него там вентеря стоят, а рыбы тоже не принес. Харчи какие-то брал у мамы, говорил: на целый день, а пришел через три часа. Меня не взял. В другой раз возьму, пообещал.

Может, сегодня и на ячменное поле не возьмет. Собираемся, собираемся, а у него все дела какие-то...

Нет, дедушка не обманул меня, сдержал слово, и мы поехали к какой-то Кривой балке искать ячменное поле. День выдался холодный, без солнца, дул пронизывающий ветер, и дедушка все время прикрывал мою спину полой своего вытертого старенького полушубка. Когда переезжали вброд речку, я заметил, что в гуще камышей тускло блестит ледок.

— Скоро и Червленая замерзнет, — сказал я, но дедушка поправил меня:

— Это ерик, а не речка. — И, помолчав, без иронии добавил: — Ты должен замечать дорогу, раз в разведчики собираешься.

Степь была густо изрыта окопами, особенно много вывороченной земли у ложбинок, балочек, редких кустиков. Дедушка держался от этих мест подальше, направлял Дончака по колеям подвод или автомашин, которых здесь отпечаталось великое множество. Неожиданно мы увидели вереницу подвод. Дедушка приложил ладонь ко лбу, хотя никакого солнца не было, рассматривал длинный обоз.

— Знаешь, лучше нам с ними не встречаться. — И отвернул Дончака в сторону.

Мы потрусили параллельно обозу, держась от него почти в километре. Ехали туда, откуда шел обоз, и скоро увидели последнюю подводу.

Дедушка повернул ближе к грейдеру. Нам нужно было пересечь его, чтобы добраться до Кривой балки. Дончак так и рвался, поворачивая голову туда, куда уходил обоз, раза два заржал звонко и протяжно, и я впервые услышал его красивый трубный голос строевого коня. Наверное, за это ржание дедушка стегнул его кнутом и сердито прикрикнул.

Поехали быстро, без опаски, и вдруг откуда-то, скорей всего из балочки, вынырнула отставшая подвода, и мы оказались метрах в ста от нее. Рядом с подводой шел высокий солдат в фуражке. На телеге, повернувшись к нам спиной, сидел немец в шинели, видно офицер. Его внимание привлекло ржание Дончака. Он проворно соскочил на дорогу и что-то закричал солдату, указывая на нас. Тот сразу придержал своих коней и замахал руками, подавая знак остановиться и нам. Но дедушка, будто и не заметив его, продолжал ехать, только немного отвернул Дончака от грейдера. Солдат сердито бросил вожжи на подводу и закричал еще сильней. Офицер свернул с грейдера, прыгнул через кювет, намереваясь бежать за нами, но потом раздумал и что-то крикнул солдату.

— Все, отъездились, — растерянно повернулся ко мне дедушка.

Обозник схватил с подводы винтовку и побежал к нам. Мы остановились, а он все еще бежал, выкрикивая и размахивая винтовкой.

Обознику до нас оставалось метров двести, и немец-офицер, считая, что дело сделано, с минуту постоял, посмотрел в нашу сторону и тут же вернулся к своей подводе.

— Коня, супостат, приказал забрать, — опять простонал дедушка и стал лихорадочно озираться по сторонам, будто искал место, куда укрыться.

Обозник подошел к нам. Это был молодой, крепкий мужик лет двадцати пяти, с большим черным чубом и красивыми темными глазами, в которых, как мне показалось, светилась радость. Он миролюбиво махнул нам рукой, приказывая слезать с двуколки, подошел к ней, сунул руку под подстилку и мешки, на которых мы си-

дели и, не гася в глазах радостного удивления, от того, что ему попалась такая добыча, подошел к Дончаку.

Дедушка уже стоял на земле, но вожжи из рук не выпускал, а солдат обходил лошадь и похлопывал ее то по крупу, то по холке, то по шее и весело прищелкивал языком. Потом он положил винтовку на бугорок и подошел к оглобле, за которую был завязан чересседельник.

Лазарь Иванович умел завязывать узлы. Обозник подергал, подергал за ремень, а потом полез в карман, скорей всего за ножом. Я хотел было слезть на землю, но дедушка моргнул мне, чтобы не шевелился. Солдат что-то мешкал, не то не мог найти ножа, не то ему жалко было резать ремень. Дедушка чуть повел головою в сторону удалявшегося обоза и того немца, который уже трусил вслед ему на своей подводе, перевел взгляд на винтовку и вдруг, вскочив одной ногой на оглоблю, прыгнул в двуколку.

Дончак сразу рванулся в галоп, но солдат из обоза успел ухватиться за край ящика и повис на нем. Передо мною было его смеющееся лицо и те же веселые глаза, будто он играл с нами. Он начал заносить согнутое колено в ящик, но я ударом ноги сшиб его. Он перестал смеяться и сердито закричал. Я ударил его в плечо. Дедушка на минуту оглянулся и направил Дончака через сусличьи бугорки.

Наша колымага запрыгала и чуть не перевернулась. Мы еле удержались в ящике, но обозник все еще висел на заднем борту.

Наконец я толкнул его в плечо, наверное, с такой силой, что тот слетел, но рук не разжал. Мы проволокли его шагов двадцать, а потом он, скривив рожу, стал было опять подтягиваться на руках, и тут я снова толкнул его в плечо. Обозник отпустил борт ящика и упал. Дедушка остервенело хлестал коня.

Во мне все дрожало, будто я только что сбросил с себя огромную тяжесть. Солдат не поднимался, обоз его был далеко. Мне показалось, что там перестали двигаться, замерли и все смотрят в нашу сторону. Впереди была голая, пустая степь, только изредка попадались все те же кучки вывороченной земли да сусличьи бугорки, но теперь дедушка уже не сторонился окопов и траншей, а гнал Дончака напрямую.

Я видел, как солдат поднялся с земли и побежал к тому месту, где осталась его винтовка, видел, как он остановился, потом опять побежал и опять остановился.

Мы уже были далеко от него, и я различал только его ломающийся силуэт, а напряжение не проходило.

Потом мы услышал выстрелы. Скорее всего стрелял «наш» солдат, фигурка которого теперь уже еле маячила на горизонте.

— Пали, милый, в белый свет, как в копеечку. — Дедушка перевел Дончака с галопа на рысь, я услышал и в его голосе ту же дрожь, которая все еще билась во мне.

Ехали несколько минут молча. А потом оба вдруг захохотали. Дончак сам перешел на шаг, и стали постепенно просыхать его темные бока, которые ходили ходуном, а мы все вспоминали и вспоминали подробности происшествия, нет — нашей победы.

— А здорово ты его, Андрюха...

— Ага, — давился я от смеха, — а он как клещ — вцепился и держится. Сильный, вы знаете, какой сильный...

— Но если б он догнал нас, — озорно сощурил глаза дедушка, — то не сносить бы нам головы.

— Не догнал бы, — храбрился я.

Я готов был теперь без удержу хохотать и придумывать такие подробности в своем рассказе, что мне и самому было бы интересно слушать.

— Вот небось обидно ему. Он с оружием, а мы без ничего.

— Наверное, — соглашался дедушка. — Старый да малый, а он бугай...

— Он сначала смеялся, думал нас так, одной ручкой, — перебивал я деда, — а потом плакал.

— Плакал?

— Конечно, плакал. Когда я ему по рукам и он упал... Думаете, чего он лежал так долго? Плакал.

— Ты подсмотрел?

— Ну а чего ж он делал? Надо же было за винтовкой сразу бежать, а он лежал. Точно, плакал. Он вообще какой-то лопух: подошел, смеется, винтовку бросил...

— Нет, он не лопух, — оборвал меня дедушка, — они тут слишком тихо живут, с детьми да со стариками воюют. Сукин сын, что он не видит, кто перед ним? Женщина беззащитная или малый пацан какой — он все равно норовит обидеть. Где только наши красноармейцы?

Разговор перешел на нашу сегодняшнюю жизнь, и я хотел кое-что про нее узнать у деда.

— Надо им сдачи давать, — начал я, — вот как этому. Ребята говорят, можно оружие в окопах найти.

Дедушка так и опешил, даже остановил Дончака.

— Ну, брат, с тобой не задремлешь. Кто это про оружие говорит?

Я неопределенно пожал плечами, как это делал Васька. Дед повернулся ко мне всем своим крепким, приземистым торсом и сказал тем жестким и злым голосом, от которого все в доме смолкали:

— Ты забудь про эти разговоры. Слышишь, забудь! Вояка какой нашелся! Ты только про себя думаешь, а есть еще и мать, и Сережка, и Вадик, и Люся маленькие. — Он даже задохнулся, а потом свирепо закашлялся и кашлял долго, сгибаясь в поясе. Я испугался, не зная, как ему помочь, а он, ухватив ртом воздух, падал грудью на борт ящика и кашлял. Наконец приступ прошел. — Это что ж, у вас там в городе все такие храбрые, а здесь, в деревне, ты считаешь всех трусами?

Дедушка все еще кричал. Дончак начал прясть ушами, а потом настороженно вытянул шею. От удара кнута он рванулся так же, как тогда, когда мы удирали от обозника. Если бы дедушка не был так сердит, я бы, наверное, рассмеялся, но сейчас было не до смеха. Я молчал, не зная, как его успокоить. Начинал говорить, и он сразу обрывал меня:

— Ты дурак и не понимаешь, что им убить человека все равно что скотину. Молчи!

Я молчал. Он побушевал, побушевал и тоже смолк. Отходил он у нас быстро. Через несколько минут дедушка неожиданно приподнялся, упершись ногами в оглобли, и остановил Дончака.

— Это куда же мы с тобою заехали? Мати светы, да что же это такое?

Я тоже вскочил на ноги. Перед нами весь бугор был усеян крестами. Крестов столько, что у меня зарябило в глазах. В жизни мне да, наверное, и деду не доводилось видеть столько крестов. Сплошной лес крестов, в какую сторону ни глянешь — везде ряд, как в молодом саду. Кресты все одинаковые, приземистые, широкие, мрачные — не наши, и холмики за ними тоже все одинаковые, ровные, тянутся бесконечными рядами, как на каком-то сатанинском параде.

— Вот это да, — вырвалось у меня. — Сколько же их тут?..

Мы ошалело смотрели на это безмолвное царство

смерти. И никто из нас не знал, что говорить и что делать после первых восклицаний, которые вырвались сами собою.

Позже я видел много таких кладбищ и знал, что у каждой немецкой дивизии, у каждой части в Сталинграде, да, видно, и по всей нашей земле, где проходили фашисты, были свои кладбища. Иногда они достигали огромных размеров, но не производили на меня такого впечатления, как это, первое.

Я хорошо помню, что меня поразило тогда не количество крестов, хотя и оно вызывало во мне если не страх, то оторопь, не размер кладбища, а унылое, стандартное однообразие могил и крестов.

Глядя на бесконечные ряды могил, легко было думать именно так: все они фашисты, все одинаковые, и рассуждать здесь нечего. Но мой, хоть и маленький опыт, опыт этой недели говорил другое: нет, не все одинаковые и, наверное, не все фашисты. Тот пьяненький немец, который бормотал «Вольга, Вольга» и все время рылся у себя в карманах, совсем не похож на того, который выгнал нас из блиндажа. А те, что заняли дедов дом? Этот, с плетеными погонами, и тот толстяк с оловянными глазами — они тоже другие. Они наверняка настоящие фашисты, и я бы их, не задумываясь, положил здесь. Это про них говорит дедушка, что им легче убить человека, чем скотину.

Дед первый пришел в себя.

— Давай, Дончак, отсюда, давай. — Он, хлестнув вожжами, круто повернул от кладбища. — Ну и денек, — вздохнул дедушка. — И куда нас с тобою, Андрей, занесло? — Он еще раз приподнялся на оглоблях и огляделся, его иссохшая шея напряглась. — Аж под Питомник упороли. И правду говорят, у страха глаза велики. Вон куда махнули! А супостаты-то, супостаты, ишь какое место облюбовали! Питомник им подавай! Видно, надолго собираются здесь обосноваться. — Он умолк и пожевал губами. — Да-а-а, чего ж... те, что там, — и он, не поворачиваясь, махнул кнутовищем через спину, — те уже навсегда.

— А много их, — отозвался я. — Видали, сколько?

Дедушка грустно молчал.

— Это только здесь, — захотелось мне подбодрить его. — А еще сколько там, в Сталинграде...

— Наших тоже не меньше, только их, бедных, не успевали хоронить. Мы их тут тогда три дня закапывали,

какие за селом лежали. А сколько их, сердешных, осталось еще не зарытых: и по кручам, и по оврагам, и прямо на дорогах лежали. А по ним машины и танки. Расплющили их. Как доски... Наверное, такого и на страшном суде не будет.

Слушая дедушку, я повинился. Нет, дедушка тоже повидал здесь всякого, только молчит, не рассказывает. И кричал на меня не зря, аж губы у него побелели. Он знает что-то такое про «супостатов», чего мы еще не знаем. Я вон все человеческое в них хочу найти, а они по людям, по нашим красноармейцам на танках...

У меня опять начинала раскалываться от всего этого голова. Да что же это за мир, что же за звери сюда к нам пришли? Неужели все фашисты? Да где же их столько набралось?

Нет, тут что-то не так. Пусть мне кто-нибудь объяснит, пусть растолкует, что же случилось с миром, с людьми, пусть скажут — что? Я хочу знать, хочу знать прежде, чем умру, я и жить буду теперь для того, чтоб узнать. А узнаю, может, тогда за жизнь нечего цепляться: зачем она такая, зачем я в ней, зачем все, если по людям, как по доскам, на танках, если они только то и делают, что убивают, жгут, рвут собаками? Зачем? Пусть мне объяснят!

Конечно, мог я и не думать тогда так, и, наверное мои мысли складывались по-другому, но помню эту фразу или мысль, может, даже не то и не другое, а само обнаженное чувство, крик: «Пусть мне объяснят!» Этот крик меня преследовал долго, многие годы, он во мне и сейчас.

Я долго искал объяснения происходившему, и прежде всего мне хотелось послушать тех людей, которые вершили зло. Кто они и что они такое? Что думали и чем жили, когда бомбили, стреляли, жгли, ездили на автомашинах, танках и подводах по трупам, устанавливали в нашем доме свой «порядок»? И мне повезло. В мои руки попал дневник одного немецкого офицера, который воевал в Сталинграде. Он ездил по тем же дорогам, бывал в тех же селах и именно в то же время, что и я (иногда мне кажется, что я его даже видел). Так вот, этот дневник дала мне журналистка Татьяна Сергеевна Смирнова, которая в войну работала переводчиком в штабе 62-й армии.

Дневник начинается с 21 октября, приблизительно с того времени, на котором я сейчас оборвал свой рас-

сказ, и теперь хочу, чтобы дальше он шел как бы с двух сторон. Буду рассказывать я, и будет писать свой дневник тот офицер. Он про свою войну, а я про свою, но он оттуда, куда я все время хотел заглянуть, а я от себя и про себя.

ДНЕВНИК

неизвестного офицера 79-й немецкой пехотной дивизии, 212-го, а затем 208-го полка (предположительно колонна снабжения)

21 октября. В Лучинской перешли через Дон. Опять проклятый песок. Солдаты удивленно смотрели, как я, офицер, тяжело ступая, шел впереди колонны с толстой палкой в руке. Это им казалось странным. В Песковатке мы застали часть нашей колонны. Остальные уехали дальше с обер-лейтенантом Ронером. Час отдыха — и снова в путь. Ночью пришли в Бабуркин.

22 октября. С утра многих из нас бросили на подвоз боеприпасов в Сталинград. Остальные окапываются. Безобразие, что о нас никто не заботится. Надеюсь, мы недолго здесь пробудем. Ежедневно налетают 1500—2000 самолетов и превращают остатки города в развалины. Беженцы, которых мы встречали по дороге, а потом здесь, в селе, в сараях, могли спасти только свою жизнь и ничего из имущества. Но Сталинград все еще не сдается. Русские непрерывно переходят в контратаки. Наш 212-й полк снова в бою.

23 октября. Сегодня нужно дать 15 человек для пехоты. Вообще 50 процентов колонны пойдет в бой, а заменят их пленные... Сталинград еще не взят. Его будут называть Верденом этой войны. Сражение за Сталинград длится дольше, чем вся война с Францией. Настроение у меня опять портится.

24 октября. Днем с пятнадцатью повозками я приехал в Гончара. Выгрузили быстро боеприпасы и назад. На обратном пути (25 километров) все время вокруг нас рвались русские бомбы. Атаковали не нас, но я думал, что уже не привезу своих людей назад. Самолеты бомбили с небольшой высоты, нас они, конечно, не видели, иначе нам досталось бы еще больше. Когда ехали туда, попали под артобстрел. Русские уже не очень далеко. Ночью видны и слышны разрывы. Наша пехота ведет огонь трассирующими пулями по русским самолетам, с самолетов стреляют по пехоте. За пять дней впервые помылся и побрился...

25 октября. На улице, где разместилась наша колонна, все еще лежат мертвые русские, расплющенные машинами. Перед нами горящий Сталинград. Темные облака дыма стелются на 30 километров по горизонту. Хорошо, что до нас пока доносится только шум самолетов и артиллерии. Беспрерывные бои за этот город. Уже сейчас мы имеем убитыми вдвое больше, чем в Севастополе. Русские не дают взять трупы немецких солдат. Эти попытки многим из нас стоили жизни. Пленные говорят, что будут бороться до последнего солдата. В пути мы встретили много наших кладбищ. И их все больше. Ужасно, когда машины и танки проезжают по трупам русских, которые неделями валяются на дорогах.

29 октября. Иногда я прихожу в отчаяние, но я, конечно, поборю это проклятое чувство. Я не должен быть постоянно в этом ужасном положении. Иногда я думаю, что, быть может, однажды и моих детей постигнет та же участь, что и тех русских, расплю-

щенных машинами, неделями валяющихся на улицах. Я чувствую тогда, что лучше не жениться или, во всяком случае, не иметь детей. Война заставляет сильно огрубеть, но я хотел бы вернуться домой нравственно чистым, если мне вообще суждено вернуться.

2 ноября. Напрасно искал на вокзале в Карповке места, где мы могли сложить старый инструмент. В колонне удручающее настроение, так как на днях 15 человек уходят стрелками в пехоту. Дивизия наступает в Сталинграде. Она уже было достигла намеченного рубежа, но из-за сильного артобстрела русских с флангов вынуждена была отойти. Очень большие потери...

АРЕСТ

А мы ничего этого не знали. Думали, что фронт замер, сила уперлась в силу — и ни с места. Немцы, которые занимали дедушкин дом, жили своей жизнью. Правда, я обнаружил в нем еще троих новых жильцов. Один из них был важный, высокий, в кожаном пальто и в очках. Он почти всегда приезжал на машине, но ехал только до околицы села, там отпускал ее и шлепал по пыльной улице до нашего двора пешком. Тем же путем он ходил и к машине. Но выезжал реже других.

Я сказал дедушке о своем «открытии», но он ответил, что они живут здесь давно. Значит, следопыт из меня неважный. Зато я кое-что прояснил в загадочном поведении Юры и ребят. Но прежде хочу рассказать, как же окончился тот злосчастный денек, когда мы ушли от погони.

Когда въехали к нам в село, сразу увидели подводы обоза, сплошь занявшего улицы.

— Может, не те?.. — поспешил я успокоить дедушку, хотя уже понял, что именно те. Вон и два знакомых фургона, у которых как ребра убитой лошади, торчат подпорки выгоревшего серого брезента. Теперь, на беду, нужно было еще встретить того, «нашего» обозника, и день наших приключений можно считать законченным.

Дедушка с тоской посмотрел на свой двор и дом.

— Вот если б сейчас вышел тот очкастый немец, обозники бы нам ничего не сделали.

— Еще бы, — попытался пошутить я, — мы же сдали на постой им свой дом. — Но дедушке было не до шуток.

Навстречу нам уже шел грузный немец в фуражке с высокой тульей, в длиннополой темно-зеленой шинели. На кисти правой руки висела толстая плеть, на сапогах — шпоры. Мы посмотрели по сторонам. Утешение одно — «нашего» обозника нигде не было. Видно, и де-

душка немного приободрился, продолжая с надеждой смотреть на свой двор.

Немец этот, судя по всему, был старший офицер, потому что другие почтительно стояли в сторонке и покорно провожали его взглядом. Офицер, еще не дойдя до дедушки, закричал и поднял руку с плетью. К нам бросился солдат и, оттолкнув дедушку и меня от двуколки, прокаркал:

— Кони крадиш-шь, кради-ш-шь.

Офицер ударил плеткой дедушку по спине, а потом, пробормотав ругательство, замахнулся на меня. Я отскочил.

— Да ты что? — метнулся дедушка к ноге Дончака, но офицер опять стегнул его плеткой. Дедушка все-таки развязал повязку. — Смотри, лошадь раненая.

Но его не слушали. Дончака уже распрягали подбежавшие солдаты. Дедушка в сердцах бросил тряпку.

— Ну и берите, все берите! — Он швырнул на землю свой кнут. — Берите, супостаты...

Солдат толкнул его в спину прикладом винтовки, и дедушка, споткнувшись, пошел вслед за Дончаком на колхозный двор. Я перепуганно смотрел вслед, а потом побежал за ним. Дедушка подал знак идти домой. Я остановился и никак не мог решить, что же мне делать: идти домой или следовать за дедушкой?

Меня оставили, а дедушку уводили. Я же бил ногами того обозника! Постоял, постоял и пошел за дедом. Его ввели в правление колхоза, а я остался на улице ждать.

Колхозный двор и все вокруг него запрудили подводы. Лошади ржали, фыркали, гремели удилами, солдаты громко перекликались друг с другом — стоял гвалт большого табора или извозчичьего лагеря, и никак все это шумное скопление подвод, коней и крикливых людей в грязных серо-зеленых шинелях и френчах не было похоже на армию.

Деда увели, и меня вдруг обожгла мысль: а что, если его забрали совсем за другое? Меня же не тронули, хотя я виноват больше его. А что, если они узнали про другое? Надо бежать домой, но страх вдруг словно приморозил меня к забору, из-за которого я смотрел на колхозный двор. Это был не тот знакомый мне страх, который спрессовывал и вдавливал тело в землю, когда вокруг рвались бомбы или снаряды. Это был совсем другой страх. Он сразу окатил и накрыл, будто меня

опустили в холодную воду. Если немцы узнали про Парасочкин хутор, то не только тем, кто туда ходил, но и всему селу крышка. Там, в развалинах домов, в старых, полуобрушенных погребах, скрываются бежавшие из лагеря наши военнопленные. Под мою смертную клятву Васька рассказал, что там у них вроде бы как пересыльный пункт. Красноармейцам достают гражданскую одежду, лечат раненых. (Вот почему дедушка сразу забрал весь наш санитарный припас!) И помогают перейти линию фронта — к своим.

Васька, конечно, не рассказывал этих подробностей, ничего не говорил и про Юру, но не нужно было большого ума, чтобы догадаться, откуда Юра и почему он здесь, на свободе, организует все: и одежду, и питание, и медикаменты. Ходят слухи, что где-то в районах Карповской, Городища, Бузиновки, в степи, огороженные колючей проволокой, есть лагеря военнопленных. Это все в 15—20 километрах от нас. Оттуда, наверное, они и бегут сюда. Под эту же смертную клятву Васька сказал, что Юра совсем не Юра.

— Он оттуда, — шепнул мне в самое ухо Васька и глазами указал куда-то за горизонт, в сторону Бекетовки. — Его зовут Гришей. Гриша Завгороднев. Но об этом знают только двое — кривой Прибытков и дед твой.

— И ты третий, — сорвалось у меня с языка.

Но Васька так полыхнул на меня глазищами, что я прикусил язык. Больше он не сказал ни слова и уже никогда не заводил разговор об этом. Только однажды спросил про бинты, будто бы невзначай.

— А еще у вас там пакетов не осталось? Пошарь у матери. А?

— Нет, ни одного больше. Надо искать разбитую санитарную машину или подводу...

Но мои последние слова Васька словно и не слышал. И вот теперь я думал, что все открылось.

Ехали через Парасочкин хутор и увидели? Да там никогда ничего не увидишь — развалины, кручи размытого дождем самана, и все. Может, кто донес или какой бежавший военнопленный попался?

Меня окатывали одна догадка за другой, но страх за всех нас, за дедушку, маму, Сережку, Вадика, маленькую Люсю, сковывал меня. Надо бежать к ним, но как оставить дедушку?

На порожках дома появились два немца, и я совсем

оробел. Значит, тут и они... Следом на крыльцо вышел щуплый мужичонка в полушубке с оторванными рукавами и воротником. Лицо почти сплошь заросло сивой щетиной, глаз один закрыт. Он, как фонариком, обвел зрячим глазом двор, заглянул за забор и, увидев меня, поманил рукой. Я сделал шаг назад и изготовился бежать.

— Погоди, — легко и совсем не по-стариковски сбежал он со ступенек, и я догадался, что это и есть тот кривой колхозный счетовод Прибытков, которого дедушка зовет «Митька».

— Ты внук Лазаря Ивановича? — И, не дожидаясь моего ответа, торопливо продолжил: — Мигом домой, пусть прячут зерно. И соседям скажите.

— А с дедушкой что? Где дедушка? — захныкал я.

— Ничего. — И он попытался улыбнуться своим единственным глазом. — Сидит там и ругается. Ну! — прикрикнул он. — Мигом домой!

Я сорвался с места. Раз Прибытков так говорит про дедушку, значит, немцы ничего про Парасочкин хутор не знают. Летел как на крыльях, даже забыл про боль в ноге.

Дома переполох. Нашим уже сказали, что дедушку и меня забрали, и тетя Надя, взяв маленькую Люсю на руки, шла выручать нас. Увидев меня, все обрадовались, но тут же затараторили:

— А дедушка? Где он?

— Он там ругается... Прибытков сказал.

— Чего ж его держат?

— Надо зерно прятать, — шепнул я маме.

— Да какое, к дьяволу, зерно, — покраснела она, — говори толком, что с вами случилось?

— Прибытков говорит: сейчас придут забирать все.

— Уже забрали, — нетерпеливо отозвалась тетя Надя. — А больше у дедушки и брать нечего.

— А наши продукты, их тоже надо... — не сдавался я.

— И наших продуктов нет, — тряхнула за рукав меня мама. — Ты говори, что там приключилось, чего вы туда попали?

А что и говорить, я не знал. Рассказывать про приключение с тем немцем-обозником — только пугать их. Про Парасочкин хутор вообще никто ничего знать не должен.

— Говорят, что мы коня украли...

— Как украли? У кого?

— Не знаю, — пожал я плечами (ко мне уже прилипла Васькина привычка).

— Один офицер там кричал...

— Они уже забрали и этих коней, — вздохнула мама и кивнула на конюшню. — Ну зачем он с ними связался? Говорили ему, так он же такой завзятый лошадник, такой завзятый, что и слушать ничего не хочет...

Мы постояли, постояли, и все пошли в кухню.

Прибыткова все в селе называли по фамилии или «старшим», но никто не звал его старостой, по той должности, которую ему официально дали немцы. Насколько я понял за эти несколько дней жизни в Гавриловке, здесь пока не происходило никаких чрезвычайных событий, требовавших вмешательства Прибыткова. Люди в селе жили сами по себе, а колхозный счетовод, вдруг вставший во главе разоренного хозяйства и всех оставшихся здесь колхозников, видимо, понимал свою миссию «старосты» как исполнение обязанностей колхозного счетовода, на которого временно свалились заботы обо всем хозяйстве.

Он приходил в контору, что-то писал на своих больших листах-ведомостях, щелкал на счетах. Он исправно делал свою конторскую работу, а до другого ему якобы не было дела.

Может, все было и не совсем так, но я другого объяснения поведению «кривого Митьки» тогда не находил.

Мне нужно сейчас же связаться с Васькой и Юрой и разузнать все, что здесь произошло в наше отсутствие. Поспешно придумывал, что мне сказать матери и тете Наде, чтобы сейчас же уйти из дома. Они уже вцепились в меня и ни за какие коврига не отпустят. А чего, я прямо так и скажу, пойду к ребятам, чтобы договориться, как выручать дедушку. Э-э, не годится, сразу перепугаются и еще и дверь запрут на засов.

Чего я мудрю? Мне же Прибытков сказал: надо предупредить соседей, чтобы прятали зерно. Первым побегу к Васькиному двору. Поймут же!

Но меня не поняли.

— Соседи все знают, — сказала мама. — По всему селу же они шарили.

— Но мне все равно надо. Мне надо передать Юре, что дедушка там, у них. — Я бесстрашно посмотрел на маму и соврал: — Велел сходить Прибытков.

Мама и тетя Надя переглянулись. Они знали, что у

Юры и дедушки какие-то общие опасные дела, а тут еще и Прибытков просил, и они решали, как же поступить.

— Тогда я пойду с тобой, — сказала тетя Надя. — Пойду к тетке Домне, а ты к своему Ваське.

Мне нужно было соглашаться.

Васькина мать, грузная женщина лет сорока, испуганно встретила нас во дворе.

— Вы чего шляетесь по селу?

Но тетя Надя ничего не ответила, только взяла ее под руку и пошла с ней в дом. Через несколько минут оттуда вышел Васька. Мы шмыгнули за стену саманного сарая, в затишек. Но пронизывающий ветер прохватывал и здесь. Васька ежился, подтягивал то к одному, то к другому уху короткий воротник своего детского пальтишка, из которого он давно вырос, втягивал в плечи свою лобастую голову. Но голова никак не умещалась в воротнике, потому что Васькины широкие плечи сковывало это кургузое пальтишко.

— Не, не, — тряс он головой, отбиваясь от моих вопросов, — эти немцы приехали из Карповки. Им нужно зерно... Дед твой тут ни при чем.

Я рассказал о нашем приключении с немцем-обозником. Слушая, он дважды принимался смеяться, а потом озабоченно спросил:

— А солдата-то этого вы в селе видели? Ну тогда чего ж? Не будет он жаловаться офицеру. Подумаешь, удрали старик и мальчишка. Не, не будет. Тут что-нибудь другое... — И вдруг, будто что-то вспомнив, спросил: — А почему ты думаешь, что в селе именно тот обоз? Тут, знаешь, сколько их ездит?

Я сказал, что узнал две подводы.

Васька молча пожал плечами. Так мы и не смогли определить причину ареста дедушки.

Идти к Юре Васька отказался и мне запретил. Я понял, что есть чей-то приказ: как только в селе появляются немцы из Карповской комендатуры, так все встречи обрываются.

— Ну, про дедушку надо ему сказать!

— Он знает, — коротко ответил Васька и добавил: — Я сейчас позову твою тетку, и вы идите. Лазарь Иванович, наверное, уже дома.

Но Васька ошибся. Дедушку продержали в «холодной», так он назвал свою отсидку, пятеро суток. С ним сидели еще две женщины, которые работали на бойне.

Всех отпустили, а вот Прибыткова и одного «примака», про которого я даже и не догадывался, кто он, забрали и увезли в Карповку...

Юра в тот же вечер, когда мы ходили к Ваське Попову, исчез из села, и никто больше о нем ничего не слышал. Мы долго гадали об исчезновении Юры и сошлись на одном: у него был план ухода из села, и он действовал по этому плану. Уже позже, когда дедушка был дома, он обронил такую фразу:

— Что-то там у немцев стряслось. А здесь они ничего не нашли.

Арест деда вызвал в селе большой переполох. Он произошел в канун праздника Октябрьской революции, но все мы были так напуганы этими событиями и так переживали за дедушку, что даже забыли о празднике, о том, что он приближается.

К нам и другим, кто приходил в эти дни к правлению с передачами для родственников, бесстрашно выходил Прибытков. Он забирал еду и торопливо говорил, что все они живы-здоровы. Одет был все так же: странный полушубок с оторванными рукавами и воротником, без шапки, старые армейские штаны «полугалифе» и стоптанные кирзовые сапоги.

Прибыткову в то время было пятьдесят, а выглядел он стариком. Худой, морщинистый и высушенный, как вобла. Шея и лицо до самых глаз заросли сивой щетиной, левый глаз навсегда прикрыт. Но Прибытков был на удивление подвижным и шустрым. Он не ходил, а бегал, и, может быть, за эту мальчишечью неуемность дедушка называл его Митькой. Впрочем, дедушке это было позволительно: по годам он чуть не вдвое старше его.

В ту тяжелую осень и зиму многие в Гавриловке были с хлебом и еще весной смогли выкроить кое-какие килограммы для посева. Правда, дорого обошелся этот хлеб. Дмитрий Прибытков заплатил за него своей жизнью.

Так вот, все эти трагические события произошли в ноябре, в самый канун праздника. Приближалась двадцать пятая годовщина Октября.

ДНЕВНИК (продолжение)

3 ноября. Помылся и постарался избавиться от вшей... Каждую ночь воздушные налеты. Сегодня утром наши 15 человек с тяжелым

сердцем ушли в бой. Вольц и Бертольд плакали. Мне тоже хотелось завыть. Это были хорошие ребята. Кто из них погибнет первым? Некоторые говорили, что они охотнее пошли бы в бой, если бы я был с ними. Вероятно, пойду и я. В нашей дивизии очень большие потери.

4 ноября. Вернулись Беккер и Бирнмахер. В тылу все выглядит довольно печально. Будем надеяться все же, что тыл продержится еще некоторое время. В семьях, где убитые или вообще умершие, траур могут носить только родители. Говорят, что на этот счет есть приказ. Сделано так, что не все члены семей получают талоны на одежду.

5 ноября. По шоссе еле движется колонна. Лошади страшно измождены и нуждаются в отдыхе. Некоторые из них не могут идти дальше и остаются лежать. Сегодня я приказал застрелить одну такую лошадь и разделить тушу между беженцами из Сталинграда. Я очень скучаю по моей Лизелотте. Если не вернусь, что будет делать она, бедная? Нет, я должен к ней вернуться, хотя мне кажется, что на это нет надежды. Постепенно наша колонна все уменьшается. Кто из ушедших в пехоту первым обретет могилу в России?

6 ноября. Один из 20 новых русских сбежал. Микер на велосипеде искал его в окрестностях, но не нашел, если бы нашел, то тут же расстрелял. Ночью был сильный воздушный налет. Пришел Микер и сказал, что в бой за Сталинград вводятся штурмовые саперные отряды и эсэсовцы. Конечно, позже будут говорить, что СС взяли Сталинград. Это скверно, потому что многие пехотные дивизии кровью заплатили за Сталинград. Нужно еще захватить полосу шириной и длиной около километра. Из всей колонны, которая осенью 1939 года была в Висбадене, осталось лишь 75 человек, а из них 11 прежнего состава. Сегодня от нас удрал молодой русский, его расстреляют, если Микер его найдет.

7 ноября. Ночью был сильный дождь, а утром все замерзло. Днем я едва отваживался выйти на улицу. Вот и наступает русская зима. Будет ли она так же сурова, как предыдущая? Мы должны ее выдержать, чтобы принести победу родине. Иногда на меня нападает это дурное чувство, и тогда становится страшно при мысли о будущем. Как все перенесет Лизелотта? У меня всегда это отвратительное чувство, когда мне приходится решать: как быть? Идти ли мне против своих убеждений, потому что я не могу принять все требования национал-социализма, считаю их неправильными? Здесь, на фронте, видны кое-какие последствия его идей. Жизнь противника не ценится ни на грош. Некоторые просто обезумели. Рано утром двинулись из Барбакина (видимо, Бабуркина. — *В. Е.*) в Гончара. Ледяной ветер свистел в ушах. Вдали — гром орудий. В Египте противник опять продвинулся несколько вперед. Но это пустяки. Роммель им покажет!

9 ноября. По дороге из Барбакина лежат около 100 сдохших от истощения лошадей. Ледяной ветер, раскаты орудий. Сидим в дзоте, около печки. Унтер-офицер получил письмо от своей невесты, в котором она сообщает, что порывает связь. Он подавлен. Мое настроение ухудшается. Когда же кончатся эти бои? Когда случается в свободную минуту обо всем призадуматься, то только головой качаешь. Война — это только для богачей.

Еще с вечера зарядил холодный, с порывистым ветром дождь. Ветер постепенно унялся, а дождь припу-

стил сильнее, через тонкую дощатую дверь кухни было слышно, как с крыши стекали потоки воды.

Мы сидели перед коптилкой, при плотно занавешенном единственном окне и слушали дедушкин рассказ о том, как «кривой Прибытков водил за нос супостатов». Дедушка за эти дни осунулся, похудел, и я впервые увидел, что он старый, хотя в его крепком, кряжистом теле еще была сила, а в глазах и в речи — живой огонь. Может, это из-за плохого освещения в кухне, а может, во мне заговорила жалость — пять дней на холодной лавке, без варева. Именно в этот вечер я заметил, открыл для себя дедушкину старость. «Он только храбрится». Я смотрел на него и думал, что его надо жалеть, а у нас получается, что только он всех жалеет и за всех работает. И вдруг мы все услышали сначала какую-то возню на печке, а потом голоса Сергея и Вадика: они «играли» марш.

— Трам-там-там. Та-ра-ра, та-там. Трам-там-там...

Подыгрывая себе на губах, ребята слезали с печки. Дед замолчал, и все повернулись к ним. Они уже были на земляном полу, и, когда вступили в полоску скудного света коптилки, мы увидели в их руках веточку; они держали ее как флаг. Веточка небольшая, меньше Вадикового роста, а на ней цветные бумажки, кусочки станиоля, картинки от папиросных коробок. Ребята под свой марш прошествовали к столу и всунули нарядную веточку в расщелину стола. Видно было, что они прорепетировали еще днем свой выход, потому что веточка стояла прочно в расщелине, как в гнезде.

— Это что? Что вы выдумали? — зашумели на них. — Зачем?

— А завтра праздник, — сказал Сергей, — завтра ж Октябрьская годовщина.

Все сразу умолкли, и было слышно, как за дверью и занавешенным окном полощет дождь. Он лил, кажется, с еще большей силой.

— Так это у вас что ж? — спросил дедушка. — Елка, что ли? Елка-то на Новый год бывает.

— Нет, — ответил Вадик, — это у нас праздник.

Тетя Надя испуганно соскочила с табуретки и горячо зашептала:

— Да вы что? Вы что? Надо выбросить сейчас же...

Но дедушка ее остановил:

— Оставь, дети играют. Ну кто тут что подумает? — И, повернувшись к Сергею и Вадику, строго сказал

им: — Только вы не говорите никому, что это праздник. Ладно?

— Ладно, ладно, — согласно закивали головами мальчишки.

В РАЗВЕДКУ... С МАМОЙ

Наша жизнь тоже круто повернула, и хотя внешне после ареста Прибыткова в селе ничего не происходило, мы словно опять попали в какой-то водоворот, который скоро должен был вынести нас куда-то или оборвать все. В селе ничего не происходило, потому что немцам было не до нас: надо было устраиваться на зиму. Город сожжен и разрушен, а там, где они находились, зимовать было негде. Все близлежащие села тоже разорены, и гигантская армия, равная населению крупного города, должна была думать, как она переживет русскую зиму в открытой степи. Судя по тем немцам, которые были в нашем селе, они думали о зиме и боялись ее. Огромные грузовики каждый день уходили к городу и оттуда везли лес, кирпич, кровельное железо, металлические балки — все, что могло пойти на строительство блиндажей и землянок, все, что еще можно было найти в развалинах и на пепелищах. Немцы, видно, разуверились взять южную часть Сталинграда — от Лапшина сада до Красноармейска, которая была сравнительно мало разбита и не сожжена, и потому спешили — строили себе жилье в степи, зарывались в землю близ разоренного города.

Я говорю о тех, кто был за фронтовой полосой, в тылу. Ну а те, кто находился впереди, кого гнали, чтобы «очистить Сталинград»?

О них рассказывает неизвестный немецкий офицер. От чтения его дневника у меня создается странное, почти физическое ощущение, что там, впереди, на фронте, работала гигантская мясорубка, куда как в прорву ежедневно шли немецкие полки и дивизии. Это впечатление рождается, наверное, оттого, что я видел, как по буграм, опоясывавшим наш город, росли огромные кладбища: бесконечные шеренги низких крестов и стандартных могильных холмиков. Судя по надписям на крестах, такой «строгий порядок» здесь выдерживался до окружения немецкой армии. Позже убитых свозили в огромные ямы, и уже не было никаких крестов и могильных холмиков, а еще позже, в декабре — ян-

варе, убитых никто уже и не подбирал. Хоронить трупы немецких солдат и офицеров пришлось нашим бойцам и нам, тем немногим мирным жителям, которые выжили в Сталинграде.

Из дневника одного из тех, кто прошел победителем почти через всю Европу и дотащился в октябре сорок второго до моего города, видно: именно в эти дни у него начало катастрофически портиться настроение:

«Иногда прихожу в отчаяние...» Дорого бы я отдал тогда за это признание «победителя».

А внешне все вроде выглядело так, как оно было и раньше. Высокий, подтянутый немец в очках все так же ходил пешком через село к своей машине, которая ждала его у околицы, и так же возвращался от нее пешком. Но теперь, правда, в его моционах не было того строгого режима — отъезд в одиннадцать и возвращение в семнадцать. Теперь он мог выйти из дома в любое время суток и возвратиться тоже в любое время. Осталась только привычка ходить к машине пешком.

Толстяк все так же не мог одолеть одним махом ступенек крыльца. Поднявшись на последнюю, он жадно хватал открытым ртом воздух и смотрел мутными, ничего не выражающими глазами по сторонам, словно вокруг него были не люди, а муравьи или еще что менее значительное.

Офицер с плетеными погонами подъезжал на своем крохотном «опель-кадете», вбегал по ступенькам и скрывался за дверью, а шофер, приткнув машину в зелено-желтых разводах к самой стенке сарая, где когда-то стоял наш Дончак, укладывался спать. Внешне все вроде было так, как и три недели назад, когда мы появились в Гавриловке, но перемены все же нельзя было не заметить.

Мы тоже будто куда-то заспешили, заторопились, боясь опоздать и упустить в своей жизни такое, от чего зависело все.

Дедушка после отсидки в «холодной» и дня не пробыл дома, шнырял по селу со двора во двор, подолгу пропадал в избах, где жил кое-кто из «примаков», а потом нашел новое занятие — стал ходить на окраину села, в овраг, за развалины старой кузницы, где прятались десятка полтора немецких автомашин и расположились в землянках хорваты да словаки. Каждое утро эти машины уезжали в Сталинград за лесом, кирпичом и щебнем для блиндажей и землянок, которые

теперь строились во всех окрестных балках и оврагах. Дед завел дружбу с солдатами, которые хоть и носили немецкую форму, но ненавидели своих хозяев и при всяком удобном случае готовы были насолить им.

Вечерами дедушка приходил усталый, перепачканный в глине, известке и кирпичной пыли, но веселый, переполненный хорошими вестями, потому что у гитлеровцев дела шли все хуже и хуже.

— Седня они заворушились, ох, заворушились. Машины туда-сюда, туда-сюда. Прямо каруселью ходят.

Глаза у дедушки озорные, смеются.

— Еще седня наших сердешных пригнали из лагеря. Кожа да кости, смотреть страшно. Аж со станции Ремонтной гнали. Там лагерь — и все под открытым небом. Хорваты да словаки подкармливают их потихоньку. Хорошие они люди, да подневольные.

— Дедушка, а как же ты с ними говоришь?

— А так и говорю. Они ж славяне. Да и язык у них подходящий, — в улыбке обнажает беззубый рот дед.— Два раза ему скажешь, и он уже, как конь, мотает головой: «Добре, диду, добре».

В торбе, с которой дедушка ходил собирать колоски, он часто приносил несколько кусков хлеба, иногда пачку галет или концентрата: супа, каши. Почти всегда дедушка приносил с собою, как он выражался, что-нибудь из сбруи: сыромятные ремни, кусок войлока, седелку, а однажды приволок добрый хомут с крыльями из хорошей кожи. Собирать все это в доме для нашего дедушки было истинным наслаждением: видимо, он не терял надежду раздобыть нового коня.

Однако позже я узнал, что дедушка ходил к хорватам и словакам не только за этим. Были у него и другие дела. Как-то вернулся домой и радостно сообщил:

— Видно, супостатам совсем труба приходит — еще пленных на работу пригнали и даже на машины сажают...

Видя, что я навострил уши, дедушка оборвал разговор, но вечером мне все же удалось подсмотреть, как долго он шептался с мамой и тетей Надей. Мама отвечала дедушке сердито и, как мне показалось, невпопад:

— Нет! Не выдумывайте... Пусть лучше пропадет, сгниет...

Смысл их разговора стал проясняться, когда мама

сказала мне, что собралась поехать с хорватами и нашими пленными на машине в Сталинград.

— Зачем?

— А барахло же у нас там в яме зарытое, — поспешно ответила мама. И по тому, как она это сказала, я понял, что она что-то не договаривает.

— Тогда и меня тоже бери с собой, — вцепился я.

Но мама и слушать не хотела, а вот дедушка неожиданно поддержал меня.

— А чего, он дело говорит. Проскочит, как вьюн. Да и какой спрос с мальчишки. Ты вот что, Лукерья... — Дед задумался. — А пусть он один и катит. Так лучше все обернется. Там за ним присмотрят хорошие люди...

Но мама вдруг необычно для нее сердито прервала дедушку, как прерывают давно надоевший спор:

— Хватит! Если и поедет, то только со мной.

Я вышел из землянки, сел под навесом перед кухней и стал думать, какие же дела у мамы могут быть в городе. Дела эти не ее, а, конечно, дедовы. А к дедушке от кого они пришли? Прибыткова немцы арестовали, взяли и «примака». Юра, вернее Гриша Загороднев, исчез. Выходит, главные не они были. Кто-то остался в селе и командует. Кто? Да я здесь и не знаю никого. И кого узнаешь за три недели, если все сидят в избах, как мыши в норах.

Мама тоже ведет себя странно. Сначала ни в какую не соглашалась, а теперь даже меня готова взять с собой. Значит, все серьезно и иначе нельзя. Она бы не стала рисковать.

А одежда — это прикрытие. Поверить, чтобы в такую опасную поездку мама могла отправиться да еще взять с собою меня из-за каких-то вещей, хотя мы и считали их лучшими в доме (гардины, занавески с дверей, пара скатертей, мамины платья, белье и еще что-то, короче, два узла барахла). Это сказки для Сережки или Вадика. Зря они со мной в эту игру играют. Конспираторы...

После того разговора мама все чаще стала говорить, что в Сталинград каждый день ходят автомашины, а «у нас там в яме...». Они меня, наверное, подготавливали к поездке психологически, да и всех наших соседей хотели уверить, что мы едем за вещами.

И вот однажды, когда дед вернулся от хорватов и они пошептались с мамой, было объявлено:

— Едем завтра! — Мама произнесла эти слова твердо, но испуг и волнения от меня ей скрыть не удалось. Лицо закаменело, и улыбка у нее получилась тугая, через силу.

Вечером, когда все сидели за скудным ужином — жидкой кашицей-кондером и у мамы прошел испуг, дедушка успокоенно рассказывал:

— Завтра снаряжают три машины. Едут словаки и наши пленные. Охрана немецкая. Дальше такая препозиция: груз они берут километрах в трех-четырех от вашего дома. По рассказу, где-то в поселке лесозавода. А машины стоят там не меньше двух часов. Не меньше. Вот на них и равняйте свои дела. За два часа, кровь из носа, а вы должны обернуться. Если не будете успевать, черт с ним, с барахлом. Только до Волги и обратно... — Дедушка осекся, будто сказал что-то лишнее.

— А кто же нас возьмет? — выручил я его, чтобы сгладить неловкое молчание.

— Возьмут, уже договорились, — ответила мама.— Отдали кусок сала, десяток яиц да пять стаканов пшена. Дорого, конечно, — вздохнула она, — да что делать. Сало и яйца немцам, а пшено словакам.

Это было действительно так. Видел, как она передавала с дедушкой эти продукты, но я думал, что они предназначались пленным.

— А как же они взяли? — хотел выведать я у мамы побольше.

— Взяли, — опять вздохнула она. — Ведь договор со словаками шел. Когда вернемся, придется отдать еще столько.

Дальше дедушка рассказывал о том, как мы будем ехать, и этот разговор уже происходил, когда Сергея, Вадика и Люсю уложили спать.

«Так вот куда пошли отцовы хромовые сапоги!» — с горечью думал я. И мне так их стало жалко, что я готов был кричать на маму: «Как ты смела?» Ведь это были его выходные сапоги, которыми он гордился и жалел. Надевал только по праздникам. А они отдали вымененные на них сало и яйца каким-то сволочам, которые топчут и убивают нас!

Дедушка вроде бы заметил мое негодование и строго прикрикнул:

— Ты, Андрюха, охолонь и слушай, что тебе старшие говорят. Слушай! И не копырь губы.

Когда наш дедушка злился, с ним шутки были плохи. И я стал слушать.

— Залезете в кузов и сразу под брезент, — продолжал дедушка. — Сидеть смирно до самого места и носа не высовывать. Поняли? А на месте по команде пленных выскакивайте — и стрекача. Ты знаешь, что дальше, Лукерья. — Дедушка умолкает и не то жует, не то шепчет; губы шевелятся в заросших бороде и усах, щурит глаз, будто просматривает нашу дорогу. — Вот так. Не позже чем через два часа, как штык, у машины. Вернулись и опять ждите команды, на глаза охране — боже упаси. В машину ныряете перед самым отъездом. Кузов уже загруженный, и вы сразу под тот же брезент. Понятно?

— Понятно, — кивала мама. А я молчал, сердился на деда.

— Вот и все, — закончил дедушка и добавил: — Даст бог, съездите...

Я не знал, как маму, но меня не очень пугала эта поездка.

Больше того, меня так и подмывало побежать к Ваське и невзначай обронить: «Вот видишь, еду в город. — И, понизив голос до шепота, бросить: — Дело одно наклевывается». И пусть он тогда со своими секретами и конспирацией завертится, как волчок, вокруг меня.

Но я знал: этого делать нельзя. Есть конспирация, дисциплина, и ей надо подчиняться. А вот вернусь, тогда, пожалуй, и намекнуть не грех. Так, легонько, походя, пусть у него челюсть отвалится.

Засыпал я, преисполненный уважения к себе. «Наконец-то меня перестали считать мальчишкой и доверяют настоящее дело. Дед сказал: «Делайте свое дело». Какое? Это я узнаю завтра. Главное, доверяют».

Спал хорошо, и, когда утром дедушка сказал, что ночью прилетали «кукурузники», бросали бомбы, я удивился.

Прошмыгнуть в кузов машины было делом нехитрым. Мы знали, где стоят грузовики, и знали, в какой нам садиться, поэтому, как только мужчина в пилотке и в серой шинели с оторванным хлястиком (мама назвала его Семеном) подал нам знак, мы быстро перемахнули через низкий борт кузова. Наш грузовик, впрочем, как и все автомашины у немцев, имел над кузо-

вом тент, однако, как и было условлено с Семеном, мы сразу залезли под брезент, брошенный в кузове.

Минут через десять я услышал: в кузов взбирались люди. Загремела приставленная к борту лавка, и, когда машина тронулась, кто-то спросил:

— Ну, как? Вы живые тут?

Я, затаившись, молчал. Не отозвалась и мама.

— Потерпите, — сказал тот же голос, — выедем на тракт, тогда и переведете дух... — Говорил теперь, понятно, тот, кого мама назвала Семеном. Судя по слову «тракт», Семен был не из нашей местности. Слово это я слышал от тех красноармейцев-шоферов, которые прошлой зимой стояли у нас на квартире. А они были с Урала. Может, и этот родом оттуда и знает дядю Сашу? Машину переваливало с боку на бок. Значит, мы еще не выехали на грейдер, который он называл трактом. По голосам в кузове можно было понять, что, кроме нас, ехали еще трое. Немцев-охранников что-то не слышно. Неужели они отпустили одних пленных?

— Пусть глотают нашу пыль, — слышу я чей-то злорадный голос.

Это, конечно, он об охранниках, которые едут за нами. Когда мы отъезжали, я слышал шум моторов других машин. Значит, там охрана. За нами, а словаки впереди. Сколько охраны? Может, пленным легче убежать в городе: нырнул в развалины... И мы с ними. А как же Сергей, дедушка, все, кто остался в Гавриловке?

Я добрался до дыры в брезенте. В кузове полумрак. Сквозь пелену пыли проступают силуэты людей. Ошибся: военнопленных четверо. Трое время от времени перебрасываются фразами, а четвертый, подперев широкое скуластое лицо ладонями и упершись локтями в колени, дремлет. Под лавкой, на которой сидят военнопленные, громыхают инструменты: ломы-гвоздодеры, багры, лопаты, топоры, двуручная пила... Семен моложе других. Ему, наверное, лет двадцать семь, а может, и меньше. Лицо серое, небритое, но все равно видно, что он молод. Волосы растут только на верхней губе, подбородке и тонкими рыжими полосками по кромкам скул. Из-под пилотки торчит грязно-серый ежик. Глаз не видно. Но я знаю, какие они, — у таких парней-увальней они голубые.

Двум другим за тридцать, а может, и все сорок. Определить невозможно: те же худые, измучен-

ные лица, только густо заросшие щетиной. Один одет в грязный ватник, который когда-то имел зеленый — защитный — цвет, и шапку-ушанку, другой, как и Семен, в шинели и пилотке. Тот, который дремлет, тоже в пилотке.

Как же они в зиму в пилотках?

Тот, что дремал, поднял голову. Он казах или киргиз. Нет, пожалуй, киргиз. Лицо широкое, плоское. Борода и усы растут какими-то клочками. Он, пожалуй, еще моложе Семена.

— Ну что, Касым, опять свой аул видел? — спросил тот, что был в телогрейке.

— Аил, — отозвался киргиз, — у нас аил. Это у казахов аул.

Он говорил по-русски почти без акцента. Это меня удивило, и я, наверное, высунул голову из дыры в брезенте. Касым повернулся ко мне и сказал, улыбнувшись:

— А ну вылезай из своей норы, суслик. Хоря здесь нет. — И он широко развел руками.

— Вылезайте, вылезайте, — подтвердил Семен. — Мы скажем, когда надо прятаться.

Мама выпростала из-под брезента голову, она в пуховом платке, и ей, видно, жарко.

— Вы зря платок надели, мамаша, — сказал Касым.

— Да он же старый, — развязывая платок, ответила мама.

— Все равно, как будете выходить из машины, снимите от греха, — добавил он. — Они все на себя теперь тащат.

— Да нет, сейчас-то не снимайте, — удержал маму Семен. — Сейчас сидите. А как будете выходить, чтоб они не увидели.

Но мама уже сняла платок и стала повязывать его вокруг себя, под телогрейкой. На голове остался старенький, серый, в мелкий горошек, который, как мне казалось, был у нее всегда, сколько я себя помню.

— Вы что ж, всю жизнь прожили в Сталинграде? — спросил пожилой, в пилотке.

— Да, здешние, — вздохнула мама.

— А теперь все сгорело?

— Все. Вот если еще и нашу яму откопали, тогда подчистую, — опять ответила мама.

— Да нет, — успокоил ее Касым, — кто ж там будет рыться...

— Найдутся...

— А вы с Урала? — спросил я военнопленных.

— Нет, мы из Сибири, а Касым — из-под Фрунзе-города. Студентом до войны был.

— А когда ж вы?.. — подала голос мама.

— Да, в августе, на Дону, — выдохнул пожилой.

— Там не одни мы... — словно оправдываясь, пояснил Семен. — Там такое творилось...

Он замолчал. Молчали и другие, нетерпеливо поглядывая на него, ожидая, что же он скажет про их жизнь. Наверное, им впервые довелось рассказывать своим вот так, без посторонних глаз. В горле пожилого забулькало, захрипело раздавленное слово, но он превозмог этот рвущийся наружу стон, закашлялся. Кашлял долго, надрывая простуженную грудь, а потом, вытерев черной ладонью мокрые глаза, сказал:

— Теперь они уже не такие, теперь...

И я понял: то, застрявшее в нем слово, было о немцах, о тех, что ехали за нами в машине, о тех, что жили в дедовом доме, и тех, что бесконечными рядами лежали в земле под Питомником и по буграм вокруг города.

Пожилой рассказывал о том, что гитлеровцам пришла настоящая хана, раз стали брать из лагерей пленных на работы под самую линию фронта, а я смотрел на его заросшее, землистое лицо, на иссохшую птичью шею, которая высоко торчала из шинели, и думал, как же неуемно разлилось по земле горе.

Когда мы сидели в блиндаже, в подвале и опять в блиндаже, весь мир, все горе и все слезы были только в нас. Я не думал, что еще кому-то может быть так же плохо. Плохо нам, мы погибаем, и нам уже ни до кого. А сейчас я увидел, что этим людям, солдатам, хуже, чем было нам. Наверное, нашу бомбежку и даже ту смерть, какая все время висела над нами, они приняли бы легче, чем свою теперешнюю жизнь.

— Затащат в лагерь убитую лошадь и вот рвут ее... и каждый себе в котелке... а кто и так... А холода начались. Все же под открытым небом, на сырой земле. Понарыли нор. А утро придет, лежат, не поднимаются, скрюченные, и опять норы, забитые людьми... и опять людей, как поленья, в штабеля...

С пожилого я перевел взгляд на Касыма. Он слу-

шал, подавшись вперед костистым и некогда крепким телом. Черные большие глаза еще больше округлились, и в них стояли слезы. Он не смахивал их, а только кивал своей широкоскулой головой, будто хотел подбодрить пожилого. Семен отвернулся, а тот, что был в шапке-ушанке, осторожно перематывал обмотку на раненой ноге.

Им еще хуже, чем нам, еще хуже.

И где-то у них семьи, а они здесь... И никто не знает, что будет с ними завтра. Да что завтра! Сейчас, когда приедем в город.

Моя собственная жизнь становилась маленькой и отходила куда-то, а выплывала одна большая, неохватная жизнь всех людей, которых война сдвинула с места и погнала в чужие края, одно растекшееся по всей земле горе, в котором уже не было места моему «я». Глупо и смешно кричать: «я погибаю», «я не хочу», «я выживу», как я кричал в ту страшную ночь в подвале. Глупо и смешно, потому что в этой жизни, оказывается, есть вещи и пострашнее той ночи и пострашнее моей смерти.

Я боялся, я гнал от себя мысль: «А что, если вот такое и с нашим отцом или Виктором?» Я не хотел думать, а страх за них прорвался, смял меня.

Смотрел на исхудавшую и неестественно вытянувшуюся тонкую шею того, что был в шинели и пилотке, на плачущего Касыма, на согнутую спину Семена и уже не слышал слов пожилого. Со мною происходили странные вещи. После того, как мы вылезли из блиндажа и я стал видеть то, что укрывали от меня несколько месяцев его стены и потолок, случалось, будто бы отключался звук, и я только смотрел и смотрел, раздавленный своим бессилием понять то, что вижу.

«А что, если и отец? — стучало где-то уже не в голове, а внутри меня. — А что, если...» — И сердце, будто зацепившись за что-то, останавливалось, а потом, соскочив, билось часто-часто.

Мама говорила с пленными спокойно. Теперь уже они что-то спрашивали у нее, а она кивала головой и повторяла: «Ладно, ладно».

— Его зовут Андрюша. — Вновь услышал я ее голос и понял, что говорят обо мне.

— У тебя, Андрей, — говорил пожилой, — глаза повострей, чем у матери, так ты тоже посмотри, что и

как там. Где они, а где наши? Вы ж около самой Волги живете? Так вот ты ее всю просмотри, главное, берега, все приметь, может, там какая завалящая лодка али плотик на берегу...

— Не-е-а, — покачал я головой, — там и бревнышка-то ни одного не осталось, все с ранеными на тот берег уплыло. Там ничегошеньки...

— А ты посмотри, посмотри, — зачастил Касым, — вы ж давно там не были, может, теперь все по-другому.

«Так вот оно, то «дело», про которое я не мог догадаться, — окатило меня. — Вот зачем мы едем. Как же я раньше?.. Ах ты, дьявол, вот так поездочка! — У меня даже во рту пересохло от волнения. — Ну и молодец дедушка, ну и Лазарь Иванович! Не порвалась, значит, ниточка с лагерями военнопленных. Жива, хоть и нет Юры, то бишь Гриши, и кривого Прибыткова нет. Ах ты, ну и молодец мой дедуля! Выходит, мы проверяем одно звено в цепочке побегов из лагерей. И звено это от поселка лесопильного завода до Волги, до того места, куда мы едем, видно, налажено. Раз нас можно везти под брезентом, то и других! Да наверняка уже и возили не раз. А вот доходили ли они до берега Волги? Сегодня мы проверим».

Стало жарко. Почти по пояс я высунулся из-под брезента. Мама взяла мою руку. Небось по лицу поняла о моей догадке и ободряюще улыбнулась. Рванулся вылезти совсем, но она мягко придержала меня за плечо. Прикосновение ее теплой руки, ободряющая, участливая улыбка разлились во мне такой благодарной любовь и нежностью к ней, что в груди перестало стучать сердце. Моя мама еще больше молодец, чем дедушка. Дед — он мужчина, он старый солдат, а мама... Как же ей тяжело и трудно было решиться на такое... Раньше она не только говорить, думать запрещала мне про такое, а теперь трясется в грузовике, обсуждает с военнопленными то, от чего зависит их и наша жизнь, да еще находит время подбодрить меня...

Начинаю вслушиваться в прерванный этими мыслями разговор.

— Главное, дорогу лучше просмотреть и все приметить. Дед говорил про овраг, вы его посмотрите.

— Да где ж нам, — взмолилась мама, — нам только туда добежать да оттуда успеть бы.

— Мы, конечно, постараемся потянуть, — отозвался Семен, — но у них, — он мотнул головой в сторону, —

у них все рассчитано. Так что не больше двух часов. А то вы тогда...

Он недоговорил, но мы и сами знали, что будет «тогда».

Дорога, по которой ехали, стала забирать круто вправо, и я понял, что повернули к «Зеленому кольцу». Минут через десять-пятнадцать выскочим на бугор, и внизу откроется город.

Так, видно, никто и не убирал трупы из лесопосадок. И хотя по ночам уже стояли первые заморозки, тяжелый, смрадный запах еще держался крепко. Все в кузове машины умолкли, пока мы проезжали через «Зеленое кольцо». Ночью оно показалось мне куда шире, а тут проскочили за полминуты, и все. Проскочили, а тяжелый дух все еще бился под брезентовым тентом, и никак не хотел уходить прочь.

Едем не той дорогой, которой шли из города в Гавриловку, обогнули Песчанку, а лесополоса и здесь так же иссечена и перерыта. Значит, везде одинаково. Везде люди искали защиты у деревьев и кустиков, а они не могли их защитить.

...Я вспомнил эту дорогу и «Зеленое кольцо» совсем недавно на Лысой горе. Мы были там с дочерью, которая на четыре года старше меня того, который ехал в немецком грузовике.

Шли по пустынному, исхолмленному, с оплывшими траншеями и окопами полю, на котором никогда ничего, кроме бурьяна и колючек, не росло. Неровная шеренга бетонных трехгранников высотою меньше метра рассекала всю гору и тянулась на несколько километров. Всю эту линию прошли в молчании, пораженные тем, сколько всего здесь и через тридцать пять лет осталось от войны.

Окопы, траншеи, ямы от блиндажей, огромный опрокинутый чан железобетонного дзота с вырезом для амбразуры, целая гора истлевшего военного снаряжения...

Так мы двигались вдоль петляющей линии железобетонных пирамидок и прошли почти всю Лысую гору, а потом чуть-чуть спустились в лощину и остановились перед рощицей кленов, акаций и других деревьев, которые, казалось, чудом росли и шумели листвой на обжигающем знойном ветру. Бурьян и колючки вокруг высохли и от одного прикосновения рассыпались, а эта рощица жила.

Она росла там, где ранней весной сорок третьего хоронили защитников этой легендарной горы. У Лысой горы слава не такая громкая, как у ее соседа, известного всему миру Мамаева кургана. Так случилось, что Сталинград многие годы связывали только с Мамаевым курганом, и курган стал его символом. Сталинград и сейчас начинается отсюда. Но теперь для сотен тысяч туристов, которые ежегодно посещают Волгоград, он все чаще заканчивается Лысой горой.

Мы тоже приехали на Лысую гору после Мамаева кургана, где слышали голос Левитана, где в динамиках гремели взрывы и пулеметные очереди, играла скорбная музыка и печатали в наступившей тишине шаг солдаты, идущие к Вечному огню.

Так вот, мы стояли перед крохотной рощицей, и я понял, что она тоже памятник тем, кто полег здесь и в других местах, памятник не меньше того, который мы только что посетили.

Я был в том далеком и совсем близком сорок втором, а потом шагнул в зиму и раннюю весну сорок третьего, когда мы хоронили в братских и одиночных могилах наших солдат и офицеров.

Смотрю на эту рощицу, а вижу лесополосы вокруг города, вижу то «Зеленое кольцо» Сталинграда, которое приняло в свою сухую и каменистую землю тысячи и тысячи защитников города. После войны оно необыкновенно быстро разрослось. Сталинградцы не только заштопали и залечили его раны, но и протянули ленты новых лесопосадок. Деревья здесь тогда принимались и росли на удивление хорошо, будто нашу скудную приволжскую землю подменили. Уже в пятидесятые годы в лесополосах было страшно много ягод: малины и особенно смородины. Мы ходили и ездили туда и собирали ее по целому ведру.

РОДНОЙ БЕРЕГ

Машина пошла под уклон, и я понял, что начался спуск с бугра. Смотреть мы могли только в одну сторону, туда, откуда ехали. А там почти всю дорогу висела стена пыли.

Я пошарил глазами по темному брезенту над головой, но он был крепким, без единой дырочки. Сейчас мы на самом бугре, и отсюда должна быть видна северная часть города. До нас доходили слухи, что имен-

но там наши уперлись в самую Волгу и немцы никак не могут их сдвинуть.

Посмотреть бы: что там? И я стал тянуться к заднему борту.

— Дом учуял? — спросил Семен и отодвинулся от края лавки, уступая мне место. — Сейчас повернем, и будет немного виден элеватор.

— Там еще наши?

— Нет, — отозвался Касым, — немцы возят оттуда горелую пшеницу лошадям...

— А когда нас выгоняли, там еще держались, — отозвалась мама и села рядом со мною на лавку. Семен сказал, что теперь уже не будет патрулей и можно не прятаться.

Мы катили вниз, а я вертел головой, пытаясь определить, где мы едем, и хоть одним глазком уловить, что же творится там внизу, в городе. Мне уже видны были серые и бурые дымы, которые я сначала принял за столбы пыли, а теперь, когда на горизонте мелькнули темные шлейфы, я понял, что это пожары.

— Боже, боже, — простонала мама, — чему ж там гореть!..

Мы спускались ниже, и я увидел, что пожаров еще много, я не мог даже подумать, что их столько. Как и мама, считал, что все уже давно сгорело. Нет, видно, города горят долго...

Правда, пожары уже потеряли ту силу, когда над городом взвихривались ураганные ветры и разносили гарь и копоть на десятки километров по правобережной степи и Заволжью. Как ни тянул я голову из кузова, как ни принюхивался, а уже не было запаха той удушливой гари, которая давила всех нас в первые недели бомбежек. Жидкие дымы, все еще висевшие над городом, казались теперь бесплотными.

Машина свернула, и справа мелькнула широкая полоса свинцовой Волги. Я так и прилип к ней глазами, стараясь определить, идет ли лед. Отсюда еще было далеко до реки, но я скорее почувствовал, чем увидел: по реке плывет шуга, которую у нас называют салом. Если и доберутся до берега пленные, то через реку сейчас не прорвешься.

— Смотри, элеватор, — толкнула меня мама, а я никак не мог оторвать глаз от Волги и ее левого берега, где темнела полоса съежившегося леса. И с Волгой и с лесом что-то произошло. Я никак не мог понять, что,

но видел, они теперь совсем не такие, какими были всегда: присмирели, затихли, будто их высушил огонь, который несколько месяцев бушевал на правом берегу.

Я все еще не мог оторваться от Волги и Заволжья, а каким-то другим взглядом, может быть, тем самым, что называют внутренним, уже увидел большой кусок темного города с белым островком элеватора. Его бетонное здание утесом высилось посреди серых развалин и черных пожарищ. Сердце мое захолодело, сжалось: теперь и здесь уже немцы, а наши отступили за Царицу, в самый центр города, и где они там, никто не знает; только знаем, что держатся, потому что именно там гремят взрывы и там еще горят пожары. А удержатся наши там? Выстоят? Немцы тоже видят перед собою Волгу и прут, лезут, чтобы столкнуть их с берега.

Спустились вниз и едем по разбитой и сгоревшей улице. Волги не видно. Кругом развалины, битый кирпич, обрушенные стены, скрюченное железо и расщепленное и обуглившееся дерево. Чем же они будут здесь грузить свои машины?

Движемся в сторону нашего района. Лицо у мамы повеселело. Приободрился и я. Здесь есть где укрыться нашим пленным, есть где.

«Пусть едут дальше, — шепчут мои губы. — Дальше, дальше».

Когда перед воронкой или завалом машина замедляла ход или совсем останавливалась, сдавая назад, мы с мамой испуганно переглядывались и без слов говорили друг другу: «Отсюда мы не успеем за два часа». Потом: «Нет, еще рано!»

И мы опять мысленно понукаем, подталкиваем нашу машину вперед, и она ползет, петляя между ямами и буграми, переваливается через насыпи вывороченной земли, а мы шепчем вслед ревущему мотору: «Еще, еще! Ближе к нашей родной Волге».

Наконец выскочили из развалин и оказались на пустыре, за которым, прижавшись к самому оврагу, стояли десятка полтора чудом не сгоревших, но потревоженных снарядами и минами деревянных домов.

Это обычные частные дома, которыми были застроены все рабочие поселки и окраины Сталинграда. Они встречались и в самом городе, но теперь они все сгоре-

ли, а эти счастливо прижались к оврагу, и к ним не дошла волна огня.

Машина, тяжело вздохнув, будто у нее уже не было сил пробиваться дальше по завалам и ямам, остановилась перед большим, на четыре окна домом. Он почти цел, только правая глухая дощатая стена исклевана осколками да сорваны ставни и выбиты окна.

Вокруг ни души, только ветер свищет в выбитых стеклах и рамах да лежит какое-то жалкое тряпье, втоптанное в замерзшую грязь.

Когда подъехала и остановилась вторая машина, мы уже были на земле. Семен махнул рукой, и сразу, вспомнив ту привычку, которую уже стали забывать там, в Гавриловке, согнулись и побежали вдоль оврага, к полотну железной дороги.

Да, отсюда километра четыре, а может, и немного больше, до нашего дома, и, если нас никто не задержит, успеем. Не останавливаясь, я вынул часы. Было пять минут первого.

— В два мы здесь! — крикнул маме, но она не ответила, показав всем своим видом, что теперь надо тратить силы только на эту дорогу до дому и обратно да на то, чтобы все высмотреть и запомнить, а разговоры — это пустое.

Как сказал бы Степаныч, день вроде бы разыгрывался. И хотя откуда-то с верховьев Волги тянуло холодным ветром, на солнцепеке земля сочилась и плыла под ногами. Вокруг удивительно пустынно. Мы пробежали пустырь, выскочили на погорелье, где, как надолбы, торчали обрушенные черные печи, пересекли развороченный взрывом бомбы железнодорожный переезд, а нам еще не попалось ничего живого. Все угрюмо молчало, только там, за нашей спиной, глухо били топоры и ломы да трещало дерево. Кругом ни души!

Бежали вдоль железнодорожных путей, по знакомой нам дороге, сотни раз исхоженной. Она шла от трамвайного кольца до нашего рабочего поселка, и тут все было вымерено до шага — до дома три километра. Трусцой нам полчаса, пятнадцать минут на яму и целый час на возвращение. Мы успеваем, только глядеть в оба!

Смотрю вперед, оглядываюсь по сторонам, вокруг никого, будто все вымерло, даже оторопь берет. Такой тишины мы уже давно не слышали, даже в Гавриловке. Видно, все бросили эту разоренную землю: лупили,

лупили по ней и с воздуха и с земли и немцы и наши, а теперь, когда здесь все перевернули вверх дном, отрешились. Немцы выгнали нас и сами ушли. Обрадуются пленные.

Потянулись разбитые и сгоревшие вагоны. Я выскочил на насыпь, а мама бежала внизу, и меня сразу обдало тем сладковатым трупным запахом, от которого я уже стал отвыкать. Между шпалами лежала рассыпанная пшеница, она уже почернела и проросла. У колеса разбитого вагона насыпан целый ворох. Я расковырял ботинком корку изопревшего и сросшегося зерна, под ней хорошая, сухая пшеница. Стал набивать ею карманы, забыв, что под мышкой у меня свернутый мешок. Мешок выпал, и я, нагнувшись, чтобы поднять его, вдруг увидел мертвую женщину. Она лежала между рельсами — на боку, спиною ко мне. Цветное летнее платье уже истлело на черном плече. Я отшатнулся и увидел девочку, тоже мертвую: она лежала чуть дальше, обхватив голову черными как уголь руками. Это была не девочка, а какое-то обуглившееся деревцо, и я смог определить, что это человек, только по волосам да клочкам одежды, которую шевелил ветер.

Подхватил мешок и кинулся прочь с насыпи. Бегу за мамой, а перед глазами — на мертвом, чугунном теле живые клочки цветного платья. Платье у девочки из того же материала, что и у женщины. Значит, это ее дочка.

Я стал высыпать пшеницу из карманов. Мама ничего этого не видела. Она теперь бежала впереди и только изредка поворачивала голову, чтобы проверить, не отстал ли я.

Кончилась территория мебельного завода, и нам нужно было поворачивать налево, ближе к Волге. Здесь по оврагу могли спуститься до Нижней улицы, а там уже рукой подать и до нашего дома. В тени, куда не заглядывало солнце, под ногами хрустел ледок. Овраг неглубокий, но чем ближе он подходил к Волге, тем круче и обрывистее становились его склоны. Все знакомо, каждый поворот, каждая круча. Еще одна небольшая петля — ее почему-то все называли «тещиным языком» — и мы выскочим к мосту, а от него и Нижняя улица начинается.

Бежал впереди, и мама, когда ее обгонял, впервые улыбнулась.

— Почуял дом, как конь.

Проскочили последний поворот «тещиного языка», и показалось, что попали не в тот овраг. Я никак не мог понять, что же здесь произошло, но овраг явно не тот, по которому мы столько лет бегали и лазали. На самом дне лежал перевернутый вверх гусеницами танк. Башня вместе со стволом вдавлена в песок. Танк не наш, хотя на нем и не было никаких крестов. Мама пробежала мимо, даже не замедлив шаг, а я остановился, глянул наверх и понял, почему не узнал оврага: вверху не было моста. Тут же я догадался, как попал сюда этот танк. Он свалился с моста, когда тот еще стоял здесь. Попер, дуралей, и свалился. Обязательно должен был свалиться. Здесь же, когда проходили груженые трехтонки, мост скрипел.

Однако как же танк сюда падал? Ведь от опор он лежал метрах в пятнадцати. Что ж, он на крыльях? Спуститься по таким отвесным склонам он тоже не мог.

Без конца верчу головой, оглядываясь по сторонам, даже шея заболела. Сердце стучит, словно повторяет слова военнопленных: «Смотри, Андрюха, смотри. Все обсмотри, родной. Все запоминай...»

Наш поселок, вернее его развалины и погорелища, меня ничем не удивил. Здесь все было почти таким же, как и в тот день, когда мы уходили. Может, только выросла трава не там, где она росла обычно, да чуть постарели, точно вылиняли, пепелища. Они уже не были зияюще-черными и не так пугали. Но чем мы дальше бежали по Нижней улице, тем больше удивляли непонятная тишина и запустение. От развалин, развороченной земли, холодных, серых пожарищ тянуло таким мертвым, нежилым духом, что боязно было останавливаться, и мы бежали и бежали.

Наше пепелище тоже вылиняло и постарело, развалились русская печь и плита. А когда сгорел дом, мама еще готовила тут. Теперь груды кирпичей да раскисшей глины.

— Были гости, — переводя дух и озирая наше подворье, выдохнула мама, и я не понял, к чему это она. — Да, побывали, — еще больше уронила она голос, и я увидел: яма разрыта.

Подошли ближе. Из ямы торчали наполовину вытащенные грядушки железной родительской кровати с никелированным верхом. Поржавевшая панцирная сетка лежала рядом. Здесь же валялись наше старое ватное одеяло и вязанные из тряпок половики, которы-

ми мы накрыли все в яме, прежде чем заложить досками и засыпать землей.

На дне ямы блестел ледок. Сбоку, из вырытой в стене ниши, торчал угол ящика. Он, кажется, в том же положении, в каком мы его туда засовывали. Ящик забит, потянул на себя и обрадованно ощутил тяжесть.

— Все цело! Все на месте!

— Ты посмотри, посмотри хорошенько. — И мама тоже спрыгнула в тесную яму.

Мы выволокли из ниши ящик, и я нетерпеливо стал срывать крышку. Но уже по гвоздям, которые я забивал сам, видел, что здесь все в порядке.

— Ах, какие молодцы, — хотел рассмешить я маму, — они знали, что мы спешим...

Но мама даже не улыбнулась, а только опасливо посмотрела вокруг, будто эти «молодцы» где-то спрятались неподалеку, в развалинах.

Быстро переложили содержимое ящика в мешки. Оставалось еще минут пятнадцать для отдыха, но я тут же попросил разрешения сбегать к берегу Волги.

— Только в овраг не спускайся, — крикнула она вдогонку, — я сама посмотрю!

Но я уже бежал через пустырь к берегу. И хотя никто не стрелял и вокруг не было ни души, я бежал через него, как и раньше, изо всех сил, согнувшись, и, добежав до обрывистой кручи, упал на ее край, втянув голову в плечи, долго лежал, не отрывая лица от ладоней.

Взрывов не было, а мое сжавшееся, как пружина, тело ждало их, и сердце колотилось и не могло никак успокоиться не от бега, а от этого ожидания. Наконец поднял голову и увидел перед собою сразу и Волгу, и заволжский лес, и две полузатопленные баржи под самым тем берегом, и черные точки плотиков и разбитых лодок на песчаных отмелях.

Волга и ее берега пустынны. Только где-то там, далеко внизу, может, под самой Бекетовкой или чуть ближе, темнели пунктиры не то судов, не то понтонов. Они, казалось, застряли в русле реки. Здесь же по успокоенной глади плыли редкие, похожие на белую вывернутую овчину или ноздреватую пену льдины. От Волги тянуло холодом и той же пустотой, какая была в нашем поселке.

Да, до реки пленным, видно, будет добраться легко, а здесь? Надо ждать, пока Волга замерзнет, но тогда

появится охрана. На правом берегу, как я и думал, ни одного бревнышка, ни одной доски, все там, на левом, да и переправляться сейчас безумие: идет сало. Самое надежное — бежать им, когда появится сильный ледоход. Можно на льдинах плыть вниз по Волге до Бекетовки, а можно, если повезет, перебраться и на тот берег.

Я вспомнил, что где-то читал, кажется, у Горького, как переправлялись люди через Волгу в ледоход. У всех были доски. Люди перебрасывали доски со льдины на льдину и так продвигались. Вся переправа описана как озорное единоборство смелых и сильных людей со стихией. Писатель рассказывал действительный случай, он сам это видел весной на Волге, когда артель плотников, переходившая реку по последнему льду, вдруг была внезапно застигнута ломкой льда и ледоходом.

Может быть, я что и присочиняю в этом эпизоде, но о нем все равно надо рассказать Семену и его друзьям, когда вернемся к машине. Пленным нужно достать белый материал, а лучше сшить маскхалаты. В черном на льдинах появляться нельзя. Наши простыни подойдут...

— Да, выход есть, и не зря мы сюда приехали!

Перевел взгляд на правый берег. Здесь тоже коечто изменилось. Под самой кручей появилось несколько траншей, наверху расчищена площадка для тяжелого орудия, которое стреляло через Волгу. Площадка метрах в пятидесяти от меня. Орудия сейчас уже нет, лежат разбросанные гильзы, они начали зеленеть. Видно, стреляли недели две назад. Все надо доложить Семену.

Не было других доказательств, кроме этих гильз, размытых следов от сапог вокруг площадки и тех сиротливо брошенных траншей, которые зияли внизу, почти у кромки берега, но мне почему-то казалось, что немцы пробыли здесь недолго. А вот почему они ушли из нашего района, в который с таким ожесточением рвались больше двух месяцев, было загадкой. Лежал и думал: «Почему?» Семен и его друзья разберутся. Они военные.

Сам же я оправдать уход мог только одним: просто у гитлеровцев нет солдат. Фронт отодвинулся, и они ушли за ним. Высадиться здесь нашим из-за Волги нельзя. Река хорошо просматривается с бугра, а сейчас

и вовсе из-за ледохода Волга непроходима, опасаться десанта нечего. Кроме того, у меня была своя теория поражения фашистов в войне с нами. Я считал: чем дальше они заходили в нашу страну, тем сильнее затягивалась петля на их шее. У них просто людей не хватит! Если они даже оставят по одному человеку в каждом нашем селе (а в городах и сотней не обойдешься!), то сколько же им нужно людей? Где они столько наберут?

Моя теория уже действовала. В Гавриловке и других окрестных селах немцы не могли держать своих людей. Комендатура была только в Карповке. А здесь их вообще нет. Так что дело у них табак...

Лежал и наслаждался тишиной, а мои мысли о том, что немцам пришла настоящая хана, как сказал тот пожилой военнопленный, веселили меня и вызывали желание вскочить и закричать что есть мочи: «Смотрите, они уже выдохлись! Смотрите! Тут нет ни одного человека!»

Может быть, наши и услышали бы меня там, на том берегу. А что, если и правда заорать? Побежать к самой воде и... У меня еще есть пять минут. По воде крик разносится далеко, и я стал уже приподниматься и смотреть, где я могу быстрее и легче спуститься с кручи, но тут же остановил себя: «Мальчишка, сморчок! Ты же на задании!»

И вдруг я сначала увидел какое-то черное мелькание над заволжским лесом, а потом и услышал шипящий треск и свист хвостатых снарядов.

Поднялся и определил: «катюши» бьют не из леса, а с воды. Где-то у самой Красной слободы, из прорана вырвались два быстрых катера и палят по городу.

Снаряды рвутся на бугре, где у немцев прячутся орудия и батареи шестиствольных минометов. Они сейчас тоже заговорили. Заскрежетали и зафукали тяжелые минометы, и сразу река и город отозвались раскатистыми громами взрывов.

Вот тебе и тишина! Да тут, пожалуй, бывает такое, что небу жарко. Пригнулся и побежал с такой прытью, будто меня подняли на крылья эти взрывы. Я опять в своей стихии. Нет, наш Сталинград еще бьется!

Мама сидела на краю ямы и рассматривала наш семейный альбом. В руках фотография Виктора, которую он прислал в мае. А письмо было апрельское, последнее.

Брат в зимней лётной форме, сфотографирован по пояс. Мама молча показывает мне фотографию, и я вижу, что низ у нее кто-то отгрыз. Перевожу взгляд на альбом: он в двух местах пробит осколками.

Мама так расстроена, что, видно, ничего не слышала, а вернее, ей сейчас не до этой вдруг поднявшейся пальбы. Она смотрит на пробитую осколком фотографию, и ее нижняя губа и подбородок дрожат. Она вот-вот разрыдается, и я боюсь ее слез. Она уже плакала. Это заметно по осунувшемуся и как-то сразу опавшему лицу. Сейчас она изо всех сил крепится, но плечи ее сотрясает дрожь. Беру альбом и засовываю в мешок.

— В овраге была?

— Была... там тоже никого...

— Надо идти, — показываю ей часы, — уже второй час...

— Надо, надо, — поднимается мама, — я сейчас, сейчас...

Перетягиваем мешки веревками, получается что-то вроде переметных сум. Груз у нас нетяжелый, только громоздкий. Все готово. Как перед прыжком в холодную воду, медлю, отдуваюсь. Мама уже, согнувшись, побежала меж развалин, а я стою, вот сейчас решусь, вот сейчас прыгну. Откуда эта робость? Даже не робость, а непонятная заторможенность во всем теле. Меня сковывает дурное предчувствие: мы больше никогда не вернемся к родному пепелищу, оно уже не наше, здесь все умерло, все чужое, и сам я совсем другой.

Здесь жил другой мальчик. Он бегал в школу, гонял в футбол, плавал к плотам, которые медленно спускались вниз по Волге, написал первое письмо девчонке-однокласснице, дрожал от страха при взрывах... Этот мальчишка потерялся где-то в этих развалинах, он исчез, развеялся, как исчез и развеялся пепел с нашего погорелья, его унесли злые осенние вётры и дожди. Я теперь как дед Степаныч, меня мучают предчувствия, и я верю в приметы.

ПО ЖИВЫМ МИШЕНЯМ

Мамин мешок замер, она машет рукой. Подхватываю свой и прыжками, как заяц, скачу через камни и ямы. Сердце колотится, пульсирует ранка в бедре, жарко. Расстегиваю пуговицы телогрейки, ветер холодит

грудь, шею. Теперь могу без передыху бежать аж до самой автомашины. Я уже оторвал себя от той жизни, она за моей спиной, она там...

Мама поджидает меня, прислонившись мешком к обрушенной стене. Дальше бежим вместе, она чуть-чуть впереди, я на полшага сзади и сбоку. Бежим молча до самого оврага, а здесь, у опрокинутого танка, сбрасываем мешки с плеч и садимся на них отдыхать.

— У нас еще минут десять-пятнадцать в запасе, — глядя на часы, говорю я маме, но она молчит. Мама всегда молчит, когда занята чем-то серьезным и трудным. Эту дорогу она, видно, считает самой трудной.

Как же все-таки оказался здесь танк? Свалиться с моста он точно не мог. Слишком далеко лежит от опор. Значит, спустился в овраг где-то у самой железной дороги и шел по дну, а здесь перевернулся. Почему? Наскочил на мину? Но танк целехонек, даже гусеницы не перебиты. Залезть бы в него да пошарить. Вон и люк на брюхе открыт. Но мама поднимается и берется за мешок. Еще два таких броска — по километру, и мы на месте.

Танк скорей всего стал вылезать из оврага и опрокинулся. Эти мысли мне приходят, когда мы взбираемся по круче. Конечно, он дошел до моста, дальше идти некуда: там огромная воронка от бомбы, и он, дуралей, полез в гору. Вот потеха была, когда фрицы кувыркались с кручи. Посмотреть бы!

Выбрались из оврага и бежим вдоль полотна железной дороги. Вдруг свист пуль и одновременно запальчивый треск выстрелов. Повернул голову. Стреляют из сгоревшего и наполовину разрушенного дома, который метрах в четырехстах от нас.

Что их там всполошило и куда они палят?

Еще ниже пригнувшись, продолжаем бежать, но пули запели совсем рядом, стали биться в насыпь. Несколько фонтанчиков выскочило из земли прямо перед нами. Ударило в рельсы и с таким звоном, что мы разом упали наземь. Лежим, а стрельба не прекращается. Да что ж это такое? Так мы и опоздать можем! И вдруг я понимаю: из дома бьют в нас. Поднял голову — пули взвихривают песок в насыпи, под которой мы лежим. Испуганно переглянулись. Мама показала глазами, что надо отползать назад, и медленно потащила за собою мешок. Но струйки песка стали всплескиваться там,

куда мы ползли. Замерла, затихла и стрельба, только изредка пули ударяли в насыпь и шпалы над нашими головами. Но стоило нам зашевелиться и двинуться вперед или назад, как стрельба осатанело разгоралась.

С нами будто играли в кошки-мышки. Кошка спряталась там, в развалинах дома, и, как только мы начинали двигаться, она выпускала свои огненные когти. Били из винтовок. Несколько раз коротко ударил автомат, но тут же замолк: из него до нас не достанешь.

Казалось, лежим давно. Даже мерзлая земля стала оттаивать под нами. Тоскливо повернул голову в сторону дома. Там молчали, но я уже спиною чувствую: чьи-то хищные глаза цепко вцепились в мой затылок. Те, кто там, «забавляются» — гонят нас на насыпь железной дороги. Они, сволочи, похоже, знают, что у нас нет больше времени. Через двадцать-тридцать минут уйдет машина, и тогда...

— Я досчитаю до десяти, и мы побежим... — услышал я свой осипший, будто со сна, голос.

Мама ближе прижалась к мешку. Я начал считать.

— Раз, два, три... четыре...

Счет шел все медленнее и медленнее, а скоро и совсем застопорился. Мама подняла голову, крикнула:

— Пошли!

Вскинув мешки на плечи, мы кинулись через насыпь, и сразу воздух разорвали тонкий писк и сухие раскаты выстрелов за спиной. Я уже перескочил первую пару рельсов, прыгнул через кучу щебня, но меня кто-то так дернул за мешок в сторону, что я не удержался на ногах и полетел на шпалы между второй парой рельсов. Мешок не выпустил, но он оказался подо мной, и я тут же скатился с него. Впереди что-то с треском взорвалось, и мне прямо в лицо ударил колючий песок. Рука словно приросла к веревке, которой был перевязан мешок, и я, вместе с ним перекатившись через рельс, кубарем полетел с высокой насыпи... Проскочили!

Мама стояла перед своим мешком и обирала с юбки репьи и колючки. Глянула на меня, и вдруг ее лицо дрогнуло и поплыло.

— Ты что, ты... ранен? — Она глядела на мою щеку, и я почувствовал, что ее саднит.

— Да нет.

Мама подошла ко мне и стала отирать краем платка щеку.

— Ты что, упал? Лицо в песке.

— Споткнулся. За рельс ногой, — бормотал я. Не мог же я сказать, что меня кто-то дернул за мешок и я упал.

— Ну ладно, — успокоила мама, — тут царапина. Давай дальше, а то машина уйдет...

Я стал поднимать мешок, но она спросила:

— А это что? Ты что, мешок порвал?

Я опустил его на землю и увидел, что из мешка торчит белый клочок материи... И только позже, когда увидел, как рвутся разрывные пули и когда сам стрелял ими, понял: мешок мой пробила именно такая пуля. Взрывы, которые с треском разносили щебень и песок вокруг нас, когда мы лежали под насыпью, тоже были от этих пуль. Выстрелом из карабина разрывной пулей я перебивал палку толщиной в руку человека.

Стрельба по живым мишеням, которую, видимо, на потеху себе устроили немцы, сыграла со мною злую шутку. Я совсем не помнил обратной дороги. Когда военнопленные начали расспрашивать нас о ней, я мог сказать только о танке в овраге да о собирающейся замерзнуть Волге. От мамы я услышал, что мы возвращались другой дорогой, и страшно удивился. Удивился до того, что прервал ее рассказ, спросив:

— А у танка мы отдыхали?

— Да, — ответила она, но дальше опять рассказывала военнопленным про ту дорогу, по которой я никогда не ходил. Мы, оказывается, пробежали весь двор лесопильного завода, а пошли через него, чтобы разведать другую дорогу. Здесь можно было короче выйти к Волге.

После того как на нас «охотились», с моей памятью в тот день произошло вообще нечто странное. Оставалось еще полдня, а память удержала только два эпизода, вернее два мига, которые будто ослепили меня, погасив вокруг все другое.

Мы стояли с мамой у оврага (видно, это был тот овраг, где грузились наши автомашины), и я смотрел на кромку тени и солнца, которая рассекала овраг. Под обрывом проходила тень, и там была серая, как камень, замерзшая земля, а рядом, на солнцепеке, по-весеннему ярко зеленела трава и в ней горело несколько цветков бессмертника. Ветер клонил их синие голов-

ки к земле, а они настырно выпрямлялись и тянулись к солнцу. Граница тени и солнца проходила всего в нескольких метрах от меня, и я содрогнулся оттого, что видел жизнь в такой близи от смерти. Оказывается, они рядом, и даже сразу не заметишь, где одно переходит в другое. Только когда отводишь глаза от кромки тени в одну сторону, видишь лето, а в другую — зиму.

И еще вот что запомнилось мне в остаток того осеннего дня сорок второго года. Когда мы вернулись, я увидел только фундамент дома, перед которым два часа назад остановилась наша машина. Низкий кирпичный подвал будто в смертном испуге прижался к земле, и таким он навсегда застрял в моей памяти. Я стоял как громом пораженный перед этим приплюснутым и съежившимся подвалом. И никак не мог постигнуть: как же можно было среди вселенских развалин, среди всеобщего и потрясающего разорения взять и разломать чудом уцелевший дом? Как можно? Ведь людям негде жить. В нашей кухне земляной пол, еще не было сильных морозов, а стены промерзают насквозь. У многих нет и такого жилья. Забились в блиндажи и окопы, как суслики в норы. Надо же строить людям жилье, ведь они же люди! А тут взяли и за два часа под корень сломали исправный, не тронутый пожаром дом. Как же это?..

И каждый день приезжают сюда огромные, как вагоны, черные автомашины, чтобы доломать то, что пощадили бомбы и огонь. Нет, я многого еще не понимал в этом взбесившемся мире, не понимал, хоть и силился понять. И во всем этом было одно оправдание и был один выход: мир опрокинули и растерзали фашисты. Они били в нас разрывными пулями, они разметали этот целехонький дом и отняли у дедушки его дом. Они, все они, во всем виноваты только они.

Когда подъезжали к Гавриловке, стал отходить. Растормошил меня Касым. С мамой говорил пожилой военнопленный. Он снял с грязной, нечесаной головы пилотку и все время вытирал ею пот на лбу, висках и своей птичьей шее, которая мне, казалось, вот-вот переломится. Рядом сидел Семен и, как только пожилой умолкал, сразу включался в разговор:

— А если не переходить полотно железной дороги, то можно проскочить мимо дома, откуда стреляли?

— Можно, но тогда вы не попадете в овраг, — устало отвечала мама, — и не выйдете к берегу Волги.

— А если через лесопильный?

Пожилой, передохнув, властно поднимал руку, что означало приказ умолкнуть Семену, и продолжал свой расспрос. Он уже «прошел» по нашему пути от машины до Волги, и сейчас его дотошные и въедливые вопросы, требующие обстоятельных и точных ответов, «возвращали» пожилого назад, через развалины лесопильного завода. Я этой дороги не знал и ничем не мог помочь маме.

На меня наседал Касым. Я уже все рассказал ему про Волгу, про оба берега, про сало-ледоход и даже про горьковских плотников.

— Это один из ранних рассказов Алексея Максимовича, — сказал он. — Меня интересует, что ты видел еще! Все припоминай! — почти сердито добавил Касым. — Рассказывай, что видел, а не то, что переживал там? Это лирика, Андрей, и дела не касается. И твои лето, зима, жизнь, смерть — тоже лирика. Говори, что еще!

— Да вроде все рассказал, — пожал я плечами, — и про танк, и про мост, и про снарядные гильзы и окопы, и про разбитые вагоны на путях. Вот еще видел убитую женщину и ее дочку там... Рассыпанная пшеница рядом...

Пожилой вскинул свои полузакрытые глаза, прервал разговор с мамой и стал слушать. Мама смотрела на меня, недоумевая, и у нее, видно, было такое же выражение на лице, как и у меня, когда я слушал ее рассказ про обратную дорогу через лесопильный завод. Видя, что мне не верят, полез в карман и достал несколько зерен.

— Набил полные карманы, а потом, как увидел этих... в одинаковых платьях, все сразу высыпал.

— А ну, вытряхивай, — подставил пилотку пожилой. — Все карманы выворачивай...

В пилотку насыпалось горсти полторы-две пшеницы. Ее осторожно пересыпали в тряпицу, завязали аккуратным узелком, и пожилой, положив ее в карман шинели, сказал:

— Да тут целый суп-рататуй выйдет.

— Зачем же ты выбрасывал? — сверкнул глазами Касым. — Разве хлеб бросать можно? Ай-я-яй! Какой ты человек!

Пожилой поднял руку, и Касым, отвернувшись, умолк. Только сердито сопел и даже скрипел зубами.

Мои плечи сами собой стали вздрагивать, и я ткнулся головою в брезент. Пожилой встряхнул меня, сжал локоть.

— И за это спасибо, сынок. Ты нас прости.

Дальше ехали молча. Мама платком вытирала глаза.

ДНЕВНИК *(продолжение)*

12 ноября. Когда мы везли боеприпасы на склад под Сталинград, было нестерпимо холодно. С высоты видели Волгу. Затем въехали в Сталинград. Он выглядит так, будто его постигла божья кара. Жалкое имущество разбросано у домов, поломанное и грязное. Картина страшного опустошения. Около каждого дома убежище или дзот. Наши солдаты продвигаются вперед по глубоким ходам сообщения, да и это возможно лишь ценой больших жертв, а бои все же продолжаются. Очень быстро вернулись назад и стали искать дрова для топки. В ход пошла и случайно уцелевшая мебель. Все подвергается уничтожению. По окончании зимы в Сталинграде, конечно, не найдешь ни полена. Возродится ли когда-нибудь этот город?

15 ноября. Внезапный приказ: получить боеприпасы и ехать в Сталинград. Большая спешка. Вечером в землянке у хорватов. В доме, где переночевал, подцепил вшей.

19 ноября. Дзотов почти не строим. Идиотская жизнь угнетает. Для чего, собственно говоря, жить? Германия мобилизует последние силы, чтобы победить. Танкисты и артиллеристы используются в пехоте. Если мы проиграем войну, нам отомстят за все, что мы сделали. Тысячи евреев, расстрелянных в Киеве и Харькове, женщины и дети. Это просто невероятно! Но мы не должны терять почву под ногами, иначе то же будет с нашими женщинами и девушками.

21 ноября. Возвращаясь из поездки за хлебом, сбились с дороги. Это была бесцельная езда. Три часа ездили и вернулись на то же место. Усталые и грязные, двинулись дальше. Скопилось много машин и повозок. Лошади падали, не могли идти дальше. Пришлось одну выпрячь. Прохватывал ледяной ветер, но нужно было ехать дальше по бесконечным дорогам. У Питомника опять скопление, так как дорога здесь очень скользкая. Из-за этих русских можно сойти с ума. За несколько метров до нашего жилья опять большая остановка. Чертовская работа: вытащить все 19 повозок. В конце концов я бросил одного русского в воду. Парни ничего не понимают, и тогда приходится поступать несправедливо. Иногда стегнешь и кнутом, но я стараюсь бить только одетых в толстую шинель. Пришел в квартиру поздно ночью. Ругался последними словами. Однако говорить о войне — только бесцельно проводить время. Русские прорвали позиции итальянцев и румын, немецкие моточасти движутся беспрерывно опять через Дон. Русские должны быть уже в Бузиновке. В Африке Роммель продолжает отступать. Лучше всего было бы прекратить войну в Африке и добиться решения здесь. Что будет, если мы проиграем эту войну?

22 ноября. Взяли одного русского, отставшего от своей части. Из-за того, что он сбился несколько раз в своих показаниях, его заставили нагнуться, и Шпис бил его толстым ремнем до тех пор,

пока я не приказал прекратить. Живем в напряжении и тревоге. Русские энергично наступают. Пришел связной. Русские у Калача. К югу от Сталинграда наступают русские танки, которые направляются в Карповку. Ночью мы должны сняться и ехать через Питомник, Россошку, Алексеевку и Дмитриевку...

Только утром добрались до Гумрака. Здесь настоящая паника. Из Сталинграда идут потоком автомашины и обозы. Дома, продовольствие и одежда горят. Мы окружены! Ударом бомбы явилось для нас сообщение, что Калач, который, как мы полагали, в наших руках, снова у русских. Против нас наготове 18 русских дивизий. Согласно приказу Сталинград должен был быть очищен за 4 часа. Большинство повесило головы. Я им объясняю, что нас не оставят на произвол судьбы. Многие говорят, что они застрелятся... На пути ог Карповки видели части, которые жгли бумагу и одежду...

Известия о том, что у Калача 76 тысяч русских взято в плен, и приказ фюрера удержать Сталинград. В этом Адольф мне нравится. Зачем уступать это важное место, когда мы его почти уже прочно взяли в свои руки? Кроме того, борьба за Сталинград стоила нам слишком больших жертв. Меня же такое тяжелое положение не привело в отчаяние, хотя я и не ура-оптимист... В таком положении лучше всего оставаться трезвым. Велел приготовить себе пудинг, чтобы русским не достался пудинговый порошок.

25 ноября. По моему мнению, мы все же окружены. Носятся ужасные слухи, что свыше 360 отпускников захвачены русскими... Поражение в Африке, и здесь дела — дрянь.

26 ноября. Каждый раз, когда появляется связной, приходится выбегать по своим надобностям. Господа офицеры из штаба сидят теперь с расстройством желудка — от страха. Кольцо вокруг нас смыкается все теснее. А в сообщениях с фронта говорится только о прорыве на Дону. Нам уже много говорили чепухи, так и на этот раз. Получил, вероятно, последнюю почту.

Эти записки несколько опередили мой рассказ. Скоро я совсем оставлю этого незадачливого немецкого офицера одного, и он будет сам досказывать про конец своей бесславной жизни и про то, что случилось с третью миллиона его сограждан в нашей степи на Волге. Судьба нас свела меньше чем на месяц, а потом вновь развела, и дальше у него будет почти еще два месяца агонии в железном кольце окружения, когда ему и таким, как он, воздастся за все, что они принесли на нашу землю. Но это будет потом.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

После поездки в Сталинград я, наверное, сильно простудился и по утрам тяжело и неохотно вылезал изпод дедушкиного тулупа. А сегодня чувствовал себя особенно плохо и даже не поднялся к завтраку. Запах духовитой, горячей пшенной каши кружил голову, а я

лежал и не мог разомкнуть век. Сон пересиливал голод. Позже, когда мы действительно голодали, такого никогда не случалось, даже если мне нездоровилось, а теперь я лежал, к тому же хитрил: «Мою порцию никто не съест, еще и добрый добавок выделят».

Слышал, как несколько раз в кухню входил и выходил дедушка, чертыхался, костерил «супостатов», сообщил, что сегодня сильнющий туман. Они поговорили с мамой, что, возможно, это последний, «сороковой» туман и тогда уже наконец окончательно «ляжет зима». А потом все вдруг зашумели и засуетились в кухне.

— И я тоже, и я тоже, — захныкала маленькая Люся. Дверь несколько раз хлопнула, и я в кухне остался один.

Обрадовался, что все ушли: посплю, подумал, еще немного в тепле — и, наверное, тут же уснул, но только на миг, как бывает утром, когда ты смотришь на часы и тебе пора вставать, а сам медлишь и засыпаешь всего на несколько минут или даже секунд, а потом пробуждаешься.

Хлопнула дверь, опустела кухня, я глянул на отцовские часы (они все время со мной) — девять тридцать — и провалился в сон, но, видно, тут же проснулся, потому что часы показывали все те же девять тридцать. Проснулся от необъяснимой тревоги: проспал!

Но тут же понял, что разбудил меня гул. Несколько минут затаенно прислушивался к этому нарастающему и какому-то всеобщему гулу. Он шел отовсюду — от земли, неба, он сотрясал саманные стены, потолок и даже земляной пол, в кухне все вибрировало. И меня опять будто пронзило: проспал!

Вскочил, в одну минуту оделся — и наружу. Во дворе никого. Выбежал на улицу. Здесь стояло несколько человек в каких-то странных, застывших позах. Люди слушали этот гул. А он все нарастал, волна за волною, со стороны Красноармейска.

«Началось! — Меня обдало такой радостью, что я не смог сдержать дрожь. — Началось! — клокотало все во мне. — Начала распрямляться пружина, которую столько долгих месяцев сжимали немцы... Сколько мы ждали этого часа! Сколько сделали нечеловеческой работы люди, чтобы пришел этот миг! — И сразу острая боль утраты, непоправимости: — А сколько так и не дождались!..»

Гул перерастал в сплошную канонаду, которая все сильнее сотрясала землю, небо, рвала вязкую пелену тумана. Испуганно залаяли и завыли собаки (а я считал, что их всех постреляли немцы), взревели моторы автомашин, послышались голоса чужой речи... Стоять на месте уже было нельзя, и я опять сорвался и побежал.

Видимо, в то утро у меня все же была температура, а может, и время смыло из памяти многие эпизоды, но этот день, двадцатого ноября сорок второго, когда с нашего, южного края началось Сталинградское наступление, помню, пусть и клочками, как будто передо мною прокручивают старую, изорванную киноленту.

Помню, кто-то бежал по хутору и кричал:

— Мэтэфэ горит, мэтэфэ горит!

Туман уже начал рассеиваться, но дома еще только проступали. Я кинулся к Васькиному двору, по дороге столкнулся с ватагой хуторских мальчишек. Они бежали по улице в сторону молочной фермы. Среди них и наш Сергей. Он сразу отбежал в сторону, боясь, что я верну его домой. Но мне было не до него.

— Где Васька, где все?

— Они там, все там, — ответила ватага и понеслась дальше по улице.

Я побежал напрямик, через дворы, и оказался на пожаре раньше мальчишек. Еще не было видно огня и дыма, а уже по запаху почувствовал — горят пищевые продукты. Тяжелый, дурманящий запах горелого мяса забивал все другие пряные запахи, и только время от времени пробивался горький хлебный дух: так горели в городе продуктовые магазины в первые дни бомбежки.

Дней десять назад немцы ликвидировали бойню (видно, уже не стало скота) и разместили в помещении молочной фермы какой-то склад. А какой именно, мы узнали только сейчас.

Ферма пылала жарко.

— Подожгли, гады! — Васька бежал мне навстречу. — Открыли бочки с бензином и катали их вокруг мэтэфэ. А одна сейчас взорвалась там! — Он ткнул рукой в сторону огня. — Слыхал, жахнуло? Там, наверное, еще есть, и опять жахнет...

Васькино лицо было в копоти, а вихор белого чуба, выбившегося из-под шапки, вился мелкими золотыми кудряшками.

— Смотри, сгоришь, — остерег я его.

— А-а! — отмахнулся он. — Ребята знаешь как ныряют в огонь. Там прорва всего. И сахар, и шоколад, и консервы разные. А как жахнула бочка, так все забоялись...

Мы обогнули огромный костер и вышли к ферме со стороны речки.

— Здесь не так жарко, — перевел дух Васька.

Я увидел ребят. Они стояли вокруг какого-то мужика в черной телогрейке и такой же черной шапке. Мужчину я не знал. В его руках был пустой мешок, и он торопливо заталкивал его в ведро с водой. Потом накрыл голову и плечи этим мокрым мешком и ринулся к проему двери, вокруг которого плясал огонь. Двое мальчишек, подхватив ведро, побежали к речке.

— Это что? — спросил я у Васьки.

— А вот, — кивнул он на горку консервных банок, лежавших в сторонке; здесь же валялись обгорелые, разбитые ящики, разорванные картонки, стружки и бумага...

Из дверного проема в клубах дыма и пара вылетели ящики, рассыпая снопы искр, и тут же оттуда выкатился тот отчаянный, в черной телогрейке. Он летел кубарем, догоняя скачущие по мерзлой земле банки, докатился до лужи, где на него начали лить воду, и стал хватать руками грязь. Шапка и телогрейка на нем дымились.

С речки прибежали ребята. Мужик выхватил у них ведро и сунул свои грязные руки в воду. Кривя измазанное копотью лицо, он приговаривал:

— Сколько там добра... Сколько добра погубили, сволочи...

Мы отошли, и Васька начал совать мне в карманы плоские банки консервов...

Тот день запомнился мне как день пожаров. Горели животноводческие помещения за селом, горели дома в селе, горела степь за бугром и речкой Червленой, куда отходили немцы и куда били «катюши».

Прибежал на свой двор и увидел: горит дедушкин дом. Полыхнув в низкое, клочковатое небо огромным снопом искр и языками огня, рухнула крыша. Гул и треск огня заглушали крики людей. Дедушкин дом, как и другие дома в хуторе, никто и не пытался тушить. Женщины кричали на детей. Вокруг пожара потерянно бродил дедушка.

— Сукин же он сын! — У него в бороде стыли бусинки слез. — Взял и запалил... Я его прошу, я его молю, а он канистру вылил и бегает с квачем... Та неужели ж у него детей нет, что ж это за звери такие...

Я впервые видел дедушку плачущим. Когда умерла бабушка, мне кажется, он не плакал, а только ходил по двору, рычал и чертыхался, а теперь стоял у кривого столбика, на котором, сколько я помню себя, висел дырявый чугунок, и плакал. Плакал и ругался, проклиная супостатов.

Даже к вечеру то ли туман, то ли дым от пожарищ так и не рассеялся, висел над селом как туча. И тогда во двор к нам вошел невысокий крепыш красноармеец в обмотках и длинной шинели, полы которой были подсунуты под ремень.

На одном плече у него болтался тощий рюкзак, на другом висела винтовка. Красноармейцу было лет тридцать, а может, и меньше. Отворив низкую калитку, он шагнул во двор и громко сказал:

— Здрасте!

Теперь в наш двор можно было войти с любой стороны, потому что везде забор или сгорел, или был повален, оставалась только калиточка со стороны огорода, но он вошел в нее. Женщины недружно ответили:

— Здравствуйте.

И замолчали. Меня удивило это молчание, и я решил, что красноармеец только для меня первый в нашем хуторе. Другие скорей всего уже встречали здесь наших бойцов, которые выбили немцев. Однако нашего гостя не смутил холодноватый прием. Он стащил с плеча вещевой мешок, а затем и винтовку и повесил их на столбик с надетым сверху дырявым чугунком. Дедушка отошел на шаг, но все так же смотрел на догорающий дом.

— Не горюй, папаша, — сказал красноармеец, — дом можно построить и другой... И еще лучше...

— Где ж ты был, когда этот супостат палил его? — сердито повернулся дедушка. — Где? — В покрасневших глазах его стыли слезы. Он не вытирал их, а все время хватался рукою за ворот телогрейки и тянул вниз, точно кто-то давил ему горло.

Красноармеец пожал плечами и достал из кармана шинели пачку немецких сигарет.

— Да там же, — протянул он деду сигареты и опустил голову.

Дедушка даже не пошевелился, и я, чтобы сгладить неловкость, сказал:

— Он не курит.

— Тогда давай, папаша, помянем твой дом, — сказал красноармеец и стал снимать со столбика свой вещмешок. — Их много на земле пожгли, домов. Не горюй! — Он развязал лямки, потом расслабил веревочку и достал белый матерчатый сверток. Это была пара нательного бязевого белья. Выпростав из него бутылку, молча колыхнул ее в руке.

Я вспомнил про Васькины консервы, достал банку и протянул ее дедушке. Мне хотелось, чтобы он сменил гнев на милость.

— Сыновья есть? — как ни в чем не бывало продолжил красноармеец.

— У дедушки два сына, — заспешил я.

— В армии?

— Вот такие же, как ты, — наконец отозвался дедушка, — воины. — Он опять замолчал, продолжая смотреть на терявший силу огонь, но я уже понял, что та злоба и горечь обиды, которые все время рвались из него, стали утихать. Он переступил с ноги на ногу, оглядел красноармейца, будто только сейчас его увидел, и буркнул: — Чего мы тут стоим, пойдем до кухни, освободитель...

— А может, тут? — засуетился красноармеец. — У меня вот и кружечка. Да и спешу я. — Но дедушка уже пошел к кухне, и красноармеец, подхватив свой рюкзак и винтовку, как провинившийся подросток, поспешил за ним. — Да ты не убивайся, папаша, построите дом-то, построите...

— Нет, — отозвался дедушка, — я уже отстроился, стройте теперь вы, если допустили его сюда... — И, повернувшись ко мне, добавил: — Попроси там у матери луковицу.

Они уселись под навесом, где стоял шаткий, грубо сколоченный стол и две лавки. Когда я принес луковицы, соль и кусок черствого хлеба, дедушка и красноармеец уже сидели за столом. Перед ними стояла бутылка, закопченная алюминиевая кружка и Васькина плоская банка консервов. Они уже открыли банку. Там лежало несколько серебристых рыбок, у которых были отрублены головы и хвосты.

— Сардины называются, — пояснил красноармеец и пододвинул дедушке кружку.

Я впервые слышал это слово и удивился, что невзрачную рыбешку, похожую на наших гольцов, называют таким красивым словом. Им можно было назвать страну.

— У них вся еда чужая, — сказал красноармеец и подцепил ножом рыбку. — Всю Европу ограбили. Это вот консервы датские, а есть французские, голландские, норвежские, греческие... Вот и повоюй с ними. — Он налил из бутылки в кружку и, подняв ее над столом, крикнул: — А мы их бьем и будем бить так, что внукам своим закажут...

Он выпил, подержал в руке хлеб с рыбкой и протянул его мне, а сам отрезал кусочек от луковицы и, макнув его в соль, стал жевать.

Рыба была на удивление вкусная, и я пожалел, что Васька дал мне всего две банки. Надо будет сгонять на пожарище, может, еще что осталось там.

А красноармеец уже не говорил, а кричал. Снял шапку, и я увидел, что он не такой уж молодой: на стриженой голове пролысины, на висках седина.

— Они еще заплачут, они еще кровавыми слезами...

Дедушка глядел на груду пышущих жаром головешек и углей, и глаза его опять стали мокрыми.

— Да не горюй ты, папаша! Кто эту войну переживет, будет жить как царь! Кто переживет... — И тут же умолк, будто для его крика не хватило дыхания.

— А ее еще много, — вздохнул дедушка, — ой, как еще много. Он за год вас сюда допер, а за сколько вы его?

— Ну, мы его тоже, за нами не заржавеет! — И, уронив голос почти до шепота, красноармеец добавил: — Хочу, чтоб не убили до весны. Мне только до весны... За зиму отобьем у них Краснодар. Я, папаша, из-под станицы Лабинской. Слыхал про такую?

— Слыхал, слыхал.

— Там у меня двое малых деток, жена и мать старенькая. И мне до них обязательно надо. Вызволить их, а потом можно, как и другим...

В хутор тем временем входила колонна автомашин. Надрываясь, гудели моторы, перекрывая их, кричали люди, все, кто еще не решался выйти из дома, теперь высыпали на улицы. Видя мое нетерпение, дедушка кивнул:

— Беги, Андрюха, может, там и твой батько или кто из наших.

Я сорвался с места, и в груди моей, как колокол, забилось сердце. «Может, отец, может, дядя Ваня или дядя Коля. А может, Виктор?..»

ИЩУ ОТЦА

Машин и людей входило в хутор много. По дороге втягивались подводы. Выбежал навстречу этому обозу. Мне почему-то казалось, что отец может быть там. «Стариков определяют в обоз» — застряла в моей голове чья-то фраза. И хотя я не мог согласиться с тем, что мой отец старик, но его недоступные моему пониманию сорок шесть лет толкали к этому обозу.

— Ты кого встречаешь, хлопчик? — остановил меня красноармеец в заиндевевшей шапке-ушанке. Он шел рядом с подводой, и вожжи в его руках повисли почти до земли.

— Отца, что ли? Эй, малец!

Я кивнул.

— Ну ищи, ищи... А фамилия как?

— Чупров.

— Не попадалась такая. Ты погоди. Слышь, погоди. — Он бросил вожжи на телегу и, не останавливая лошадей, которые были такие же заиндевевшие, как и он сам, стал рыться на дне брички. — Вот, на, — достал он большую банку. — Тушенка!

Подвода уехала. Я стоял с банкой в руках, и меня вдруг будто обожгло воспоминание: да это же тот самый пожилой красноармеец с ручным пулеметом, которого я видел у нашего сгоревшего дома! Летом. Тогда он мне тоже дал вот такую же вымазанную в солидоле банку тушенки. Точно, он! А где же его второй номер? Тот молодой, стриженый, с оттопыренными ушами. Где он? И где же все они так долго были?

Хотел догнать, спросить, но навстречу ехали другие подводы и машины, шли группами и в одиночку красноармейцы, и я скоро забыл про этого пулеметчика, бежал дальше, останавливался, заглядывал в лица людей, искал родное лицо.

Кто-то сунул мне в руки кирпичик мерзлого хлеба, кто-то дал пачку горохового супа-концентрата, я уже не шел, а стоял на обочине, а мимо двигались люди, машины, подводы, и у меня падали из рук пакеты и банки, и я совал их за пазуху, под телогрейку, в карманы. Я был словно в бреду. Меня отрывало от зем-

ли и несло куда-то, будто я попал в вихревые потоки. В голове стучала одна радостная мысль: «Выжили! Выжили!» И что бы теперь с нами ни случилось — рядом свои, родные. А немцы покатились за речку, за тот бугор, в сторону Карповки. Да, меньше месяца они были здесь, а показалось, что прожита долгая страшная жизнь, которая была дурным сном и кошмаром.

В этом дурном сне и кошмаре сейчас застряли и барахтаются «супостаты». Они ходили по этой земле, жили в дедушкином доме, а потом сожгли его. Сон и кошмар теперь там, у них, и им расхлебывать ту кашу, которую они заварили. Отольются им наши слезы и муки.

Я брел домой и бессвязно шептал: «Выжили... наши слезы... выжили...»

ДНЕВНИК *(продолжение)*

1 декабря. С питанием дело обстоит так: сначала продовольствие получают офицеры, они берут себе все, что хотят; затем остатки — унтер-офицеры, остальное достается рядовым. Штаб заставляет привозить для себя масло и другие продукты из далеких тылов, а все другие могут лишь смотреть им в рот. Иногда на меня нападает ужасное настроение.

2 декабря. Непрерывно садятся Ю-88 и доставляют необходимое. Как долго мы будем еще в окружении? По Гумраку стреляет дальнобойная артиллерия русских, с едой становится плохо, особенно с хлебом.

4 декабря. Сильный артогонь. Говорят, окружение прорвано. Съел порядочную порцию конины.

7 декабря. Дико холодно. Вчера пришлось застрелить одну лошадь. Утром нашли еще двух мертвых лошадей в хлеву, а одну застрелили. Несчастные лошади больше не выдерживают. Еще месяц, и у нас не останется ни одной. Наш продовольственный паек тоже сокращается. На семь дней — буханка хлеба и конина...

9 декабря. В одной листовке офицерам предлагают сдаться вместе со своими людьми. Идиотская мысль. Вдали пробегала свинья. Все десять человек бросились за ней. Это пойдет на колбасу.

10 декабря. Опять распространяются слухи: Гитлер передал по радио, что до рождества он нас освободит. Тимошенко, со своей стороны, заявил, что его войска больше не отступят. Сегодня были сбиты три Ю-88. У меня опять отвратительное настроение. Когда поразмыслишь о войне, приходишь к печальному выводу: ведется она для немногих. Как это всегда бывает, бедные должны проливать кровь за богачей.

11 декабря. Опять напряженные воздушные бои. Два русских самолета сбиты. Русские летчики очень дерзки. Они сбрасывают листовки и бомбы. Каждый вечер прилетает «кофейная мельница» (По-2. — *В. Е.*) и сбрасывает бомбы.

12 декабря. Русские летчики становятся все более нахальными. Они сегодня стреляли из бортовой пушки. Наш маленький

Фогт убит. Кто будет следующий? Настроение у меня все не улучшается.

14 декабря. Я слишком впал в уныние, снова очень печален. К сожалению, мне не с кем поговорить откровенно. Мучает мысль, что я навсегда останусь в России. И все же надеемся, что в ближайшие дни кольцо будет прорвано. Утром под прикрытием танков и орудий поедем доставать продовольствие. Не хочется провести рождество без всего.

17 декабря. Многие находятся в подавленном настроении, так как мы все еще в окружении.

19 декабря. Повсюду артстрельба. Наши это или русские? Бортольд и Рункель погибли вслед за Фогтом. Двадцать процентов раненых. Из пятнадцати человек, пришедших 3 ноября в запасную роту, семь уже выбыли. Когда придет конец нам?

22 декабря. Русские опять прорвались на участке итальянцев и находятся около Миллерово.

25 декабря. Наш праздничный вечер прошел неплохо. Сначала — старая немецкая песня «Тихая ночь, святая ночь». Почтили наших павших товарищей. Все вспоминали родину. На обед были котлеты и пудинг с яблоками. Каждый получил немножко покурить. Несколько дней назад поблизости от нас пленные одного лагеря убили часового, и все убежали. Причина этого, вероятно, голод.

28 декабря. Мы все здесь становимся немножко пессимистами. У всех болят головы. Только бы не заболеть. Тогда все потеряно. Здесь нет ни одного врача. Чувствуешь себя забытым богом и людьми.

В дедушкиной кухне холодно, тесно, мы здесь вместе с бойцами из второго расчета дальнобойной гаубицы. Батарея за селом. По ночам солдаты поднимаются, натягивают на себя белые маскхалаты и уходят в разведку — «высмотреть, куда им стрелять завтра». Мы лежим, не спим, ждем их возвращения. И так почти каждую ночь. Старший среди них сержант Митя — здоровенный моряк-подводник с Дальнего Востока, под солдатской гимнастеркой у него тельняшка. Он говорит мне всякий раз, когда уходит в ночь.

— Ну, договорились, Андрей. Значит, на флот — не пожалеешь. Лучше пять лет на флоте, чем три в пехоте. Держи. — Митя обнажает ослепительно белые зубы и подает мне широченную, как лопата, ладонь.

В тревожной тоске я всегда смотрю на его могучую спину и потом долго прислушиваюсь к удаляющимся шагам за дверью. У разведчиков жизнь опасная, но интересная. Я завидую им, но всегда, когда они уходят, боюсь за них. С ними хорошо, народ они щедрый и веселый, без шутки слова не скажут.

Жизнь у нас нормальная, сытая. Такой уже не было до конца войны. Не было потому, что ранней вес-

ной и еще раньше, в январе и феврале, воинские части стали отбывать из Сталинграда.

Уезжали и наши артиллерийские разведчики... Это было перед новым, 1943 годом. Фронт отодвинулся куда-то под самую Песчанку, и их «хозяйство» тоже собралось в дорогу. Митя пришел прощаться в новой форме. Ворот, как и прежде, распахнут, и на груди синие полоски далекого и милого ему моря. На крепком, продубленном нашими степными ветрами и морозами лице тугая улыбка, а глаза печальные.

Как же сильно люди прирастают друг к другу, когда рядом смертная опасность! Слабый к сильному и сильный к слабому, дети к взрослым и, может быть, еще больше взрослые — к детям.

Митя в крепком замахе поднимает руку.

— Ну, держи, Андрюха, — бьет он своей широкой ладонью в мою, — как уговорились, на флот. Юру или Гришу твоего найдем обязательно. Слышь, найдем! Как только где прослышу, так сразу дам знать. Ну, еще раз держи. — И он опять, с потягом, шлепает в мою ладонь.

Изо всех сил держу удар, даже в зажившем бедре отдалось. Предательские слезы комком ползут к горлу.

— Ну, силен! — непривычно громко хохочет Митя. — Отъелся на армейских харчах, воробей. Ишь шея, ишь щеки... — Он похлопывает меня по плечам. — Набирай форму, для флота вещь необходимая. Не вешай носа и жди вестей!

ДНЕВНИК *(окончание)*

29 декабря. Вчера русские прорвались на участке 208-го пехотного полка. Манштейн, который спешил нам на помощь, кажется, окружен сам. Все повесили головы. Но нам нельзя распускать нервы! Поражения Германии нельзя допустить. Быть зарытым здесь, в России, — мысль неутешительная. Хотя, пожалуй, и на это надо рассчитывать. Нам нужно защищать нашу Германию от русских!

30 декабря. Настроение все хуже. Манштейн тоже окружен. Сменят ли нашу дивизию? На участке 208-го полка русские прорвались потому, что нашим солдатам запрещено стрелять. Сильно голодаем. Из еды — только конина.

31 декабря. Никогда бы я не подумал, что конец 1942 года застигнет меня в бесконечной приволжской степи у Сталинграда. Путь был через Киев—Харьков—Оскол—Чар (вероятно, Чир. — *В. Е.*) — на Дон и теперь в Гончара. Мы все еще окружены, но не надо отчаиваться. Сегодня узнали, что будем получать ежедневно по 100 граммов хлеба.

1 января 1943 года. Сегодня Гаммерс пришел с известием, что

русские пленные будут расстреляны. На это никто не имеет права. Если мы еще имеем надежду на прорыв, то пленных следует взять с собой или оставить их где-нибудь в одном месте. Тогда мы бы показали нашему врагу, что мы не трусливые убийцы, а сражаемся честно. У меня мало надежды на возвращение из России.

3 января. Почти все, за исключением нескольких ремесленников, идут в пехоту. У всех крайне подавленное настроение. С одним я крупно поговорил. Он хочет при первой же русской атаке пустить себе пулю в голову. Я ему объяснил, что нужно подороже продать свою жизнь. Кто из нас увидит родину? Кто виноват во всех страданиях, лишениях и нужде, которые испытывают наши близкие в тылу? Сегодня вернулся один из строительной роты. Он был у русских, его продержали два дня, хорошо с ним обращались, хорошо кормили, потом отпустили, сказав, чтобы через две недели и мы были бы тоже у них.

4 января. Сложил вещи и написал последние письма. На днях пойду в пехоту. Я иду охотно — за свою Германию и моих близких. Мне не хочется умирать, но, если придется, я умру солдатской смертью по девизу нашей части: «Храбрый и верный».

5 января. На кладбище нашей дивизии в Сталинграде больше 1000 убитых. Это просто ужасно. Люди, которые уходят из обоза в пехоту, могут считать себя приговоренными к смерти.

6 января. Получаю направление в 208-й полк. С богом, в бой! Хороший прием в полку — бомбы рвались совсем рядом. Грязь и осколки пролетали над нами.

8 января. «Красный Октябрь» стал для 79-й дивизии Верденом. Необычайно большие потери с нашей стороны. Говорят, что дивизию сменят, штаб дивизии выбрался из окружения на самолетах и должен получить новую задачу. Из 208, 121 и 226-го полков сформировали один полк — 79-й.

9 января. Подготовка к стрельбе из пулеметов очень плохая. Люди измождены и невнимательны. Вся жизнь здесь держится на нервах. Ждешь и ждешь. Наконец меня вызвал капитан Филь, и вот я — командир взвода во 2-м батальоне. 11 января пойду на передовую. А пока я хочу хорошенько подучиться.

10 января. Направился во 2-й батальон... Ночью был передан ультиматум, который нам предъявили русские. Мы все должны сдаться, и с нами будут хорошо обращаться. Офицеры могут сохранить даже свое личное оружие. Но наше командование, естественно, отказалось от ультиматума. Русские обстреливают из всех видов оружия и бросают бомбы.

11 января. Русские вклинились в нашу оборону. Вчера произошла паника. Вечером был на кладбище. Ужасно! Многие мертвецы лежат непогребенные. Большинство не имеют крестов. Завтра в шесть утра идем на передовую. Тяжелый марш по снегу до белых домов. Беда с румынами. Одного пришлось полтора километра почти тащить на себе, так как он все время падал. Наконец достигли белых домов. Чертовские беспорядки и неорганизованность, ничего не приготовлено.

12 января. Сидим в погребе, очень скудный свет. Русские снова перешли через шоссе. Через несколько часов начнется атака. Получили пополнение из артиллеристов: два унтер-офицера и двадцать два рядовых. Все — пушечное мясо. Русские снова активизировались.

13 января. Когда я докладывал подполковнику Айхлеру, пришло сообщение, что наша 9-я рота окружена. Нужно было сейчас же

отправляться в путь. Невероятно трудная работа — вести людей на передовую, а мы к тому же не знаем, перешли русские за железнодорожную линию или нет. По пути один румын не хотел идти дальше. Я его прибил... У нас неплохой дзот, но пришел безумный приказ, и мы его оставили, оказывается, надо быть всем вместе. Теперь на двадцать человек — две маленькие щели. Все нервничают и справедливо ругаются. Укрытий почти нет, это означает верную смерть для нас. Были в восьмидесяти метрах от русских, пули свистели вокруг. Один русский крикнул: «Иди сюда, немецкий солдат!» Спать, конечно, нельзя. У меня сильно болят пальцы на ногах и руках. Я, вероятно, их отморозил. Русские продвигаются дальше. Они сломя голову рвутся вперед. Артиллерия и минометы не дают нам покоя. Виноваты в этом румыны, которые без маскировки пробегают по дороге...

14 января. Артиллерийские расчеты, бывшие с нами, вчера понесли большие потери (свыше двадцати человек). Русские прорвались, и там остался наш пулемет. С остатками своего взвода вернулся фельдфебель Янзен. У него большие потери. У меня во взводе на сегодня десять человек. Сегодня один убит и шесть ранено. Наша артиллерия стреляет по своим же рядам. Наша рота потеряла три четверти своего состава. Прибыло пополнение из семи саперов. Мерзнем и голодаем.

15 января... Как долго будет продолжаться наша ужасная жизнь и будет ли вообще улучшение? Нас все время подкарауливает враг. Один другому желает смерти. Мы в окружении. Нам не хватает боеприпасов. Мы вынуждены сидеть смирно. Место, которое мы хотели занять, все еще не очищено. В полночь его должны очистить штурмовые орудия. То там, то тут рядом с нами бьют минометы...

На этом записи в дневнике неизвестного немецкого офицера обрываются. Как погиб этот человек? И погиб ли? Случилось ли это в день его последней записи, 15 января, или он еще протянул несколько дней? Район заводов и особенно металлургический завод «Красный Октябрь», где оборонялась 79-я немецкая пехотная дивизия, были одним из последних очагов сопротивления гитлеровцев в Сталинграде, и автор дневника, видимо, мог пробыть там еще несколько дней. Но вряд ли... Последнюю неделю он делает свои записи ежедневно, его только эти строчки и связывают с жизнью, оборвать их могла скорее всего смерть.

ВОЙНА ПОКАТИЛАСЬ НА ЗАПАД

А наша жизнь катилась дальше. Вестей от Мити мы так и не дождались, а вот о Юре, точнее Грише Завгородневе, прослышали. Но это было позже, почти перед самым завершением разгрома гитлеровцев, когда мы наконец попали в Бекетовку, куда так долго рвались.

Гриша оказался бекетовским пареньком. Уже когда шла война, окончил ремесленное училище на СталГРЭС и работал слесарем-наладчиком на этой электростанции, а придвинулся фронт к городу — пошел в ополчение, а из него попал в разведчики. Все это рассказал Васька Попов.

— В Бекетовке нашлись общие знакомые, — загадочно сказал он, — вот и прояснилось, кто наш Юра *.

Но по всему было видно, что он знал Юру и раньше и знал как Гришу Завгороднева.

Он же мне рассказал, что Гриша, когда исчез из Гавриловки, удачно перешел линию фронта. Был недолго на отдыхе дома, а когда началось наступление, вернулся в свою часть. Участвовал в боях и где-то под домом отдыха «Горная поляна» был тяжело ранен, наверное, умер в госпитале.

Эта весть оглушила меня. Был в самом пекле, за нос немцев водил — и ничего, а здесь, у своих, не уберегся!

— Ранен был давно, — сокрушаясь, пожал плечами Васька, — еще в конце ноября, когда только окружили немцев. Я был у его матери — от него ни одного письма... А сейчас январь... — Васька на мгновение умолк, будто его печальный рассказ кто-то оборвал.— На отца пришла похоронка еще в сорок первом. Грише из-за него и в армию разрешили в шестнадцать... Мать убивается: он ведь у нее один.

Вот такую печальную историю узнал я о судьбе нашего Юры-Гриши, когда мы со многими погорельцами перебрались из Гавриловки в Бекетовку.

Меня поразило, что в Бекетовке, на СталГРЭС, в Сарепте и других южных районах города целые улицы не тронуты войной. Казалось непостижимым, как в двухсотдневном смерче огня и взрывов могла выжить южная окраина города, состоящая преимущественно из деревянных строений. Центральная и северная, каменные, погибли, а южная, деревянная, осталась.

Ходили слухи (их, видно, распустили сами немцы), будто когда начались массовые бомбежки города, фа-

---

* В районе Сталинграда партизанскими группами было уничтожено: 15 складов противника, 2 эшелона с воинскими грузами, около 900 вражеских солдат и офицеров, подорвано свыше 20 танков, 57 автомашин, два железнодорожных моста, заминировано 12 участков дороги, выведено из плена и окружения более 3 тыс. бойцов и мирных жителей («Сталинградская правда», 1953, 30 января).

шисты оставляли южную часть для своей полумиллионной армии на зиму. Если в этом и был какой-то смысл, то только в самом начале Сталинградской битвы. Но, вероятнее всего, и тогда у них просто не хватило сил на весь город. А уж когда они увязли в его центральной и северной частях, а тем более когда попали в окружение, им было уже не до этого.

Я бродил по улицам, заходил во дворы и дома. Здесь все, как до войны, было целым. Непостижимо! Казалось, попал в другое время, и будто бы я — все тот же довоенный мальчишка и в мире нет потерь и нет смерти... Только кое-где зияли разрушенные дома и строения от упавших бомб, но это лишь небольшие островки среди нетронутого моря одноэтажных деревянных домов. Плешины разрушений были такими же редкими островками, как и целые дома в сожженном и разоренном Сталинграде.

Домик бабушки Натальи, отцовой матери, тоже цел. Он маленький, всего на две крохотных комнатки. В одной жили солдаты, а в другой — семья младшего брата отца, дяди Феди. Трагична судьба этого человека. Он был тяжело ранен под Одессой, долечивался месяца три дома, а весною с искалеченной рукой пошел служить санитаром и погиб при бомбежке санитарного поезда на станции Поворино.

В семье дяди Феди четверо: двое сыновей (на год младше меня и Сергея), его жена тетя Феня и наша дорогая бабушка Наталья, которую дед Лазарь Иванович за кротость нрава и редкую доброту ко всему живому на земле называл «святой».

Когда мы трое со своими узлами втиснулись в их десятиметровую комнатушку, то оказалось, что нашей маме нет места даже на полу. Тогда для нее соорудили специальную люльку. На ночь люльку подвешивали к потолку, и там мама спала.

Но теснота не была самым большим и самым страшным нашим неудобством и испытанием. Наоборот, она даже экономила нам топливо, которое доставали с таким трудом. Голодать мы тоже сильно не голодали: рядом солдаты (теперь уже солдаты, а не красноармейцы!).

Самым тяжелым было то, что война, как ненасытный Молох, уносила людей. Унесла она и нашу бабушку —

«святую Наталью». И двух недель не прожили мы вместе с нею.

Она была все такая же непоседливая, постоянно, как челнок, снующая по дому, двору, огороду. Сколько помню ее, бабушка никогда не была без дела. Вставала затемно, топила печь, стряпала, управлялась со скотиной, нянчила детей, стирала, шила, вязала, убирала дом, содержала огород...

Ей приводили и приносили соседи малых детей.

— Присмотри, бабушка.

— Присмотрю, присмотрю, милая. Иди с богом!

Бабушка не разгибала спины. И когда ей пытались помочь, она поспешно и как-то всполошенно вздрагивала:

— Я сама. Сама, сама, — и мягко отводила «помощника» в сторону. — Иди занимайся своим делом. Я управлюсь. Управлюсь.

Но только ей случалось присесть и взяться за вязание, как уже через пять минут из ее рук выскальзывали спицы, и она засыпала. То же случалось, когда она садилась у зыбки с ребенком. Уже через несколько взмахов рука замирала, сухонькая ее голова, аккуратно обтянутая стальным чепцом гладких волос, падала на грудь, и бабушка тихо, как сурок, спала. Так засыпать она могла на день по нескольку раз.

Просыпалась быстро — посвежевшая, бодрая — и опять принималась за бесконечную работу, которой, как она говорила, не было конца-краю. Видно, этот короткий сон помогал ей сохранить силы в течение долгого дня, который у нее начинался и кончался затемно.

Бабушка дожила до окончания Сталинградской битвы. Когда с улицы донеслась музыка духового оркестра и мы, высыпав со двора, увидели, что по шоссе со стороны СталГРЭС в сторону центра города идут колонны людей, несут знамена и флаги, за нами медленно вышла и бабушка.

— Хочется? — сузив лучики глаз, кивнула она в сторону колонн. — Ну и бегите, а я мамам скажу. Давайте! Когда еще такое посмотришь. — И она подалась вперед своим потемневшим и сухим, как наша земля, телом, подбадривая нас.

Мы побежали вслед за колоннами, которые шли в город, где на площади Павших борцов должен был состояться митинг в ознаменование победного окончания Великой (как ее сразу назвали) Сталинградской битвы.

Все пятнадцать километров туда и столько же обратно мы шли вместе с рабочими и военными пешком.

А потом, уже ночью, когда вернулись усталые, продрогшие и голодные, но радостные и счастливые от всего, что видели и пережили за длинный февральский день, и, перебивая друг друга, начали рассказывать обо всем нашим, бабушка смотрела на нас своими добрыми, но мученическими глазами «святой». Боясь помешать нашему сбивчивому рассказу, она прижимала руку к своей иссохшей узкой груди, в которой «что-то пекло, как огнем», словно хотела смягчить эту боль. Добрейшие, полные боли и тоски глаза нашей бабушки и сейчас передо мною. Как же ей тяжело и трудно было расставаться с белым светом, со всеми нами и ее великой, никогда не убывающей работой, которую она так и не могла всю переделать.

Бабушка Наталья умерла через неделю после того, как смолк последний выстрел в нашем истерзанном Сталинграде. Утром она позвала мою маму и тетю Феню и стала перебирать одежду в своем сундуке. Выложив стопку белья и одежды, сказала:

— Это все мое. Наденете потом. А это, — она устало повела рукой по жалкому барахлу, оставшемуся в сундуке, — все раздадите.

И стала называть, что кому надо отдать.

Я почувствовал недоброе и выбежал из избы.

Бабушка истопила печь, нагрела воды и помылась («Чтобы вам потом не возиться...»). Одеваться ей уже помогала мама, и, может быть, за всю ее трудную жизнь, длиною в восемьдесят лет, она впервые не отказалась от посторонней помощи.

А жизнь у нее была действительно трудной.

У бабушки пятеро детей. Старшему шел двенадцатый, а младшей не было и года, когда умер от тифа ее муж, наш дед. Ей было двадцать семь. Она больше не выходила замуж, сама воспитала всех пятерых, а потом нянчила почти всех внуков, которых было тринадцать.

Бабушка легла на свой сундучок (спала она теперь на нем, подставляя под ноги табуретку) и умерла ночью, не потревожив своей смертью наш сон. Мы все спали, входили и выходили в прихожей солдаты, сменяясь с караула, а бабушки уже не было в живых...

Мы, ее внуки, пошли на Отрадинский бугор, который и до сих пор все называют «Клюкой», рыть моги-

лу. Место выбрали высокое, хорошее, откуда виден почти весь город. День выдался морозный, но солнечный, про такие дни бабушка говорила: «Зима спорит с летом». Земля глубоко промерзла, и мы долбили ее ломами и киркой, которая все время соскакивала с рукоятки.

Я требовал от своих двоюродных братьев рыть яму глубокую, не мельче двух метров. Почему двух? Не знаю. Мне казалось, что я где-то слышал, может, от той же бабушки — умерших собственной смертью по-христиански хоронят в могилах глубиною не менее двух метров. И я сквозь слезы, всхлипывая, выкрикивал:

— Надо два метра, два метра!

Прикладывал метровый черенок лопаты к стене ямы, а потом хватался за лом или кирку и запаленно долбил землю.

На следующий день из Гавриловки пришел Лазарь Иванович (тогда люди только ходили, ездить было не на чем). С нами в Бекетовку он не поехал, а жил вместе с тетей Надей, Вадиком и Люсей все в той же промерзшей насквозь кухоньке, ожидая из эвакуации свою дочь Варвару, которая работала дояркой и зимовала с колхозным скотом где-то в Заволжье.

И опять был такой же хороший, с легким морозцем солнечный день. Когда выносили бабушку со двора, дедушка сказал:

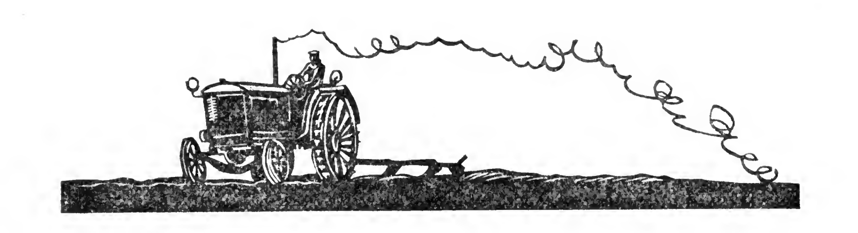
— Она заслужила такой день. — Две крупные слезы выкатились из его покрасневших глаз и спрятались в сивой, нечесаной бороде.

Опускали бабушку в могилу, а дедушка тер своими чугунными кулаками глаза, и через его сомкнутые, подрагивающие губы прорывался булькающий хрип:

— На-та-а-ли-я-а... Свя-та-а-я...

Ее смерть среди пугающей тишины умолкнувшего Сталинграда, к которой мы никак не могли привыкнуть, отозвалась во всех нас такой болью, была такой невосполнимой утратой, что мы долго не могли прийти в себя. Она была последним нашим потрясением в этом кошмаре, который длился более полугода, и она же, эта утрата, делила нашу жизнь на жизнь на войне и жизнь, в какую мы возвращались опять. Война покатилась на запад.

И ее ой как еще было много...



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

МЫ С АНДРЕЕМ ВСТУПАЕМ В КОМСОМОЛ

Сын закрылся в комнате и не выходил больше часу. Сестра стучала в дверь, плаксиво просилась к нему, но он рассерженно отвечал:

— Отстань!

Но не такова наша Юля. Она все-таки разжалобила Андрея. Независимо прошла к своему столу и стала рыться в книгах. Андрей тут же разгадал Юлькину хитрость и выпроводил ее из комнаты. Сияя, она подбежала ко мне, заговорщически шепнула:

— Заявление пишет... В комсомол вступает...

Для меня это не было неожиданностью. Мы уже давно дома говорили об этом.

— Ты зачем ему мешаешь?! — прикрикнул я на дочь, но сам тоже заволновался.

Андрей пишет первое в жизни заявление. Почти тридцать лет назад ранней весной сорок третьего я тоже писал свое первое заявление, и тоже в комсомол. Но тогда было другое время. Мы только что пережили страшную сталинградскую осень и зиму, еще плохо верили, что остались живы в аду сгоревшего и разоренного дотла города. Жизнь чуть теплилась в пригородах, селах и деревнях, тоже разоренных, но там возрождались сельские подсобные хозяйства предприятий, колхозы, а вместе с ними и надежда на жизнь.

Шла весна, и наша семья вместе с другими городскими семьями потянулась туда. Мы работали в колхозе. Однажды к нам в бригаду приехал председатель Николай Иванович, а попросту Дед, и сказал:

— Вот что, хлопцы. Создаем комсомольскую организацию — пишите заявления.

...А сейчас этим занят мой сын. Все повторяется, хоть и другая у них жизнь, совсем непохожая на нашу. Жизнь

другая, а сходится в нас многое. В нем не только мое хорошее. Когда я сравниваю себя с сыном, меня часто берет оторопь. Недостатки моего характера с безжалостной точностью повторила природа в Андрее.

Вот теперь он заперся в комнате, пишет, мнет листы. Гадаю: подойдет ли ко мне? Может и не прийти.

А как бы сделал я? Когда я вступал в комсомол, шел мне пятнадцатый, ровно столько, сколько теперь Андрею. Я был старшим в семье, работал и считал себя вправе решать все сам. О вступлении в комсомол матери сказал, кажется, через месяц, когда из тракторной бригады приехал на общеколхозное комсомольское собрание. А вот от сына жду чего-то другого.

Пришел-таки! Весь напружинился, вихор на лбу торчит воинственно (у меня был точно такой — непокорный). Протягивает листок:

— Посмотри, правильно написал?

В руках типографский бланк. Его украшают ордена, которыми награжден комсомол. Вступающему надо написать свою фамилию, имя, год рождения да изложить мотивы вступления в комсомол. Интересно, какие же они у моего сына?

«...хочу быть честным, справедливым, всегда говорить правду, любить свою страну и защищать ее».

Я, наверно, слишком долго вчитываюсь в эти слова, и Андрей тревожно спрашивает:

— Что, ошибки есть?

— Нет, все правильно.

— А то у Саньки Колчина была ошибка в заявлении, так ему Татьяна такой разгон устроила! В комитете комсомола сказала, что рано его принимать.

Татьяна — это их классный руководитель, учительница литературы. Ей почти пятьдесят, она ходит с ними в походы, катается на лыжах, а однажды ездила со всей оравой на велосипедах за город.

— На, держи, комсомолец, — протянул я заявление Андрею.

— Я еще не комсомолец. — Он свернул листок вдвое, опустил голову так, что его вихор теперь смешно торчал рогом, но не уходил. У него всегда эта поза, когда он хочет что-то спросить. — А что ты писал в заявлении?

— Тогда шла война, и я писал, что не пожалею сил, а если надо, то и жизни, для победы над немецко-фашистскими оккупантами.

— А еще?..

— А еще писал, что буду верен делу Ленина — Сталина. Тогда мы писали так.

— А-а-а... — тянет Андрей.

Его темные широкие брови ползут к переносью, подбородок чуть подрагивает. Это он раздумывает. Чем взрослее мальчишки, тем больше у них вопросов. И на них надо отвечать прямо, так, как оно было. Чуть начнешь недоговаривать, в другой раз уже не спросит, а станет искать ответ в другом месте. У детей на неправду нюх особый.

— Я знаю, — говорит Андрей, порываясь уйти.

— Что ты знаешь?

— Все!

— Что все?

— Ну, как тогда было, я читал...

Глупое мальчишеское упрямство. Где-то что-то слышал, где-то урывками и прочел — и он уже все знает.

Видно, сын угадывает мои мысли, и лицо его вдруг деревенеет. Он поворачивается и уходит. Вижу, как остро поднялись его плечи под свитером. Смотрю ему вслед и не могу угадать, какие чувства он уносит с собой. Не знаю... «Раз злишься — значит, не прав», — как-то сказал мне Андрей вычитанный афоризм. Я тогда не согласился с ним. Теперь повторялось то же. Хотелось остановить сына, но хватило благоразумия не делать этого. Сейчас от него не добьешься ни слова. Когда я раздражаюсь, он молчит. Я был тоже таким. Но отец мой говорил со мной иначе. Всему свое время. Мы жили так, они — по-другому...

Я хочу, чтобы день вступления в комсомол запомнился Андрею. Свой день помню и сейчас. Вернее, это был не день, а вечер 15 апреля сорок третьего.

Помню не только тот хмурый, сырой вечер, но и острое и чуть-чуть тревожное ощущение своего причастия к новой жизни. Мы, пятнадцатилетние мальчишки, сразу взрослеем и уже по-другому смотрим на мир и на себя. Мы теперь на одной ноге с нашим председателем Николаем Ивановичем Грачевым и бригадиром Василием Афанасьевичем Гуляевым. Мы —комсомольцы, они — коммунисты.

Месяц назад нас определили в тракторную бригаду к Василию Афанасьевичу. Ему было под шестьдесят, но выглядел он еще крепким, здоровым мужиком. Мог от зари до зари мотаться по полям, а вечером, после ужина, когда мы уходили спать, у него еще находилось много

дел. С кашеваркой Олей нужно решить, чем кормить нас завтра, снарядить подводу за горючим, отремонтировать кому-то из нас — трактористов — магнето, карбюратор. А утром, когда еще чуть брезжит ранний весенний рассвет, он ходил по землянке и будил нас.

— Поднимайтесь, ребятки, поднимайтесь. День сегодня будет такой, что пожалеет тот, кто умер. Поднимайтесь...

Был в нашей бригаде еще один мужчина, татарин Халим Викулов. Худущий, как смерть, неопределенного возраста — ему можно было дать и тридцать и пятьдесят лет. Серое, землистое лицо, широкие кости, которые казалось, вот-вот прорвут иссохшую кожу.

Василий Афанасьевич знал его до войны и говорил о нем в прошлом времени, точно и впрямь Викулова уже не было, а осталась его тень.

Когда Халим, жестоко закашлявшись, отходил от трактора, бригадир, глядя ему вслед, шептал нам:

— Какой механик был!.. Золотые руки! Теперь нет таких. Вы с ним того... поаккуратнее...

Трактора наши рассыпáлись на ходу, и вот тут-то мы узнали, кто такой Халим Викулов. У меня была самая старенькая машина, и я с ней больше торчал на стане бригады, чем работал в поле. Как несмышленыш телок, тычусь повсюду, отвинчиваю и завинчиваю гайки, снимаю и вновь ставлю на место детали. Подходит Викулов, берет из моих рук ключи и сердито бросает:

— Умному надо мигнуть, а глупого стегнуть!

Отодвинув меня плечом, он склоняется над мотором. Глядя на легкие, экономные движения его рук, я пристыженно молчу.

— Клапана ни к черту! — сердито скрипит его голос. — Снимай головку.

Суетливо мечусь вокруг Халима, подаю ему то один, то другой ключ, мчусь в землянку за инструментами, на лету ловлю каждое его слово, и он немного добреет.

Через полчаса головка мотора снята, и Халим учит меня, как надо притирать клапаны. Работа несложная и нетяжелая. Сиди себе и вращай коловоротом: пол-оборота вперед, пол-оборота назад...

Я поудобнее усаживаюсь на ящик из-под снарядов и начинаю притирать. Проходит час, другой, а я все шмыгаю и шмыгаю коловоротом. Работа однообразная, выматывает жилы. Навалившись грудью на рукоятку, тру и тру. На минуту прерываюсь, достаю из гнезда клапан,

обмакивая его в масле, посыпаю толченым стеклом и опять тру. В поле стрекочут трактора ребят, а я здесь. Глаза заливает пот. Я уже в одной майке. От непросохшей после снега земли тянет сырым холодом, но мне жарко. Руки горят огнем, спину разламывает. Что же это у меня с руками? Бросаю коловорот и удивленно рассматриваю свои руки: грязные, в незаживающих ссадинах. На большом пальце сорвал кровавую мозоль. Вчера не заметил, как набил ее заводной ручкой трактора, а сегодня не заметил, как сорвал. Ну и жизнь! Невидимые слезы давят горло. Ко мне подходит бригадир, и я изо всех сил креплюсь, чтобы не расплакаться.

— Смолишь, Андрюха? Давай трохи пособлю...

Молча передаю ему коловорот. Василий Афанасьевич тоже молчит, видно, давая мне время справиться с подступившими слезами, а потом вдруг весело предлагает:

— Знаешь что, Андрюха, переходи-ка ты в учетчики.

Я растерянно смотрю на него, а он, хитровато улыбнувшись, продолжает:

— Ей-богу, переходи... А-а?

— А что учитывать? Вале и то делать нечего.

Валя —наш колхозный бухгалтер. Она дважды в неделю приезжала в бригаду и записывала нашу горе-работу.

— Что Валя, нам нужен свой учетчик. Он же и заправщик — такая должность теперь в бригаде вводится.

«А что? Это, пожалуй, мысль, — обрадовался я. — Возьму и уйду. Надоело мыкаться с моим трактором-развалиной».

— Давайте попробую... — как можно равнодушнее сказал я Василию Афанасьевичу.

Но тут же подумал: «Почему именно мне предложил бригадир эту должность? Может быть, потому, что я был из города, а всем городским почему-то подыскивали работу «поинтеллигентнее». Если так — откажусь».

Но когда я спросил об этом у Василия Афанасьевича, он ответил:

— Не валяй дурака. При чем тут город. Твой трактор простаивает, ребята работают. Не буду же я их срывать! — И, сунув мне в руки сажень, добавил: — Иди замеряй пахоту.

С того дня каждый вечер, вскинув сажень на плечо, я шел в поле.

15 апреля мы весь день с Викуловым ремонтировали трактор, а вечером допоздна я пробыл в поле, замеряя

вспаханные делянки. Василий Афанасьевич, как он выразился, «натаскивал меня на учетчика».

Трактористы прекращали работу только с наступлением полной темноты. А если вечер выдавался лунный и «ладили» — хорошо работали — трактора, то и прихватывали ночь. И тогда мне приходилось замерять работу на ощупь. Трактора уйдут на стан, а я еще битый час, а то и полтора спотыкаюсь по вывороченным плугами глыбам, кручу в руке сажень, считаю гектары. Конечно, все это можно было бы делать и днем, ведь то, что вспахано вчера, легко отличить от сегодняшнего, но наш Василий Афанасьевич любит во всем порядок. Каждый вечер, после ужина, перед тем как трактористы отправлялись спать, он проводил пятиминутку. И я должен был докладывать о выполненной за день работе.

В тот вечер я спешил на стан. Вчера про меня забыла наша кашеварка Оля. Василий Афанасьевич ругал ее немилосердно, она даже заплакала, но мне пришлось отправиться в свой закуток на нарах с пустым желудком. И хотя сегодня утром Оля восполнила мою потерю, наложив мне полную чашку затирухи *, я боялся, что про меня опять забудут.

У разбитого комбайна, который стоял здесь с лета сорок второго, с тех пор, как начались бои в этих местах, меня встретил дружок Васька Попов, который тоже вернулся в город и попал в одну тракторную бригаду со мной.

— Скорей, тут из райкома комсомола приехал. — Он даже задохнулся. — И наша Валька с ним. Дед тоже здесь...

До землянки оставалось метров двести, и Васька успел рассказать мне все. В бригаду приехали наш председатель колхоза Николай Иванович Грачев (Дед), колхозный бухгалтер и секретарь комсомольской организации Валентина Степановна Кохно (она же Валька) и секретарь нашего Красноармейского райкома комсомола Гриша Завгороднев, который, как оказалось, не умер от ран. Сегодня нас будут принимать в комсомол и создавать в тракторной бригаде комсомольскую организацию.

Под двумя закопченными котлами, наполовину врытыми в землю, чуть теплился огонь. Вокруг сидели почти все наши трактористы и прицепщики. Шел обычный ленивый разговор, какой ребята затевали перед ужином,

* Затертая на воде и сваренная мука.

чтобы скоротать минуты ожидания своей порции. Люди перебрасываются фразами, даже хохочут, подшучивая друг над другом, а все их мысли там, у котла, с блаженно булькающей затирухой.

Весенний день — как год. А едим горячее два раза — рано утром и вечером. В обед Оля с сыном Юркой разносят пахарям молоко и хлеб — землистые брусочки, из которых торчат белесые плевелы ячменя и овса или сыплется темно-красная шелуха проса. Трактористу пол-литра молока и триста граммов хлеба, прицепщику — стакан молока и двести граммов. Это наш рацион хлеба на день.

Меня словно кто приклеил к Олиному котлу, не могу оторвать глаз. Сел у огня и онемел. Разговор оборвался. Все повернулись к нам. Викулов смотрит волком, словно мы вырвали у него кусок изо рта. Отвернув сердитое лицо от тлевших под котлом углей, он недобро бросил:

— Шляетесь, а тут из-за вас голодом морят... Чего расселись, идите в землянку, комсомольцы...

Я так устал за день и мне так хотелось есть, что не было сил ответить Халиму.

— И когда его только выгонят, — простонал Васька, когда мы отошли.

— Выгонишь его, он сегодня из утиля магнето собрал и говорил Деду, что ЧТЗ можно пустить...

— От гад!.. — восхищенно прошептал Васька, но тут же добавил жестко: — Я бы все равно выгнал.

— А трактора стояли бы в борозде?

— Не стояли... Вон Мартынок не хуже.

— Мартынок не механик, да и ненадолго он к нам...

— Все равно выгнал бы, — упрямо повторил Васька, — с ним же никто работать не хочет.

— Ты брось, он сегодня утром кровью харкал. Пошел вон туда за комбайн и целый час лежал.

Васька не ответил. Подошли к землянке. Дверь закрыта. На порожке, прислушиваясь, сидел Шурка Быкодеров. Хотя мы молчали, он предостерегающе поднял руку.

— Тише, вы... со Славкой толкуют. — И, нервно хохотнув, добавил: — Они его спрашивают, а он молчит. Потеха, выездное бюро называется, а выездной-то только Гриша, а те все наши.

Действительно, Славкиного голоса не было слышно. Малиново звенел Гришин голос, что-то говорила Валька, и басил Дед, а Славка молчал.

— Биографию он уже рассказал, — порывисто повернулся к нам Шурка. — Ровно пять слов выдавил. Теперь вопросы пошли. Только все это пустые хлопоты. Не на такого напали. Умрет, а не скажет.

— Да брось ты, балабон! — сердито оттолкнул его Васька и ближе прошел к двери.

В землянке взрывом грохнул смех. В нем я различил и смех Славки. Значит, все в порядке. Через минуту дверь приоткрылась, и вынырнула в белых вихрах голова Гриши.

— Быкодеров! Заходи! А Чупров пришел?

— Вот он... — отозвался Шурка.

Гриша легко выпрыгнул на одной ноге из дверного проема на первую ступеньку и, видно еще не различая нас со света, шумнул:

— Вы здесь?

— Здесь...

— Сейчас, — весело шепнул он нам и в два прыжка оказался у табурета, перед столом, где стояли его костыли.

Он проделал все это так быстро, что ни мы, ни те, сидевшие за столом, не успели ему помочь. Да он ни в чьей помощи и не нуждался. Уже из-за стола Гриша звонко еще раз позвал:

— Быкодеров! Входи!

— Давай, — подтолкнул плечом Шурку Васька.— Посмотрим, какой ты храбрый...

Тот вздрогнул и шагнул через порог. Дверь он прикрыл неплотно: видно, так ему легче было чувствовать нас за своей спиной.

— Быкодеров Александр Данилович? — спросила Валька.

Мы припали к щели в двери. Виден был светло-русый Гришин затылок и часть стола, за которым сидели Валька и Василий Афанасьевич. Валька оторвала голову от бумаг, лежавших перед ней, и повторила вопрос:

— Быкодеров Александр Данилович? Почему молчишь?

— А чего говорить? — вздохнул Шурка. — Вы и так знаете, кто я...

— Такой порядок, — поспешил бригадир, — тебя спрашивают, а ты отвечай. Как в армии. Вот пойдешь служить, там научат.

— Ладно... — примирительно согласился Шурка.

Валька продолжала:

— Быкодеров Александр Данилович, тысяча девятьсот двадцать седьмого года рождения, образование неполное среднее, семь классов.

— Я не кончил седьмой... — пробубнил Шурка.

— А зачем писал? — строго спросила Валя.

— Так я же учился, целый год проходил, а как посевная началась, сразу в бригаду.

— Раз не окончил, нечего морочить голову, Быкодеров. Образование шесть классов.

— Так я же год проучился, только экзамены остались, и в бригаде это все знают. Вот и Василий Афанасьевич...

— Быкодеров! Веди себя как следует, — прервала его Валя. — Ты где находишься?

— Тише, товарищи, — поднял над столом руку Гриша. — Тише! Чего спорить? Парень действительно учился целый год. И ему обидно.

— Но справки же у него нет, — раздосадованно вставила Валька.

— Что справки? — ответил ей Гриша. — У него ее и за шесть нет. Школа сгорела. Будет правильно, если мы оставим образование неполное среднее, а семь классов можно и не писать.

— Так тут же графа «Образование», а внизу под строчкой — сколько классов окончил, — сердито ткнула карандашом в анкету Валька.

— Вот зануда... — прошипел у меня над ухом Васька.

— Ничего, — бойко вскочил с табурета Гриша и в два прыжка оказался за спиной у Вальки, — вот здесь прямо во всю строку и напиши: неполное среднее. Пиши, пиши, все правильно. Заявление мы читать не будем, давай биографию, ну?

Из невидимого нам угла землянки послышался тяжелый Шуркин вздох, потом сопение и наконец:

— Родился первого декабря двадцать седьмого года... (пауза) в три часа ночи, мать говорила...

Легкий смешок и стук Валькиного карандаша по столу.

— Дальше, Быкодеров.

— В тридцать пятом пошел в первый класс. Учился до сорок второго...

— Дальше, — требовательно стукнул Валькин карандаш. — Почему из вас нужно каждое слово клещами?

— А чё дальше-то, я все уже рассказал.

— И это вся твоя жизнь? — удивленно подняла брови Валька.

— Да, вся... — вздохнул из угла Шурка и, видимо сам удивившись краткости своего жизненного пути, добавил: — С сорок второго, с посевной — прицепщик, а теперь на тракторе.

А над столом опять взлетела рука Гриши:

— Думаю, что всем ясно. Переходим к вопросам. Прошу! Вы, Василий Афанасьевич, хотели спросить...

— Да что я... — заерзал на скамье бригадир и начал шарить по карманам свою баночку-портсигар с табаком. — Скажи, Шура, нам про свое семейное положение. Кто твои родители? Где они работают и воюют?

— Так вы же, Василь Афанасьевич, знаете. Мать в колхозе, сейчас в огородной, а батя на фронте.

— Я-то знаю, а другие, может, и нет.

— И другие знают...

— Ты не перебивай меня, — незло прикрикнул бригадир. — Такой порядок, тебе должны задавать вопросы, а ты отвечать.

— Да чего ж отвечать, если все знают?

— Быкодеров! — сердито постучал Валькин карандаш.

— Еще вопросы? — тряхнул светлыми кудрями Гриша.

— Письмо от отца когда было? — спросил невидимый нам председатель колхоза.

Валька удивленно подняла плечи, но Гриша легко придержал ее за руку.

— А вот летом, как тогда пришло, так и все... Он у нас на Севере, под Мурманском был.

— Ну, это ничего, — поспешил замять свой вопрос Дед. — Раз бумаги не было, значит, жив. Писать-то покуда некуда было, все порушено... Да и со временем там на фронте знаешь как...

— Как понимаешь задачи комсомола, Быкодеров? — прервала Деда Валька.

Шура вздохнул, откашлялся.

— Как все. Мне работать в колхозе, а батьке бить Гитлера.

— Как работать? — спросил Дед.

— Известно как. Чтоб трактор всегда в полной исправности, чтоб простоев по моей вине не случилось, чтоб дисциплина. А остальное — как все.

— Думаю, что Александр Быкодеров в основном понимает задачи комсомола на сегодняшний день, — поднялся Гриша. — Есть еще вопросы? Переходим к голосованию. Единогласно. Против и воздержавшихся нет. Поздравляем тебя, комсомолец Александр Быкодеров, от имени бюро райкома ВЛКСМ и коммунистов колхоза.

И он юркнул в невидимый нам угол, где стоял Шурка, и оттуда звенел его голос:

— Валентина Степановна выпишет тебе комсомольский билет. Фотокарточку сдал?

— Нет. У меня только старая, довоенная, после пятого класса фотографировался, а после шестого уже не фотографировали...

— Ладно, Шура, пока без фотографии выпишем, а потом разживешься, приклеим.

— Да у них, Григорий Кузьмич, ни у кого нет, — заметила Валька. — Принесли мне какие-то детсадовские, стыдно смотреть.

— Ничего, Валюша, выписывай им так. Можешь быть свободным, комсомолец Александр Быкодеров, еще раз поздравляю. — И Гриша позвал нас: — Заходи! Живо! Да вы по одному. Все равно разговор будет отдельно с каждым.

Проходя мимо нас, Шурка, растянув рот до ушей, ткнул кулаком меня в живот.

Я ответил тем же. Васька ловко подставил ему ногу. и тот, оступившись, вылетел за дверь.

Сделали мы это чисто, по хорошо наигранной комбинации, как сейчас говорят спортивные комментаторы, бригадир прикрикнул на нас:

— Ну, лошадки необъезженные!

— Чупров или Попов, выйдете кто-нибудь, — бросила Валька. — В комсомол группой не принимают.

Бригадир испытующе окинул нас взглядом, захохотал:

— Разве ты не видишь, Валюша, они же одной веревочкой связаны. Два друга.

— Ничего, — повернул к нам разгоряченное лицо Гриша. — Ты, Василий, пройди сюда, — и он метнул рукой в сторону края стола, где, потрескивая, коптила «катюша», — а ты, Андрей, там подожди, — он кивнул в сторону нар. — Ну так — начнем прямо с биографии. Слушаем тебя, Василий Попов.

Из темного угла мне хорошо было видно лицо Васьки. Он стоял за спиной Мартынка, и тому пришлось повер-

нуться, чтобы видеть Ваську. Только сейчас, при неярком свете «катюши», я рассмотрел, как же Мартынок худ. Он всегда ходил в замасленной телогрейке, в каких ходили и мы, а теперь сидел в чистой хлопчатобумажной гимнастерке с аккуратно подшитым белым воротничком. Этот кипенно-белый воротничок сильно оттенял его худобу.

Сколько Мартынку? Лет сорок? Больше? Да нет, я слышал, как он ругался с Халимом и Викуловым и сказал: «Мы одногодки». А тот с девятнадцатого. Выходит, только на девять лет старше меня. Что же это с ним такое?

Появился он в бригаде недели три назад. Привез его Дед.

— Принимайте тракториста и шофера, — сказал Мартынок, стаскивая с запотевшего лба ушанку. — Ранбольной я. Комиссовали из госпиталя. Можно бы домой ехать, да фашист не пускает.

— А куда ж ехать-то? — спросил бригадир.

— В Молдавию, под город Бельцы...

— О, тогда придется малость подождать, — покачал головой Василий Афанасьевич и повел гостя в землянку — показать его место на нарах.

В первый же день мы поняли, что Мартынок не очень общительный мужик. Но, как заключил наш Василий Афанасьевич, жить с ним было можно. К нам, подросткам, относился хорошо. Дня три назад Мартынок даже вступился за Славку и чуть не застрелил Халима. Выбежал из землянки с карабином, бледный, клацает затвором и орет: «Застрелю, гнида!» А Халим на него: «Я тоже могу взять». Стоят друг перед другом два доходяги и орут до хрипоты. Потом Мартынок швырнул карабин на крышу землянки: «Не буду поганить о тебя руки».

Халим все же, видно, испугался, потянул себе с крыши землянки немецкую винтовку — там их лежало штук пять-шесть.

Оружия этого у нас на стане сколько хочешь. Палку ищешь — не сразу найдешь, а винтовки и карабины ребята каждый день с полей приносят. Вот и сейчас в углу землянки стоит полдюжины. Все вычищены, смазаны. Это Мартынок, он любит с оружием возиться.

Мартынок поменял позу. Теперь мне видна только правая сторона его исхудалого лица. А что, если он умрет? Ляжет сегодня спать, а утром не встанет. Хорошо

помню, что именно в тот вечер вид Мартынка испугал меня. Я не хотел, чтобы война и его унесла.

Когда я оторвался от своих воспоминаний, Васька уже рассказал биографию и теперь отвечал на вопросы. Его почему-то спросили, как он думает о своей жизни в будущем. Мне этот вопрос показался не только неуместным, но и нелепым. Спросил Мартынок.

— Это после войны, что ли? — удивился Васька. — Да пусть кончается скорей.

— А все же? — посмотрел на него председатель. — Теперь уже скоро, вон от Ростова и Краснодара погнали.

У Васьки отец погиб. Еще в прошлом году прислали похоронку. Мать работала здесь же, в полевой бригаде. Они зарывали на наших полях окопы. Дома две сестренки — семи и двенадцати лет. Хозяйничают сами. Он старший в семье. Уж не поэтому ли ему задали такой вопрос?

— Да как, — потер свой лоб Васька. — Как все — работать. Сестренок на ноги надо ставить. На механика учиться буду, а война кончится, может, еще куда...

— А в комсомол почему вступаешь? — спросил Гриша.

— Как почему? — не понял вопроса Васька. — У меня батя на войне... Потом, может, и меня в армию, вон уже приписное в военкомате выдали...

— Ну, до вас-то дело не дойдет, — вмешался опять Мартынок. — Еще двадцать пятый надо забрать, а там двадцать шестой еще...

— Ты, Кирюха, в своем госпитале трошки подотстал от жизни, — засмеялся бригадир. — Двадцать пятый уже весь мобилизовали, а двадцать шестой тоже шевелить начали. Вон Колька Хрулев, он рожденный в марте, так ему уже повестка — явиться с котелком.

— Так мы не кончим сегодня прием, — нетерпеливо постучал о стол Валькин карандаш, и Гриша, порывисто подавшись с табурета, предложил:

— Давайте голосовать.

Проголосовали единогласно, и Васька после поздравлений прошел на мое место, а я стал на его.

Моя биография оказалась тоже до обидного короткой, как и биография Васьки и Шурки, хотя я и пытался удлинить ее за счет «семейного положения». Чтобы мне меньше задавали вопросов, я сразу сказал об отце и старшем брате.

— Сейчас они на фронте, — закончил я свой рассказ.

Немного помолчал и добавил: — Писем нет. От отца до самой бомбежки шли, а от брата последнее в мае было, скоро год...

— Ну, тогда живые они оба, — как-то неестественно бодро подхватил Дед. — Номер полевой почты у них сменился за это время — вот письма и не доходят, а нового вашего адреса они не знают. Вы на старую квартиру-то ездили? Может, туда письма идут?

— А чего ездить, там ничего нет. Ни дома, ни улицы...

— М-да, брат, — вздохнул Дед. — Теперь, Андрюха, у всех так. У меня вон самого невестка с внучкой... На Тракторном жили. Сын пока пишет, в каждом письме за них спрашивает. А я отписываю, что эвакуировались они, а сам знаю: не успели... А твои-то, Андрюха, живы. На войне ведь тоже не всех убивают...

Дед совсем сбил меня с толку. Гриша что-то спросил, а я не расслышал. Стою и думаю про отца и брата. Раз меня так уговаривают, наверное, и вправду их уже нет. Что тогда? Как жить? У моих друзей свои дома, а мы заняли какой-то разбитый, с сорванной крышей. А что, как вернутся хозяева? Хорошо, сейчас лето, а придет зима? И тут же успокоил себя. К зиме-то война кончится, вон как турнули гитлеровцев.

— Ты чего молчишь? — тронул меня за рукав бригадир. — Гриша про учебу спрашивает. Имеешь ли планы какие?

— Думаю учиться, война вот кончится.

— Тебе в девятый? — подхватил Дед. — Вон с Гришей и катайте. Один в девятый, другой в десятый... — Он на секунду запнулся, потом уже не так бодро добавил: — Но прежде Гитлера надо прикончить.

— С Уставом и Программой знаком? — спросил Гриша.

— Знаком.

— Тогда голосуем.

Когда мы вышли из сырой и душной землянки, поднявшийся ветерок дружно разгонял туман, и на небе стали проступать звезды. Ужинать решили на дворе. Все, кроме Викулова, ждали нас. Мы знали, какая это была пытка — сидеть подле котла и ждать. И отойти от булькающей кашицы не заставишь себя, и ждать, пока тебе ее дадут, нет сил. Но даже маленький сын Оли Юрка сидел со всеми и ждал.

Сразу загремели алюминиевые миски и котелки. Я протянул Оле свой румынский котелок, напоминав-

ший полоскательницу, только не круглую, а четырехугольную, и она щедро опрокинула в него полную поварешку уже загустевшего пшенного кондера.

— Комсомольцам по полной, с верхом! — весело приговаривала она, ловко шлепая кондер в подставленные посудины. — Можно и добавки!

Наше колхозное начальство и Гриша решили заночевать в бригаде, и кондер был сварен с расчетом и на них.

Дед, присаживаясь перед миской и оглаживая руками бородку, шутливо обронил:

— Эх, по такому-то случаю... — и выжидающе посмотрел в сторону бригадира.

— Раз начальство говорит: надо, мы, солдаты, должны сказать: есть! — прокряхтел Василий Афанасьевич и, достав из кармана ключ от своего сундучка, протянул его кашеварке: — Сходи, Олюша, там у меня растирание. По ночам нещадно хвораю, а берегу, вдруг какой случай. Да иди, разберешься. Там всего одна стоит.

— А почему это ты, бригадир, светомаскировку не соблюдаешь? — наигранно-сердито покосился Дед на крохотную, шестивольтовую лампочку, которую питал леченый и перелеченый аккумулятор — изобретение Халима Викулова.

— Э-э, брат, — хитро подмигнул бригадир, разливая разведенный спирт в кружки. — Он у нас, свет-то, ученый. Когда надо, сам тухнет.

— И когда не надо... — добавил Мартынок.

— Халим! — шумнул Дед в темноту. — Давай с нами. — И подтолкнул бригадира: — Что же ты, зови.

Василий Афанасьевич безнадежно махнул рукой и лениво позвал:

— Халим, давай, а то у нас кондер стынет...

— Я свой съел, — скрипнул простуженным голосом Халим.

— С нами, за урожай! — хитро сощурил глаза Дед.

— Посеять еще надо, — прохрипел Викулов.

— А-а! — нетерпеливо поднял свою кружку бригадир. — Пустое дело. Поехали...

Выпили и молча принялись за кондер. Только Оля задержала свою кружку, и лицо ее вдруг словно окаменело. Отвернулась, ладонью свободной руки вытерла глаза и прошептала:

— За Ивана Матвеевича, мужа мово... — И губы ее мелко задрожали.

— А ты чего же, секретарь? — повернулся Дед в нашу сторону. — Или комсомольцам не положено?

— Да нет, Николай Иванович, мы вот тут с ребятами уже за чай принялись. Да и что ж разорять вас.

— По доброму-то времени, — погрустнел Дед, — все не так надо. Праздник бы ребятам устроить по такому случаю.

— А сегодня и так ужин праздничный, — обиженно отозвался бригадир. — Ты думаешь, Николай Иванович, кондер мы каждый день здесь едим? А в этот почти полбутылки постного масла Оля вбухала.

— Ничего я не думаю, Василий, знаю все лучше тебя, а хочется ребят отметить. Им бы с тетрадками, книжками... а они вот здесь...

И вдруг, вскинув голову, резко выкрикнул:

— Валюша, а Валюша, скажи мне как комсомольский секретарь и колхозный бухгалтер, можем ли мы хлопцам по литру молока в день выдавать?

— Как секретарь скажу, Николай Иванович, давно надо, — бойко ответила Валька, — а вот как бухгалтер...

— Ну, хоть завтра-то, — прервал ее Дед, — мы сможем этим орлам по литру?

— Тогда придется кому-то меньше выписать, — вздохнула Валька, —у огородников срежем.

— Опять у огородников, — простонал, как от зубной боли, Дед. — Мне уже там нельзя показываться. Ну, да черт с ними! Они небось уже редиску первую трескают, а в кладовую только лук зеленый сдают. Режь!

Покончив с чаем, а вернее, с кипятком, заваренным сильно пережаренным и потолченным в ступе ячменем (и конечно, без сахара), мы побрели к землянке. Гриша поднял свои костыли, о чем-то пошептался с Николаем Ивановичем — видно, договорился, когда он завтра уедет из бригады, — и легко попрыгал за нами.

— Давайте ляжем на дворе? — предложил я, надеясь, что не все ребята согласятся и тогда мы с Васькой сможем поговорить с Гришей.

Появление Гриши всегда было праздником. Мы ждали его, как ждут самого дорогого человека. И хотя он почти наш ровесник (Васька младше его только на два года, а я — на три), для нас Гриша был личностью особой. У него были ордена Отечественной войны I степени и Красного Знамени — не на ленточке, а на винте.

Гриша не всегда носил свои ордена, а сегодня надел; понимал, что́ они для нас значат.

Мы вынесли из землянки свои замасленные тюфяки, большое Васькино одеяло, а вместо подушек каждый прихватил телогрейку. Долго трясли свою постель, стараясь вытряхнуть блох. Эти паразиты были нашим несчастьем. Трясли постель до одури, хотя и знали, что, как только ляжем, уже через полчаса твари обязательно будут скакать.

Гриша лег между мной и Васькой, но одеяло хватило еще и на Шурку Быкодерова и Славку Воловика. Гриша начал расспрашивать, как мы живем, а мы все ждали его рассказа о том, как он ходил в разведку, как его ранило. И поэтому, когда Шурка вдруг начал говорить о делах в бригаде, я толкнул его в бок. Но он, ничего не поняв, отодвинулся от меня и, приподнявшись на локоть, невозмутимо продолжал:

— Знаешь, начали пахать на третьем поле. Жуть, там окоп на окопе, да такие, что не обойдешь и не объедешь. Одна траншея так метров на триста тянется. А кругом такие ямины от блиндажей, их и зарыть нельзя. Не поле, а одни объезды.

— А сколько уже вспахали?

— Да только начали, вчера гоны отбивали.

— А всего уже сколько?

— Сто тридцать гектаров на сегодня, — ответил я и тут же вспомнил: как же это сегодня Василий Афанасьевич не проводил свою летучку? Наверно, завтра утром спохватится и начнет шуметь на меня: «Почему не доложил? Сколько вспахано?»

А Шурка все еще разглагольствовал.

— Пашем, а толку что? Видно, все пойдет под пары. Сеять-то нечем. А если и придут семена, так когда это будет и что тогда может вырасти?

— Гриша! А ведь ты обещал пойти с нами в Елхи и показать, где воевал и где тебя ранило, — не выдержал Васька.

— Точно, Гриша, помнишь, когда приезжал к нам с главным механиком МТС, — подхватил Славка, — тогда еще говорил: вот подсохнет, и поведу вас.

Отступать Грише было некуда. Мы загалдели: «Обещал! Обещал!» Я не помнил этого обещания, но кричал больше других. И Гриша сдался.

— Я и сам, хлопцы, хочу побывать там, поискать свою ногу, но когда же это сделать?

— Да хотя бы завтра, — отозвался Васька. — Можно в обед смотаться, пораньше кончить работу и катануть.

Василий Афанасьевич отпустит. Мы сейчас собираем культиватор, а там я видел разбитый, можно детали снять с него.

— Это тот, что у кузницы? — поднял голову Гриша. — Да там не только культиватор, там много инвентаря было. Только покромсали его весь снарядами и минами. Ох, был однажды случай у этой кузницы! Засекли нас румыны. Мы тогда их батарею искали. Помню, куда-то под Цибенко ходили. Батарею разведали, но напоролись на ездовых. Возвращались по оврагу, а там ездовые этой батареи. Поднялась стрельба, а войск кругом — все балки забиты. Куда ни ткнемся, отовсюду нас поливают. Ранило Сашку Сырца. Хорошо, в плечо. Бежать может. Я его автомат схватил, а он зажал рукой рану и, согнувшись, впереди меня. Километров пять по степи и пробежали. Вижу, к Елховскому бугру выскочили. Ребята меня в балку тянут, по ней идти ближе, да и укрытие все же, а меня как будто кто толкает от этой балки. Вообще-то я страх не люблю, когда обзора нет. После одного случая я как псих какой стал. Если помещение не имеет двух выходов или местность закрытая, меня туда калачом не заманишь. Как-нибудь расскажу про тот случай.

Оторвались вроде мы от румын. Сашку Сырцова перевязали. Идти может, даже автомат свой взял. Лежим в бурьяне, дышим, как загнанные лошади, и потихоньку спорим.

Сашка и Иван рвутся в балку, а я ни в какую! Ну, спор этот продолжался ровно столько, сколько нам потребовалось времени, чтобы перевести дух. Поднялись. Я, как старший в группе, приказал, и пошли. Хорошо, что не сунулись тогда в эту балку... Добрались до Елхов благополучно и на эту кузницу вышли. Правда, ее уже и тогда не было, одни саманные стены торчали, да инвентарь кругом разбросан. Подходим, а уже сереть начало. Смотрю, кто-то ходит. Я ребятам подал знак и сам затаился. Наблюдаем. Вначале подумал, что телок какой приблудный бродит, потом гляжу — нет, человек. Я взял его на автомат, а Иван мне шепчет: «Так это ж наша братва...»

Смотрю, выходит из-за кузницы еще один, и Иван ему сдуру кричит: «Арно, это ты?»

Эх, как метнется в сторону эта тень да в нас очередью! Я чесанул того, какой у меня на мушке был, и давай крутить обратно. Как рак назад пячусь, все норов-

лю в окоп попасть. Мой фриц, что у сеялки свалился, молчит, а которого Иван за Арно принял, поливает нас. И слышу, он не один, ему еще кто-то из-за развалин кузницы помогает.

Думаю: «Влипли! Не иначе как на гитлеровскую разведку напоролись». Ни наших, ни фашистских войск здесь, в Елхах, нет. Елхи ничейные. И фрицы по селу бродят, и мы. Ловим друг дружку. Но мы вроде обосновались покрепче. Свою базу тут устроили. Боеприпасы и рацию в одном погребе прячем. В этот раз, с вечера, когда уходили на поиск румынской батареи, в Елхах оставались трое наших ребят. Они должны были прочесать балку и обеспечить нам встречу. Откуда же эти фашисты и где наши хлопцы? Пячусь назад, ищу окоп, а у самого мысли так и пляшут в голове.

Вижу: уже не три немца, а больше, и вспышки от выстрелов теперь уже и справа и слева. «Э-э, — соображаю, — да они охоту на нас устраивают». Иван тоже отполз и бьет короткими. А я никак этот проклятый окоп не найду. Когда подходили к кузнице, чуть не влетел в него, а сейчас пропал.

Наконец провалился в него. «Ну, — думаю, — теперь вы у меня попляшете! Если «языков» из нас захотели сделать, так это еще посмотрим, кто кого». Окоп мой оказался хоть и неглубоким, но хорошим. В длину метров семь, даже не окоп, а траншея, зигзагом вырытая. Залег и не спешу себя обнаружить. «Пусть, — думаю, — теперь пуляют — боезапас свой порастрясут».

Позвал потихоньку Сашку. Он со мною вместе отползал, да где-то застрял. Минут через пять слышу: сопит, потом плюхнулся рядом со мною и застонал. Подполз к нему, а он за ногу держится и просит снять ботинок. Второй раз его ранило. Перевязываю ему ступню, а сам по сторонам круговой обзор поддерживаю. Впереди нас от кузницы все больше светлеет. Там остался один автоматчик и не дает нам головы поднять, а остальные заходят с боков. Видно, и Иван сообразил, чего фрицы хотят, и стал стрелять реже. Вынимаю из карманов лимонки и кладу перед собой.

Сашка проскрипел зубами, достал свои гранаты и говорит мне: «Давай через этого ганса на кузницу прорывайся, а я поддержу тебя». Знает, что я его не брошу, а говорит...

Я молчу, а сам думаю: «Вот если бы Иван догадался пойти на прорыв, то мы бы вдвоем его хорошо могли

поддержать». У него есть возможность проскочить. Ребят наших в Елхах поискать. А потом с ними на выручку ударить. Но мой Иван, вижу, и не думает об этом. А немцы уже в спину к нам вышли и кричат: «Рус, иди плен!» Врезал я очередью на этот нахальный голос.

Вижу, патроны жалеть нечего, взять они нас могут даже очень легко, и боезапас расстрелять не успеешь. Забросают гранатами — не пикнем...

Швыряют они свои гранаты-«толкушки» метров на семьдесят запросто, а голоса их я как раз с такого расстояния слышу. Ну и давай мы с Сашкой лупить по ним из автоматов. Они тоже не молчат. Только слышу, вправо от Елховской балки какая-то новая стрельба завязывается, и мои гансы туда свой огонь начинают переносить.

«Э-э-э, — соображаю я, — кто теперь у кого в окружении? Видно, ребята наши их жмут». На радостях схватил я пару гранат да из окопа наперерез немцам.

Драпанули так, как будто их ветром сдуло. И тот, какой сидел в развалинах кузницы, как сквозь землю провалился. Сразу все чисто стало. Только бегает наш верзила Арно и всех спрашивает: «Ты живой? Ты живой?»

Гриша умолк. Достал свою телогрейку, пошарил в ее карманах. В руке сверкнул портсигар, тут же он выхватил четвертушку газетки, согнул ее, потом, положив бумажку на колени, тряхнул туда из портсигара табаку и, ловко подхватив ее, пальцами одной руки скрутил цигарку, сунул в рот, чиркнул зажигалкой. Все это проделал так быстро, что человек с двумя руками вряд ли бы успел за ним. Он подряд несколько раз глубоко затянулся, подул на красный огонек цигарки и, спрятав портсигар и зажигалку в карман телогрейки, прилег на нее.

— Давайте спать, хлопцы, а то не выспимся...

«Вот тебе раз!» — подумал я и тут же спросил:

— А дальше что было?

— А ничего... — как-то устало вздохнул Гриша. — Уже светало. Ребята спешно понесли Сашку Сырца к своим. Крови он много потерял. А мы втроем: Арно, я и Пашка Белых — остались еще на двое суток в Елхах. Тогда гитлеровцы меняли дивизию на этом участке, и у нас была работа. Ну ладно. Давайте спать. Об этом как-нибудь в другой раз.

— Гриша, — спросил Шурка, — а чего же ты не сказал, когда нас поведешь в Елхи? Давай завтра?

— Нет, ребята, завтра не могу. К обеду должен быть в Больших Чапурниках. А туда мне на своем драндулете как раз полдня пилить. Давайте точно договоримся: как отсеетесь, так я к вам приезжаю. Идет? И мы тогда на целый день туда зальемся.

ПЕРВЫЙ ОТЧЕТ

Вот уже второй месяц три раза в неделю Андрей по вечерам исчезал из дома и появлялся только, когда мы собирались спать. Они с Игорем Первушиным занимаются в спортивной секции самбо. Ездить им приходится через весь город в политехнический институт, но ребят это не удерживает. Теперь Андрей, придя из школы и пообедав, сразу садится за уроки и занимается до тех пор, пока не подойдет время ехать на занятия секции. Бабушка не нарадуется его усердию.

— Будто подменили нашего Андрюшу, — счастливо шептала она, — сегодня опять сидел за уроками, а потом всполошился, кричит: «Скорей давай ужинать!» — и помчался со своей сумкой.

Я видел, что ему нелегко даются эти занятия — только на дорогу уходит почти три часа, — и как-то спросил:

— А может быть, где-нибудь поближе нашли бы секцию? Ведь не обязательно самбо. Гимнастика не хуже.

— Что ты! — удивленно отозвался он. — Да знаешь, сколько раз мы к этому тренеру ездили? Еле уговорили. Он знаешь какой?

И дальше шел рассказ о заслугах тренера. Мне нравилась увлеченность сына. В доме только и было разговоров о самбо: подсечка, бросок, болевой прием... Андрей даже Юлю начал обучать. Одел ее в свою куртку самбиста, обмотал длинным поясом и начал швырять, как куклу, на ковер. Та вскакивала и, сцепив зубы, бросалась на него, а он, заломив ей руки, опять нещадно бросал на пол с таким грохотом, что мне казалось, она уже не поднимется. Но Юля как резиновая вскакивала, и все начиналось сначала.

— Господи, да зачем тебе это нужно? Ты же девочка!

— Нужно, нужно! — выкрикивала она. — А если кто нападет?

Андрей пожал плечами.

— Ты слышал о Маше Поддубной?

— О борце Иване Поддубном знаю.

— Нет, это не то. В начале нынешнего века в России гастролировала знаменитая труппа борцов-женщин, и там была Маша Поддубная. С ней боялись бороться даже мужчины...

Мне все хотелось докопаться до причины его увлечения самбо. И я начал расспрашивать Андрея о занятиях в секции, о тренерах, ребятах, с которыми он занимается. И вот что раскрылось.

Еще осенью Андрей как-то пришел домой с синяком под глазом и ссадиной на лбу. В доме переполошились. Андрей молчал.

— Подумаешь, подрался с мальчишками! Крепче будет, — сказал я своим.

А когда у нас появился Игорь Первушин, то увидели, что его лицо раскрашено еще больше, чем у Андрея.

— Так это вы друг друга так?

— Нет, — засмеялся неунывающий Игорь. — Но мы проходили по одному делу.

— А какому же, если не секрет?

Игорь готов был рассказать, но вмешался Андрей.

— А-а, неинтересно...

Так и забылась эта история. А сегодня узнал, что, оказывается, существует этакая «безобидная» форма мальчишечьего разбоя. Средь белого дня на улице, во дворе, где нет взрослых, подходит подросток к другому подростку поменьше и требует десять копеек, угрожая избиением. У нашего районного кинотеатра действовала целая группа таких сорванцов. Вот с ними и дрались Андрей и Игорь.

— Пришли мы четверо в кино, — рассказывал Андрей. — А к Сережке Осташеву пристали: «Давай деньги!» Мы заступились. Они на нас. Сережку ударили, он бежать. Другой наш парень тоже удрал. И мы с Игорем остались. Их четверо. Игорь одному как смажет — он прямо ласточкой! Ну и пошло...

— Досталось вам тогда крепко?

— Крепко, — повторил Андрей. — Я бить по лицу не умею...

— Боишься?

— Не знаю, — дрогнул его голос, — не могу...

У меня словно что-то повернулось в груди. Вспомнил, как семилетний Андрей пришел домой с расквашенным

носом и вот так же жаловался матери, что не может бить в драке по лицу.

— Так из тебя никогда боксер не выйдет, — высмеял я его.

А жена серьезно сказала:

— Человека, Андрюша, нельзя бить по лицу, нельзя. Он человек.

Мы больше никогда не говорили в семье на эту тему, а вот запали же в его душу те слова.

— Так вы что, тогда же после этой драки и решили самбо заниматься?

— Ну, не сразу... А вообще-то да.

Сейчас я вспомнил этот разговор и подумал: почему мне тогда удалось вызвать Андрея на откровенность, а теперь нет? Почему все реже и реже это бывает?

Андрея приняли в комсомол. Мы все ждали, чтобы поздравить его. А он как утром ушел в школу, так и пропал. Мы знали, что после школы мальчишки собирались идти в райком комсомола. Но наступил вечер, а их все не было.

Наконец явился около десяти. Лицо обострилось, глаза чуть запали, но веселые, с огоньком.

— Почему так долго?

— А я откуда знаю. В райкоме много людей было.

— А позвонить домой ты не мог? Здесь уже все передумали. Вон бабушка за сердце хватается. В больницу и милицию звонили.

На лице Андрея испуг и растерянность.

— А чего беспокоиться? Что я, Юлька, что ли?

— Юля так бы не сделала.

— Да, не сделала... Она вон из школы по часу идет домой, к подружкам заходит, и вы ей ничего не говорите...

— Неправда, не захожу, — отозвалась та. — Не сваливай на меня.

— Хватит, иди ужинать. Потом поговорим.

Сверкнул глазами, нагнул голову, что-то пробубнил и пошел.

Через несколько минут Юля, раскрасневшаяся, выбежала из кухни, глазенки горят.

— Приняли, комсомолец... — и обратно.

Нет, не так начался у меня разговор с сыном, в торжественный для него день.

Невольно прислушиваюсь к разговору на кухне. Там то вспыхивает, то затихает смех. Андрей рассказывает, какие ему вопросы задавали.

Юля. И все шесть орденов ты знаешь, за что дали?

Андрей. Все. А чего не знать! — И он начинает перечислять: — Орден Красного Знамени — за гражданскую войну...

Юля. А еще что спросили?

Андрей. Про принципы централизма в комсомоле.

Бабушка. Ну а ты?

Андрей. Ответил.

Юля. А еще что?

Андрей. А еще, сколько детей у меня...

Взрыв хохота.

Андрей. А потом: «Плясать умеешь? Спляши». Сплясал. «Я еще петь умею». А они говорят: «Не надо». Но я все равно спел. (Пауза.) Но уже в коридоре...

Через несколько дней Юля сообщила мне, что Андрей работает над докладом. Ей явно доставляло удовольствие рассказывать новости из жизни Андрея.

— Он теперь докладчик в нашей школе, — как можно серьезнее сказала она, — скоро будет выступать.

«Что же, девятый класс, уже можно и доклады», — отметил про себя. Я тоже в девятом делал первый в своей жизни доклад. Это было зимой сорок четвертого. Учительница литературы поручила. Сейчас не помню ни ее имени, ни фамилии. Учился в тот год всего немногим больше двух месяцев — январь и февраль (пока трактора были на ремонте в МТС, меня отпустили), а в марте бригада уже выезжала в поле, и я вернулся на работу. Так вот, учительница литературы поручила, или, как мы тогда говорили, заставила, сделать доклад по двум романам Тургенева — «Рудин» и «Дворянское гнездо». Насколько я помню, в школьной программе был лишь роман Тургенева «Отцы и дети», а эти шли по внеклассному чтению. Но учительница решила по-своему — пусть ученики делают доклады на уроках.

Помню, прочел эти романы, и они околдовали меня. Ничего подобного я еще не переживал. У нас голодная и холодная военная зима сорок четвертого, мы получали скудный паек иждивенца: триста граммов рассыпающегося на морозе хлеба, а там недоступная сытая и тихая жизнь, какая только может присниться. В нашем доме постоянный, нестерпимый холод. За дровами ездили на санках к линии бывшей передовой. Шарим по разоренным блиндажам, где остались доска или обрубок бревна. А потом километров пять-шесть, а то все десять тащим санки. Впрягаемся с младшим братом — и по по-

лю, через овраги. А там совсем иной мир, иные люди. И я попал туда и несколько недель жил жизнью бесстрашного и кристально чистого Рудина, умного Лаврецкого и обаятельнейшей Лизы Калитиной.

...Как я делал доклад, не помню, но знаю, что мне еле хватило двух уроков, чтобы рассказать о «Рудине».

Рассказ о «Дворянском гнезде» было решено слушать через неделю. Но грянула ранняя весенняя оттепель, и наша бригада заспешила в поле. Стало уже не до романов Ивана Сергеевича и не до школы.

Недавно я снял с полки темно-зеленый томик сочинений Тургенева с этими романами и дал Андрею. Видно, я очень горячо говорил, и он тут же принялся за чтение. Однако потом я видел, что книга недвижно лежала на тумбочке перед его диваном несколько дней. «Рудина» он все же прочел, а «Дворянское гнездо» так и не одолел. Я обиделся за Тургенева, а заодно и за себя. Читает всякую ерунду! Про шпионов, убийства может двести страниц проглотить за вечер, а тут величайший художник его не трогает.

После того случая долго не мог говорить с ним о литературе. Потом все же спросил:

— Ну как романы?

— Ничего, неплохие, — протянул он. — Я думал, хуже.

— Как ты говоришь?

— Как? — притворно-наивно пожал он плечами. — А что, я не могу иметь своего мнения?

— Можешь. Но ты должен сначала прочесть, а потом иметь свое мнение.

— Я прочел. А что я, Тургенева не знаю?

— Не знаешь.

— Мы его проходили. По «Отцам и детям» писали сочинение.

— Ну и что?

— Скучный роман.

— Конечно, там никто никого не режет, не стреляют.

— Почему же? Базаров режет лягушек, стреляет в Павла Петровича...

Я рассмеялся. Иногда он бывает остроумным.

Мне нравятся современные мальчишки, я им часто завидую. В них есть то, что не было у нас. Они больше информированы, раскованнее мыслят, более самостоятельны, не принимают ничего на веру, хотят дойти до всего сами. Но есть и такое, что настораживает, а ино-

гда и пугает. Хорошо понимаю, что у молодых людей во все времена были горячие головы, повышенное самомнение и критическое отношение к авторитетам, и все же...

Как-то вечером застал Андрея за раскрытыми книгами о войне. На столе лежат «История Великой Отечественной войны», воспоминания маршалов Чуйкова, Рокоссовского, Еременко. Здесь же толстенный сборник статей немецких генералов «Мировая война 1939—1945 гг.».

— Первое комсомольское поручение?

— Знаешь, — поднялся Андрей, — меня избрали руководителем группы докладчиков школы.

— Поздравляю. Это уже серьезно.

— Я знаю. Сейчас готовлю доклад. — И тут же добавил: — Выбрал про Сталинград. Скоро годовщина Сталинградской битвы...

— А что ты успел написать?

— Вот, — протянул он мне двойной листок из тетради, исписанный корявыми стелющимися строчками. — Здесь только даты, цифры, а там я буду говорить своими словами. Я хочу рассказать про Дом Павлова, про Мамаев курган и о том, как мы нашли там осколки и патроны. А еще хочу рассказать, как мы жили у Дома Павлова и как с мальчишками лазали по мельнице, какие там толстенные стены и все изгрызенные.

— А ты помнишь?

— Чего же не помнить, — обиженно приподнял плечи Андрей. — Все помню.

— Ну давай, давай, твой возраст уже позволяет обращаться к воспоминаниям.

Андрей покраснел, и хотя у нас была договоренность на шутки не обижаться, явно обиделся. Отвернулся, помолчал, а потом сердито:

— Все равно это расскажу...

— Рассказывай. Личные впечатления оживляют доклад. Но скажи, почему ты не соблюдаешь наш уговор? Помнишь, как поступили с Паниковским, когда он нарушил конвенцию?

Андрей натянуто улыбнулся. Мир был восстановлен.

— И еще одно пожелание. Не говори, что Волгоград самый лучший город в стране, и не забывай, что, кроме Сталинградской битвы, были битвы под Москвой, Ленинградом, Одессой, Севастополем.

Я вижу, что Андрей уже готов спорить, отстаивать

свой родной город. Сейчас запальчиво посылает свои «зато после Сталинграда у фашистов был траур», «зато там Волга...», «зато...» и еще добрую сотню этих «зато».

Андрея трудно переспорить. «Защищать» Сталинград будет до хрипоты. Если же сейчас перевести разговор на другое, то он с большей серьезностью задумается над сказанным мною. Не раз наблюдал этот психологический парадокс.

— А это зачем тебе? — спросил я, указывая на книгу немецких генералов.

Андрей смущенно смотрел на меня.

— Ну как же, ведь интересно, что сами немцы говорят про Сталинград.

— А ты разберешься? Там они все по-своему оценивают.

— Я знаю... Они все валят на Гитлера. Вроде во всем виноват он.

— А ты как?

— Наши им поддали, вот и все. Они же пробовали пробиться из окружения, да силенок не хватило.

— Зрело мыслишь, давай готовься.

— А можно мне рассказать про вашего Гришу-разведчика?

— Можно! Только не сочиняй много.

Лицо Андрея вспыхивает. Он опускает голову, смотрит куда-то мимо меня, но тут же, овладев собой, раздраженно спрашивает:

— А когда же мы поедем к Грише в совхоз? Все только обещаешь...

— Поедем. Обязательно поедем.

— Я и Юлька, — резко вскидывает голову Андрей. Взгляд требует прямого ответа. — Обманывать нечего. На юг тоже сто лет собираемся...

— Поедем. И на юг, и к Грише, — твердо отвечаю я, понимая, что сейчас даю слово, от которого уже нельзя отказываться.

Андрей согласно кивает. Он верит, что говорю правду, и тут же вновь заговаривает о своем докладе. Как ему хочется сейчас быть со мной на равных!

И я в детстве любил рассказывать ребятам всякие небылицы. Выдастся свободный часок, шмыгнем куда-нибудь в сторону от стана, завалимся в бурьян, чтобы не видел нас бригадир, и давай травить. Сельские ребята любили слушать про городскую жизнь. Естественно, что все мои рассказы кончались войной. Увлекшись,

я иногда спрашивал ребят: «Как вам сделать, чтобы его убили или чтобы он остался живым?»

Шурка в таких случаях порывисто вскакивал и кидался на меня с кулаками:

«Так ты все врал! Мы что, дураки?» Ребята не защищали меня. Даже мой закадычный кореш Васька Попов не шевелился. Подражая нашему бригадиру, он покусывал травинку и смотрел на меня как на пустое место. Из-под насевшего на меня Шурки я хрипел:

«Это правда, ей-богу, правда! Он жил на Медведицкой улице, а работал на Тракторном заводе. Когда немцы прорвались в город, пошел в рабочий батальон. Тогда все с завода уходили на фронт, а вот остался он жив или нет, не знаю...»

Андрей и Юля тоже часто просят меня рассказать про войну. Но соглашаюсь я редко.

С большой охотой вспоминаю другое время, тоже трудное, но то, когда мог действовать. Не сидеть, как мышь, в углу блиндажа и ждать смерти, а заниматься делом. Этим делом для меня была работа в тракторной бригаде.

Время безжалостно отдаляет нас от тех лет, и уже сейчас прошлое встает в памяти не сплошным массивом, а отдельными островками, хотя и очень яркими. Склеивать их в один материк не хочется, потому что, как бы ты ни старался, клеем этим непременно будет домысел.

...Помню первый отчет о работе нашей тракторной бригады. Несколько вечеров мы трудились с Василием Афанасьевичем над ним.

— Главное, Андрюха, отчитаться за горючее, — говорил бригадир, — а трудодни приложатся.

И мы мучительно придумывали, по каким «статьям» можно списать недостающие литры керосина. Но «статья» в основном была одна — наши вспаханные и посеянные гектары. А их едва хватило, чтобы покрыть половину израсходованного горючего. Один бригадир да Дед знали, куда делось это горючее. Большая его часть «уплыла» еще там, в селе, когда мы стояли на ремонте. Керосин нужен был всем. Мы списывали его на промывку деталей при ремонте и на перегонку тракторов в поле по тройной норме, и все же недостача была большая. Василий Афанасьевич долго удивленно таращил глаза на составленную мною ведомость расхода горючего, тяжело вздыхал, трогал негнущейся пятерней свои жидкие сивые волосы, а потом, махнув рукой, сказал:

— Пиши, Андрюха, новую и поставь остаток литров триста.

— Так у нас и двухсот нету, — возразил я.

— Ничего, пиши. Начнем по-настоящему работать — покроем. Тут трошки неувязка у нас вышла.

Я написал.

Было это в мае. Наша единственная, собранная Халимом Викуловым из утиля сеялка все еще пылила по пересохшей весновспашке. Сеяли ячмень, просо, гречиху и какую-то небольшую толику овса и кукурузы — все, что смог достать колхоз. В отчете, который я вез в МТС, сев был закончен и мы уже пахали пары.

Белый узелок с харчами еще с вечера привязан к багажнику итальянского велосипеда — моего трофея. В узелке — баклажка с молоком и кусок хлеба. Отчет в кожаной полевой сумке. Можно ехать, но бригадир останавливает меня:

— Возьми вот это. Отдельно положи, — и он сует несколько листков бумаги. — Тут мы с председателем подписали чистые бланки актов и отчетов. На всякий случай...

Я понимаю, как могут выручить эти бумаги, и торопливо запихиваю их в полевую сумку. На радостях метров двадцать стремительно несусь с велосипедом, а потом, как цирковой наездник, вскакиваю на седло.

— Смотри не сверни шею! — кричит бригадир.

Но меня уже подхватило вихрем. Только успеваю перебирать педалями. Натянутой струной во мне звенит радость. Отличная машина! Два тормоза. Ручной тормоз в диковинку. Хромированные ободья колес отливают голубоватым светом. Ах как легко они мчат меня туда, к подожженному еще невидимым солнцем горизонту. Где сделали эту легкую, как птица, машину? В Риме? Турине? Милане? А больше-то я и городов в Италии не знаю. Вспомнил Венецию. Конечно, в Венеции, только в таком прекрасном городе и могли сделать этот велосипед.

Но как он попал с берегов Адриатики на берега Волги? Я нашел этот велосипед в полуобрушенном блиндаже километрах в трех от полевого стана на второй или третий день после нашего выезда в поле. Как завидовали мне мои дружки! Да и сам я от радости не находил места.

До Красноармейска, который тогда был южной окраиной города, домчался легко, как вдруг почувствовал:

сдало переднее колесо. Откинулся, перенося тяжесть тела на заднее колесо. Только бы выбраться на подкачке! Насос у меня хороший — автомобильный. Накачав, вскакиваю на седло и сколько есть мочи жму на педали.

В Большие Чапурники, где находится МТС, не въехал, а влетел как угорелый. Даже не верилось, что вот так легко добрался. Перед двором МТС соскочил с велосипеда. Осмотрелся, поискал колодец.

Колодец в конце двора, и я покатил велосипед мимо разобранных тракторов, культиваторов, сеялок. Вода холодная. Ломит зубы, но пить ее нельзя. Горькая, соленая, вяжет во рту.

— Ее пьют?

— Пьют, — бойко ответил возившийся у трактора человек. — Люди пьют, лошади отказываются. Пей, не умрешь.

Человек, резко шатнув свое худое тело, вышел из-за трактора, и я увидел, что он без ноги.

— Пей, — подбодрил он меня, — она только на вкус сволочная, а так ничего...

Пить расхотелось, даже мутить начало... Но это не от воды. Я ведь еще не ел сегодня, а время к обеду. Нестерпимо захотелось выпить молоко и съесть хлеб. Развязана бечевочка на багажнике, и я уже пью нагретое солнцем топленое молоко и жую медово-сладкий хлеб. О, блаженство, вкуснее я не знаю ничего на свете.

— Ты откуда такой богатый взялся? — двинулся в мою сторону одноногий.

Я вздрогнул, оторвался от баклажки и с ужасом понял — большая половина хлеба исчезла. Эх, да когда же я его проглотил? И укусил-то два раза. Я так растерялся, что чуть не заплакал.

— Ты гляди, хлеб! — приковылял ко мне заморыш-тракторист. — Вот живут! — И его высохшее лицо изобразило такую гримасу, что я попятился от него.

Не успел опомниться, как мой хлеб был уже во рту этого одноногого.

— Наверное, молоко? — переводя дух, кивнул он на баклажку и так же властно протянул руку.

Отдал баклажку. Он запил хлеб молоком и, масленно сверкнув своими маленькими мышиными глазами, изрек:

— Ну и кормят же вас...

Молча вырвал из его грязных рук пустую баклажку и, подхватив велосипед, кинулся прочь.

— Ты чего, малец? — прохрипел он вслед. — Чего? Осерчал...

Я не отвечал, боясь расплакаться.

Прямо с велосипедом потащился в контору.

В небольшой комнате за одним столом, сколоченным из досок, сидели четыре человека — три женщины и старик. Стол завален бумагами, папками. Перед каждым — счеты. Старик, заросший седой редкой щетиной, сидел как-то неестественно прямо и, отстранив от себя в вытянутой руке бумагу, звонко щелкал костяшками. Круглые очки в железной оправе держались на кончике носа. На бумагу он смотрел поверх очков. «Смешно. Зачем же он нацепил очки?» — подумал я.

На мое приветствие ответила лишь женщина, сидевшая у двери.

— Из «Первомая», с отчетом... — стараясь заглушить перестук счетов, сказал я.

— Ну и что? — не отрываясь от работы, раздраженно ответила другая. — Видишь, заняты, подожди.

Отошел к двери.

Все молча продолжали греметь счетами. Старик, не удостоив меня даже взглядом, перевернул набок свои счеты и начал писать. Теперь он поправил очки, согнулся над столом и почти носом водил по бумаге.

«Забавный хрыч, — глядел я на него. — Сколько же ему лет? Шестьдесят, семьдесят, а может, только пятьдесят?» Определить возраст тылового мужчины в военное время — бесполезное занятие. Все они заморенные, худущие, небритые.

Между тем сердитая перестала щелкать костяшками, отодвинула от себя горы бумаг и, повернувшись к старику, спросила:

— Александр Иванович, из Первомайского колхоза учетчик. Кто отчет примет?

Я даже вздрогнул. Оказывается, этот небритый дед и есть Александр Иванович Сиволобов, наш грозный главбух МТС. Чудеса! И этого тщедушного старикашку так боятся бригадиры тракторных бригад, председатели колхозов и даже районное начальство?!

Александр Иванович тряхнул головой, вновь смешно сдвинул очки на кончик носа и поверх них глянул на меня. Ничего грозного в нем не было.

— А-а-а. Первомайские партизаны пожаловали. Для вас что, особые законы писаны?.. Нет, уж я приму у них отчет сам, — повернулся он ко мне.

У Сиволобова был на редкость молодой, прямо-таки мальчишеский голос, и, видно, поэтому трудно было понять, шутит он или говорит серьезно.

— Так почему же вы не ехали с отчетом? — в упор глянул он на меня поверх очков.

— Сеяли, было некогда...

— Все колхозы сеяли, всем было некогда. И все отчеты уже давно сдали, — жестко оборвал он меня, и я понял, что голос у этого деда не такой уж мальчишечий.

— Тебя как зовут?

— Андреем.

— А по отчеству?

— Николаевичем, — нерешительно ответил я.

— Вот что, Андрей Николаевич, давай раз и навсегда договоримся. Для всех порядок один — отчитываться каждую декаду. Будь добр, являйся сюда через каждые десять дней, а заболел — пусть едет бригадир, но отчет должен быть. Ясно?

— Ясно...

— Вот и хорошо. А теперь давай посмотрим, что вы там нагородили.

Я уже достал из сумки свои бумаги: учетные листы выработки трактористов, акты приема и сдачи выполненных работ бригады колхозу, квитанции приема горючего с нефтебазы и ведомости его расходования, акты ремонтных работ по сельхозинвентарю, тракторам и другие документы. Все они были написаны на разной бумаге. Начиная с лощеной немецкой и кончая листками, вырванными из ученических тетрадей, и цветной оберточной бумагой, на которой расплывались чернила.

Александр Иванович брезгливо покосился на этот лохматый ворох листков и сказал:

— Давай начнем с акта приема вашей работы колхозом. Это банковские документы. По ним государство предъявит колхозу счет на оплату за работы МТС. — Он, ловко выдернув из бумаг несколько листков, сдвинул очки к переносью.

Читал он их, как музыкант ноты, на вытянутых руках.

— Э-э-э, други хорошие, так у вас же ничего трактористы не заработали!.. Почему вся весновспашка идет по низкой и средней трудоемкости? А где пахота по многолетней залежи?

— Мы, Александр Иванович, не пахали по залежи.

— Как не пахали? — подпрыгнул старик, и очки его

чуть не слетели с носа. — Может, вы и сеяли по зяби?

— Нет, по весновспашке...

— Так чего же ты мне голову морочишь? Земля второй год гуляет, а он — нет у них залежи. Да сейчас везде только по залежи и пашут. А у вас там еще и окоп на окопе.

И, резко подав свое сухое тело в мою сторону, спросил:

— Может, ты скажешь, у вас и окопов нет?

— Есть...

— Так чего вы тут нагородили?.. Такую землю пахать труднее, чем целину. Надо ставить высшую категорию трудности.

Он сердито отбросил мои акты. Я растерянно молчал. Мне стало жарко. Наконец я выдавил:

— Так это же весь отчет переделывать...

— Ну и переделаешь, — рявкнул старикан.

— Такие акты не подпишет председатель, — попытался я возразить.

— Подпишет, — примирительно сказал Сиволобов. — Уже подписал... — И он достал торчавшие из моей полевой сумки чистые бланки актов с подписями председателя и бригадира. — Поставишь еще и свою подпись, и все будет в порядке, — уже совсем миролюбиво закончил он, — дело нехитрое.

Я покраснел. Александр Иванович положил на мое плечо руку и, заговорщически сощурив глаза, молча кивнул мне: давай, мол!

Когда переписал акт, работа нашей бригады сразу увеличилась почти на четверть. Я ахнул. Общая цифра вспаханной земли оставалась той же, но, повысив категорию трудности, я получил другое количество гектаров в переводе на мягкую пахоту. Вместо ста восьмидесяти теперь получалось более двухсот гектаров. А именно по ним определялось начисление трудодней трактористам, прицепщикам, расход горючего и, конечно, оплата колхоза государству за работы МТС. Вот так штука! Но это же обман?

Мне опять стало жарко. Столько надрывались у этих тракторов, мерзли, голодали, выколачивали гектары по соткам, а тут одним росчерком пера все перевернулось... Уж как мы с бригадиром искали, куда бы списать недостающее горючее, а до такой штуки не додумались. Василий Афанасьевич, конечно, знал об этих категориях трудностей. Да мы и так ставили в отчете больше, чем

она на самом деле была. Но чтобы вот эдак — смотреть на черное и говорить белое... Извините...

— Ты чего, Андрей Николаевич, — насмешливо спросил Сиволобов. — Запутался в трех соснах?

— Запутался...

— Давай посмотрим, что ты здесь нарисовал.

— Да нет, я уж сам как-нибудь...

— Ну, ну, давай. — И главбух отвернулся.

Переписывать второй акт я не стал. Получалось беспардонное надувательство. Мы обманывали колхоз. Он должен будет сдавать зерно государству и платить нам, трактористам, за работу, которую мы не делали.

— Как же это так? — спросил я у Сиволобова.

Он неторопливо стащил с переносицы очки и молча уколол меня острым, точно шило, взглядом.

— Ты что, действительно не понимаешь или дураком прикидываешься, ты же эмтээсовский?

Теперь в глазах старика, кроме злости, было еще любопытство.

— Ты что ж думаешь, Андрей Николаевич, один ты честный, справедливый, а другие обманщики?

— Ничего я не думаю...

— Нет, думаешь, вижу по глазам. И напрасно! Хотя и некогда мне с тобою долгие разговоры водить, но давай разберемся. Ты считаешь, что мы обманываем колхоз? А кому от этого выгода? Мне? Или вот им? — он кивнул на женщин. — Мы получаем зарплату и карточки. Значит, нет! Выгода прежде всего государству. А о ком мы сейчас прежде всего должны думать, скажи мне? О ком? Ты, наверное, комсомолец?

— Комсомолец, но...

— Погоди, — предостерегающе поднял он руку, — не лезь поперед батька... Давай теперь посмотрим, кто еще от этого в выигрыше.

— Трактористы...

— Соображаешь, — криво усмехнулся Сиволобов, — выходит, не такой уж ты дурак. А кто такие трактористы? Кто главная фигура в поле? И получает ли он за свой труд лишку? Ты думаешь, что здесь обман? — и ткнул он пальцем, как пикой, в акт. — А ты спроси у трактористов.

— Я спрошу у председателя.

Охота возражать у меня пропала. Я понял, что ничего не докажу. Мою подавленность Сиволобов понял по-своему и закончил доверительно:

— Эх, Андрей свет Николаевич, ты только начинаешь жить! А в ней, нескладной, не все по-писаному. Тут соображать надо. Ну, пожурит тебя малость председатель, так что из этого? Зато интересы государства отстоял, интересы МТС и своей бригады.

— Не надо бригаде никаких подачек.

— Какие подачки? И почему ты за всю бригаду говоришь? Давай кончать разговор. Меня работа ждет. — Он немного помолчал и равнодушно добавил: — Ваши гектары уже давно включены в общий отчет МТС.

— Хорошо... — отодвинул я от себя бумаги. — Подписывать все равно не буду.

Резким движением головы, словно хотел боднуть меня, Сиволобов стряхнул очки на переносицу и встал. Вперил в меня вопрошающий взгляд и вдруг, словно передумав, махнул рукой и вышел из-за стола.

— А-а, ладно, черт с тобой!..

Прошел к подоконнику и начал рыться в папках. Всем своим видом старик подчеркивал, что утратил всякий интерес к моей персоне. Выходило, мое несогласие никому не нужно. Я даже растерялся. С кипой бумаг в руках Сиволобов обошел меня, как люди обходят шкаф, и, склонившись над столом, стал говорить с сотрудницей. Потом, не поднимая головы, бросил мне:

— А акты ты оставь... Конечно, без своей подписи. Отчет переделаешь и привезешь через десять дней. Все.

Схватив полевую сумку, я кинулся к выходу.

— Привезет, да кто-то другой!

Ну и дед! Только бы выбраться из этого села. Ну и дед!

Селу, казалось, не было конца. Удивительно, как они похожи друг на друга, прифронтовые села, словно стаи общипанных птиц! С домов сорваны ставни, обшивка, и ни единого деревца, ни кустика. Все сожжено за зиму или увезено на строительство блиндажей на передовую. Некоторые дома разорены до самого фундамента.

Прифронтовые села как люди после страшного голода — кости да кожа. Улицы заросли травой. Люди сюда не вернулись. Села исчезли навсегда. Сотни лет стояли. Рождались, жили и умирали люди, а теперь ничего не стало, смела война. Не стало моего родного Ягодного, нет Елхов, Гавриловки, Питомника... Сколько их между Волгой и Доном? А сколько по всей стране?

Когда вступал в комсомол, в анкете записали: «Родился в селе Ягодное». Даже если оно когда-нибудь воз-

родится под этим солнечным названием — Ягодное, все равно это уже будет другое село, не то, где я босиком бегал по нагретой солнцем дорожной пыли, тепло которой храню в себе и сейчас *.

Когда я наконец выбрался из Больших Чапурников, время далеко перевалило за полдень. Жара не спадала. Заметив разрушенный блиндаж, свернул с дороги. За ремонт велосипеда разумнее всего браться именно у блиндажа. Ведь еще несколько месяцев назад они были домами для тысяч солдат.

Но, видно, в ту весну в нашем крае не было человека, который, побывав у блиндажа, не пошарил в его темных углах. Хорошо знаешь, что до тебя здесь прошли десятки, но все равно лезешь, перетряхиваешь истлевшее тряпье, гремишь пустыми консервными банками, изуродованной кухонной утварью. И обязательно найдешь такое, что может пригодиться в доме: заржавевшую вилку или ложку, сплющенную алюминиевую миску (ее легко выправить), рваный сапог, у которого еще хорошее голенище, ремень, кусок брезента, молоток, лопату, да мало ли что. Это в блиндажах наших солдат. А они не шли ни в какое сравнение с немецкими или румынскими. Те напоминали универмаги.

Блиндаж рядом с дорогой, в нем наверняка побывали сотни, и все же я спрыгнул в траншею. Под ногами еще не успевшие позеленеть рыжие гильзы патронов, разорванный противогаз, консервные банки и сломанный черенок лопаты. Поднимаю шлем противогаза (отличная резина на заплатки!) и вхожу в блиндаж. Минуту ожидаю, пока глаза привыкнут к полумраку. А блиндаж был что надо! С двойными нарами, с большим столом, полками, нишами. Все это теперь разорено, торчат только врытые в землю столбы, доски сорваны, увезены. Носком ботинка переворачиваю с места на место окопный хлам. Не на чем остановить взгляд. Скомканная бумага, тряпье, куски ржавой жести, серая обложка книги. Нагнулся — «Киселев. Алгебра». Подхожу к нише. Что-то в ней было? Может, продукты хранили? Боеприпасы? Теперь здесь куча мусора. Разгреб ее и нашел несколько пакетов бинтов. Все они, кажется, испорчены сыростью. Вышел из блин-

---

* Ягодное, Елхи, Гавриловка и многие другие села Междуречья, дотла сожженные осенью и зимой сорок второго — сорок третьего годов, так и не возродились. Эти названия исчезли с карты Волгоградской области, как исчезли десятки других селений.

даже, бросил бинты и шлем противогаза к велосипеду. Надо браться за ремонт.

Провозился больше часа. Пока снял колесо, вынул камеру, нашел дыры, заклеил, собрал и поставил колесо — вот и прошло время. Бинты действительно сильно подмоченные. По-хорошему бы, так и нагибаться за этим гнильем не стоило. Но идет война — авось пригодится. Ведь купить-то негде. Может быть, Оля что и выберет из них, и будет у нас аптечка.

Поехал. Но до Красноармейска так и не дотянул. Снял колесо, вынул камеру — и обмер: она лопнула поперек. Теперь ее только выбросить. Что же делать?..

До бригады километров восемнадцать, а то и все двадцать, а время к вечеру. Если бы я был без велосипеда, то часа за четыре дошел бы, а так и к полуночи не доберусь.

Пропади оно все пропадом! И эта дорога, и Сиволобов, и велосипед — встать, бросить все и уйти!..

Надо подниматься и вести в руках его, распроклятого.

А что, если набить покрышку травой? Эта неожиданная мысль так захватила меня, что я тут же принялся рвать траву. Через полчаса покрышка была набита. Ехать тяжело, но все же лучше, чем вести велосипед в руках. Хорошо, хоть заднее колесо держит.

Километра через полтора трава моя в покрышке размолотилась, сбилась в одну сторону, ехать нельзя. Надо сплести из травы толстый жгут метра в полтора и затолкать его в покрышку. Набросился на пырей и ковыль. Крепкие степные травы — они мне послужат. Провозился не меньше часа. Колесо готово. Надо бы передохнуть, но нет времени. Солнце падает к горизонту.

Опять еду. Тяжело, но еду. Проскакиваю Красноармейск. Теперь подъем в гору — километра полтора, а оттуда до бригады рукой подать — километров десять. Солнца уже не видно. Пока не стемнело, надо выбраться на гору, и я, не переводя дыхания, рысью с велосипедом в руках бегу и бегу. Пот в три ручья, майку хоть выжми! Трава перемололась и сыплется трухой из дыр в покрышке. Силы на исходе, вот-вот задохнусь.

Я уже почти на горе, а солнца и след простыл. Нет даже зарева. Такое чувство, словно меня предали.

Небо заволакивают тяжелые грозовые тучи. Темнеет сразу. Через четверть часа и дорогу не различу. Ехать дальше нельзя, порвалась покрышка. К тому же, видно,

погнул обод колеса. Еще бы, столько шпарить без камеры!

Бросаю велосипед и валюсь рядом. Буду лежать вот так, и пропади оно все пропадом!

Хотя бы кто проехал по этой идиотской дороге! Знаю — не проедет, но надеюсь. Дорога в нашу бригаду, по ней ездим только мы.

...Лежи не лежи, а вставать надо. Я только обманывал себя, хотел увести свои мысли от бригады, чтобы не думать о еде. Но это выше моих сил. Ведь до утра умру с голоду. Я уже давно там, в бригаде, у Олиного котла. Вижу, как раскрасневшаяся у огня Оля помешивает густое варево деревянной лопаткой, которую сделал для нее Халим Викулов. А рядом с котлом в чашке лежит половник — «мера нашей жизни», как недавно не то в шутку, не то всерьез сказал Мартынок. Сейчас Оля повернется к обступившим ее ребятам и скажет свое долгожданное: «Готово! Налетай!»

Какой-то кошмар, я уже не могу отвязаться от этой картины. И вдруг осенило: а что, если обмотать обод колеса бинтом, который я подобрал у разбитого блиндажа? Надо же как-то добраться до Олиного котла!

Велосипед шел немного легче. Правда, переднее колесо так прыгало, что руль вырывался из рук. Но ехать можно. Теперь доберусь. Еле различаю дорогу. Припав к рулю, во все глаза смотрю вперед. А если заблужусь? А если волки?

Степь молчала, даже перестали стрекотать кузнечики, оборвался тонкий посвист сусликов и шорох пугливых ящериц. Все замерло в тревожном ожидании. Лишь натужно скрипит и глухо постукивает велосипед. Огоньки волчьих глаз, наверно, уже где-то рядом. Боюсь оглянуться. Жму на педали, рывком поворачиваюсь назад и чувствую, как на лицо падает капля дождя. Потом еще и еще. В спину подтолкнул прохладный ветерок, и вот уже дождинки зашлепали в дорожной пыли.

Ехать даже легче. Мягче стучит переднее колесо, но дождь усиливается, и велосипед мой останавливается. На бинты налипло столько грязи, что колесо плывет.

Разулся, повесил ботинки на раму, взвалил велосипед на плечо. Нет, я дойду, доползу до бригады!

Дождь хлестал теперь не в спину, а сбоку и прямо в лицо. Значит, миновал поворот... Теперь дойду. Дойду назло всем, назло хрычу Сиволобову!

У меня начался бред. Надо передохнуть. Снять с

плеча велосипед, но не садиться на землю. Если сяду, не поднимусь. Нужно только опереться на раму.

Повернул лицо от дождя и прямо перед собой, рукой подать, увидел огонек. Ребята включили на стане лампочку. Для меня включили, чтобы видел...

ТЮЛЬПАНЫ И ВОЙНА

— Твой сын доучился. Вызывают на педсовет, — встретили меня дома. — Стенку какую-то измазали.

Неделю назад Андрей рассказывал, как два пенсионера во время каникул покрасили стены в школе.

— И главное, все сделали бесплатно, — восхищался он. — Весь ремонт. Шефы дали краску, а они покрасили. Правда, здорово! И ценно так сделали!

Этот случай, видно, и впрямь взволновал ребят. Андрей и его друзья не раз заводили о нем речь, и я подумал: «Вот что может сделать один благородный поступок. Он стоит больше, чем все беседы учителей».

И вот тебе на! Оказывается, я ничегошеньки не понимаю в ребячьей психологии.

...Андрей испуганно молчал. Таким я видел его не часто. Как можно спокойнее спросил:

— Ну рассказывай, как все случилось?

— Я не знаю... Мы потом тут же все вытерли, даже ничего не заметно стало, а нас к директору.

— Давай по порядку, как и чем вы измазали стенку? Ты взрослый, должен отвечать за свои поступки. Рассказывай!

Андрей опустил голову.

— На большой перемене бежали по лестнице. У Сашки была шайба... Начали гонять ее.

— Где, на лестнице?

— Мы шли с шайбой во двор, а Юрка выбил ее из рук. Ну и ногами начали... Мы даже не заметили, а прозвенел звонок, увидели — стенка измазана. Тут пришла завуч, потом наш классный и другие учителя.

Андрей и сам удивился тому, как это в его рассказе все легко и просто произошло, и тут же умолк.

— И что теперь?

— Не знаю...

— Как же так, Андрей? Люди десять дней работали, урывали время от своего отдыха, доброе дело для вас сделали, а вы... Шестеро... Как раз вся ваша компания, и все, наверно, комсомольцы?

Еще раз посмотрел на сына и понял — больше его нельзя распекать, он может тут же заплакать или выбежать из комнаты, а этого он не простит ни себе, ни мне. Замолчал, давая понять, что разговор окончен. Но Андрей не уходил.

— А что будет на педсовете?

— Не знаю. Многое будет зависеть от вас, как вы себя поведете там.

— А как надо?..

— Нужно прямо и честно отвечать за свои поступки. Вы уже не маленькие.

— Я понимаю...

Начинаю догадываться, что он что-то не договаривает.

— Выкладывай начистоту? Что еще натворили?

— Наш класс заставили второй раз дежурить по школе, а мы отказались.

— Почему второй раз?

— Не знаю, говорят, что мы плохо дежурили. Ничего не плохо, нормально. А нас еще на одну неделю дежурить...

— Э-э, так вы, друзья, еще и бунт устроили.

— Никакой не бунт, мы не стали еще раз дежурить. Мы не рыжие...

— Вот и отвечайте педсовету за свои поступки.

Андрей вздохнул, постоял с минуту молча и тихо побрел из комнаты.

Мне попалось несколько статей, где говорилось, что в наших школах все меньше и меньше остается учителей-мужчин. Факт действительно тревожный, но он не то чтобы не взволновал меня, а как-то не взял за живое. Конечно, очень плохо, что наши дети остаются без мужского воспитания. У нас и дома-то ребятами все больше занимаются матери да бабушки. И все же настоящую тревогу почувствовал, лишь придя в школу. Женское царство! Ни одного мужчины! Даже учителя физкультуры и те женщины.

На педсовет из шести вызванных отцов пришло лишь двое. Мы собрались в тесном кабинете директора школы Надежды Петровны — уставшей, и, как мне показалось, сердитой женщины лет пятидесяти. Тоном провинившихся школьников мамаши объясняли директору, почему не пришли в школу отцы.

Причина у всех одна — занят на работе.

— Хорошо! — звучно прихлопнула ладонью по столу

Надежда Петровна. — Педсовет мы проведем, но завтра или послезавтра отцы должны прийти. — Она строго оглядела всех нас, как, видно, оглядывает своих учеников, и добавила: — А тех ребят, у которых отцы не явятся, мы с понедельника не допустим к занятиям.

Она окинула еще раз взглядом комнату и чуть приметно кивнула завучу.

— В школе произошел безобразный случай... — Высокая черноволосая женщина лет сорока говорила чеканно, то повышая, то понижая голос. Я попытался представить ее на уроке и должен был признать — такую будут слушать ребята. А вот станут ли любить?.. — Это не рядовая шалость, а злостное хулиганство, и мы должны к нему отнестись со всей строгостью. Родители тоже должны чувствовать свою ответственность.

Надежда Петровна тяжело разомкнула прищуренные веки.

— Зовите ребят, — устало кивнула она завучу. — Пусть объясняются...

Гуськом, подталкивая друг друга, с опущенными головами вошли шестеро мальчишек. Долговязые, худые, выросшие из своих школьных костюмов. Все почему-то похожие друг на друга. Сходство им придавала не только их серая, заношенная и измятая форма, но и почти одинаковые выражения лиц. Смотрели они тревожно, однако на их лицах проскальзывало нагловатое мальчишечье упрямство: «Все равно вы ничего с нами не сделаете». Вероятно, они бравировали друг перед другом, желая продемонстрировать свою смелость и независимость.

Андрей не смотрел в мою сторону; он стоял в своей привычной позе, чуть выдвинув правое плечо вперед и опустив левое. Выстроились в ряд, загородив спинами дверь.

— Не подпирайте стенку! — прикрикнула на них завуч.

Ребята потоптались на месте, делая вид, что отошли от двери. Они мне напомнили «стенку» футболистов перед ударом штрафного, которую еще ни одному судье не удалось установить на положенное расстояние.

Директор. Объясните свой поступок.

Молчание. Только переступают с ноги на ногу да подергивают плечами.

Завуч. Что же вы? Как безобразничать, так вы

есть, а отвечать, так вас нет. Наверно, Надежда Петровна, надо спрашивать каждого. Осташев, отвечай!

Паренек, стоявший рядом с Андреем, чуть вздрогнул, выпрямился.

Осташев. А почему я?..

Директор. Спрашивают тебя, отвечай. Как расцениваешь свой поступок?

Осташев. Плохо расцениваю...

Завуч. Что значит плохо?

Осташев. Мы плохо поступили, выпачкали стену.

Завуч. Понимаешь, почему ваш поступок особенно безобразный?

Осташев. Понимаю...

Голос завуча становился все строже, и скоро он уже звенел. Мне стало неуютно, и я перевел взгляд на учителей. Они слушали Клавдию Тимофеевну настороженно, а классный руководитель Татьяна Сергеевна даже сдвинулась на краешек стула, готовая в любую минуту вступить в разговор. Воспользовавшись небольшой паузой, она тревожно вмешалась:

— Конечно, вы виноваты, мальчики, и вам надо извиниться перед шефами.

Завуч неодобрительно посмотрела в ее сторону — так смотрят на человека, который сказал что-то невпопад.

Осташев (поспешно). Мы извинимся, Татьяна Сергеевна...

— Да там же ничего уже нет, мы все вытерли, — отозвался сосед Осташева.

Этого паренька я не видел в нашем доме среди друзей Андрея.

Завуч. Колчин, помолчи. О тебе речь особо пойдет. Мы говорим с Осташевым, пусть он за себя отвечает.

Осташев. Я уже ответил. А перед шефами извинимся.

Завуч. Не только шефами, но и перед педсоветом, перед матерью своей должен дать слово, должен пообещать, что никогда не позволишь себе таких выходок.

Лицо Сергея покрылось красными пятнами, он не мог поднять глаза. Перед ним сидела мать. Она смутилась больше сына, растерянно подалась вперед, теребя сумочку.

Осташева. Сережа, тебя спрашивают, чего молчишь?..

Осташев (так и не подняв глаза). Я обещаю, я буду... — Он не сказал, а тяжело выдохнул слова сквозь слезы и, наверно, если бы говорил дальше, то заплакал.

Мне стало не по себе. Ту же неловкость, видно, испытывали и другие родители, да и сами учителя. И лишь лицо завуча было непроницаемое.

Директор (поспешно). Хорошо, Сережа, мы тебе верим...

Мать Сергея вздохнула так, словно от нее отвели непоправимую беду. Вздохнули и мы.

Завуч. Вот теперь твоя очередь, Колчин. Объясни педсовету и родителям, как ты дошел до такой жизни?

Колчин. До какой жизни?

Завуч. Это тебе лучше знать. Хулиганишь на переменах, срываешь уроки, плохо учишься, отказываешься от дежурства.

Колчин. Уроков не срывал.

— Саша, ты действительно стал плохо вести себя, — вмешалась АП — учительница физики Анна Павловна, сухонькая и черная, как галчонок, старушка.

Она это сделала, видно, затем, чтобы разрядить гнетущую обстановку. Добрый, мудрый человек. Не зря ее любили ребята. Лет пять назад АП проводили на пенсию. Но в конце года одна «физичка» уехала с мужем-дипломатом за границу, и Анну Павловну попросили «довести год». Она довела. Потом упросили «начать год», потому что другая молодая учительница, теперь уже учительница математики, должна была уйти в декретный отпуск. Она осталась и еще проработала год.

А затем ей самой было жалко бросать на полпути свои классы. «Вот так и осталась я в школе после торжественных проводов на пенсию», — подсмеивалась над собой АП. А своим ученикам говорила: «Ваш девятый «А» последний в моей жизни. Хочу, чтобы он не был последним в школе».

Завуч. Должен дать обещание педсовету, родителям, дать слово комсомольца, что наконец изменишь свое поведение, свое отношение к учебе. А не сдержишь слово, пеняй на себя! Нам надоело уговаривать.

Саша поднимает голову, лицо чуть бледнеет, он весь напружинился, готовый сорваться с места.

Колчин. Я обещаю... Больше не будет...

Завуч (обращаясь ко всем ребятам). Имейте в виду, вы даете слово комсомольца.

При этих словах Андрей метнул взгляд на Сашу, потом на завуча и опять опустил голову.

Директор. Ты что, Чупров, не согласен с Колчиным?

Андрей. А если он забалуется на уроке, тогда что? А если все ребята решат по-другому?

Андрей смешно, как петух, нахохлился, даже подался вперед. Татьяна Сергеевна, не сдержавшись, коротко засмеялась, быстро достала платок и начала откашливаться.

Завуч. Ну что ж ты, Чупров, замолчал?

Андрей. Сразу за все я не могу дать слово... Могу пообещать, что не буду... — он запнулся, смешно потупился, — со мной больше не будет такого, как случилось с этой стенкой.

Татьяна Сергеевна отвернулась и никак не могла сдержать смех. Меня тоже развеселили слова Андрея, но под осуждающими взглядами завуча и директора пришлось сдержаться. Представляю, что сейчас обо мне они подумали!

Завуч. Так ты, Чупров, не можешь дать слова? Может, ты не считаешь себя виноватым?

Андрей. Считаю...

Завуч. Так в чем же дело?

Андрей. А если не сдержу слова? Получу двойку или еще что...

Завуч. А что еще может быть с тобой?

Андрей. С кем-нибудь подерусь.

Директор. Ты, Андрей, поражаешь меня. И потом, случилось не со стенкой, а с тобой.

Она широко и откровенно улыбнулась, и я понял, что лицо ее совсем не злое, а открытое и доброе, а все, что я видел до этого, было маской, привычной маской, какую она много лет носит, чтобы приструнить сотни мальчишек и девчонок своей школы.

Последние слова Андрея развеселили всех, и напряжение немного спало. И только завуч не поддалась общему настроению.

Завуч. Так кто же за тебя, Чупров, будет отвечать педсовету? Может быть, твой отец?

Андрей метнул на меня тревожный взгляд. Я молчал: «Решай сам». Минутная растерянность скользнула по его лицу, потом он выпрямился и стал «колючим». Таким он становится, когда его не хотят понять.

Андрей (резко к завучу). Я, Клавдия Тимофеевна, боюсь нарушить честное комсомольское.

Директор. А это потому, что у тебя слабая воля.

Андрей. Ну и пусть слабая...

И Андрей, как это часто бывает с ним в такие минуты, наглухо «закрылся». Он словно ушел под панцирь, сквозь который не удавалось пробиться никому. Директор и завуч молча глядели в мою сторону: «Что же он у вас такой? Воздействуйте».

Но теперь воздействовать на него не мог и я. Андрей перехватил взгляды учителей и пришел мне на выручку.

Андрей. Перед шефами извинюсь, больше такого не будет. Честное комсомольское даю... А чтобы никогда и ничего не случалось, пообещать не могу...

В комнате стало так тихо, что я, казалось, услышал дыхание сына, тяжелое и сбивчивое.

Завуч. Спасибо и на том, что правду говоришь.

Андрей молчал. По тому, как сжались его губы и сошлись у переносья дуги бровей, я понял, что он больше ничего не скажет.

Завуч сердито метнула взгляд на Андрея, потом на меня. Ее чуть прищуренные сухие глаза спрашивали: «Что ж, отвечайте вы, если сын такой». Мальчишки замерли. Первым моим порывом было встать и возмутиться тем, что здесь происходит, но благоразумнее было просто выйти, чтобы не вступать в спор при учениках. И я уже был готов уйти. Но меня остановил взгляд доброй и мудрой АП: «Не делайте глупостей, не делайте...»

Надежда Петровна рассерженно подняла голову, подчеркнуто утратив ко мне интерес. И только завуч продолжала осуждающе смотреть на меня.

Наконец ребят отпустили, и сразу поднялась Татьяна Сергеевна.

— Мне стыдно... Я не понимаю, что здесь происходит, Надежда Петровна... — Разгоряченное лицо ее заливала краска. Она приложила ладони к щекам и тут же отдернула их, словно обожглась. — Как же мы воспитываем? Разве так можно? — Голос дрогнул, она растерянно глянула на родителей и тут же умолкла.

— Татьяна Сергеевна, что с вами? — встревоженно повернулась к ней директор. — Успокойтесь, голубушка... Ну что вы...

— Я понимаю: они виноваты, виновата и я как классный руководитель, но почему такое судилище?

— Надежда Петровна, — сказал завуч, — давайте

отпустим родителей. У нас еще много вопросов, чего же их держать.

Мы неторопливо и как-то пристыженно вышли.

Тихо переговаривались, тревожно поглядывая в конец коридора, где маячили фигуры наших сыновей. Школа непривычно и сиротливо затихла, только негромкий говорок женщин рядом да шарканье ног мальчишек в дальнем углу.

Вся эта затея с педсоветом показалась мне ненужной. Я не оправдываю мальчишек. Они виноваты и заслуживают наказания.

Но сегодня все было не так. Одни ребята хитрили и лгали, другие ершились, упрямились. Между учителями и учениками потерялся контакт? Ведь еще недавно слово учителя для них было все. «Так сказала учительница», — упрямо повторял Андрей, и никакие силы не могли переубедить его, что может быть по-иному.

Выхожу из школы — Андрей ждет.

Как он воспринял этот педсовет и каким будет у нас сейчас разговор? Мне не по себе. Иду медленно, хочется собраться с мыслями, но во мне все еще клокочет возмущение происшедшим. Волны знакомого чувства, кажется, перекатываются через меня. Это все уже было, но только не со мной теперешним, а с тем Андреем из далекого сорок третьего.

...Возвращаясь из МТС, я, хоть и ругал Сиволобова, хоть и знал, что не мог подписать эти разнесчастные акты, все же чувствовал какую-то скрытую и непонятную мне правоту нашего главного бухгалтера. Ведь действительно, не для себя же он затеял всю эту канитель с переводом нашей пахоты в высшую категорию трудности. Идет война, мальчишки, инвалиды и старики с утра до ночи на развалюхах тракторах. Работа тяжелая, трудная. Какой же в том грех, если ее оценивают в бухгалтерии МТС по высшему баллу?

И все-таки выходила неправда. Мы вспахали сто восемьдесят гектаров, а нам записывали более двухсот, сожгли горючего столько, а в акте ставим больше... Ну и что? Чего я упрямлюсь? «Что же, все нечестные, а ты один честный?!» — спрашивал меня Сиволобов. И я не знал, что ему ответить.

С этими мыслями я возвращался в бригаду к Василию Афанасьевичу, и он должен был разрешить все мои мальчишеские сомнения. Может, нечто подобное теперь переживает и мой сын и идет ко мне со своими сомне-

ниями, как когда-то я шел к Василию Афанасьевичу.

— Я же не мог, как Сережка Осташев, все обещать... Я правильно поступил?

В глазах у Андрея слезы, он не боится их и смотрит прямо, требуя ответа.

— Видишь, Андрей, все зависит от того, как собираешься жить дальше. Можно ведь было и не давать честного слова, чтобы не связывать себя нравственно, чтобы не отвечать...

— Да ты что?!

— Подожди, не перебивай! Но ты... я убежден, ты думал иначе. Тебе страшно оказаться болтуном... Не стал лукавить, у тебя получилось честно, а все, что честно, всегда правильно.

— И я так думал, а Сашка Колчин говорит, зачем я ломался, только время у всех отнимал...

Эх, мальчишки, мальчишки!.. Каждый из вас открывает мир заново и по-своему. Когда-то я и был таким.

...Вернувшись в МТС после неудачного своего отчета, я положил перед Василием Афанасьевичем полевую сумку с документами и заявил:

— Все, больше я не учетчик! В водовозы, в прицепщики, на трактор, к черту на рога, но только не в учетчики!

Не знаю, какой у меня был вид, но бригадир обращался со мною, как с больным.

— Конечно, опять на трактор, — торопливо говорил он, — завтра отдохнешь, а там и катай. Мартынок твой трактор немножко подремонтировал. А хочешь — принимай другой, у Викулова из ремонта...

Я хотел, чтобы бригадир возражал мне, тогда бы можно было покричать и выместить на ком-то зло, разрядиться. Но мудрый Василий Афанасьевич не доставил мне этого удовольствия.

Только много лет спустя, когда у меня самого уже появились дети, я смог оценить отцовскую мудрость нашего бригадира. Хотя чувствовал я себя правым в споре с Сиволобовым, но все же побаивался Василия Афанасьевича. Я не сдал отчет, не выполнил его поручение. Он мне давал чистые бланки со своей подписью и подписью председателя и, видно, предполагал, что Сиволобов заставит переделать отчет. А я не захотел. Но когда я рассказал ему все и вот так же, как Андрей сегодня, спросил у него: «Правильно ли я поступил?», он ответил: «Правильно».

Есть правда вечная — та правда, на какой держится все человеческое в человеке. Мой бригадир знал высшую мудрость.

Я помню, как во мне все запело от этих слов. Как хотелось прыгать от радости! И это его, Василия Афанасьевича, слова сказал я сыну: «Все, что честно, всегда правильно».

Дорогой мой учитель! Теперь, через три десятка лет, я знаю: счастливый человек тот, кто сеет доброе.

Помню, сколько хлопот доставил бригадиру тем, что не сдал отчет. Ему пришлось через день ехать самому, а потом искать нового учетчика и так же, как меня, «натаскивать» его. Но Василий Афанасьевич даже видом не показал своего огорчения.

Вернувшись из МТС уже ночью, он разбудил меня и радостно зашептал:

— По-нашему вышло! Два раза переделывал, а отстоял... Может, опять в учетчики?..

Я отказался. Но до сердечнего колота обрадовался словам бригадира. Он говорил со мною как с равным.

Вспоминая сейчас нашего бригадира, я вижу, что именно так только и можно было справиться с нами, норовистыми мальчишками.

Мы начали распахивать под озимые принятое от саперов разминированное поле. Настроение в бригаде было хорошее. Его поднял дождь, который, как шутили ребята, притащил я на своем горбу вместе с велосипедом. Теперь мы могли надеяться на урожай.

— Главное, больше вспахать и посеять, — твердил Василий Афанасьевич, — тогда и ждать можно. Что поработаешь, то и полопаешь. — И гонял нас от зари до зари.

Что это были за дни! Сейчас они в моей памяти, как один длиннющий день, забитый оглушительным грохотом тракторов, беготней с поля на стан бригады, когда случалась поломка. А они ломались на дню по нескольку раз. Вот и бежал тракторист то за запчастью какой, то за инструментом, то за домкратом — тоже на всю бригаду один, то за автолом, то за солидолом и еще бог знает за чем. Стоило остановиться трактору где-нибудь в борозде за километр-полтора от стана, как к нему перекочевывали все наши небогатые ремонтные средства.

Бригадир с Халимом буквально разрывались, бегая от одной машины к другой.

Только сейчас я могу по-настоящему осознать, ка-

ими горе-трактористами мы были. Как только, зачихав, останавливался трактор, я, как заправский механик, выключал скорость и, захватив ключи, кидался к мотору. Обжигая руки, проверял подачу питания. Снимал карбюратор, промывал отстойник, собирал карбюратор и лез к магнето. Достал серебряный гривенник и драил им контакты. Если и это не помогало, то бросался к свечам. Выворачивал их поочередно, протирал, снимал нагар с усиков, сушил над факелом. Так я метался вокруг трактора, пока, глядишь, не набредал на неисправность.

И когда после всех этих хлопот, случалось, мотор вдруг оглушительно взревет и весь трактор забьется милой тебе дрожью, то разве может шевельнуться в тебе мысль, что ты никудышный тракторист?

Лихо вскочишь на сиденье, поддашь газку — и пойдет за трактором натужно поскрипывать плуг, выворачивая маслянистые пласты доброй залежи. Весело прыгает борона. Радостно смотреть на темный след, бесконечной лентой разматывающийся за твоим трактором. Потревоженная земля терпко пахнет весной, над пашней чуть струится парок, и вьются и скачут за плугом прожорливые грачи.

Когда трактор идет «без останову», то каждая жилка и каждый мускул в тебе поет; а вот если он, зачихав, встанет, от одного взгляда на заводную ручку свет не мил. У меня и сейчас, когда вижу этот инструмент у какого-нибудь неудачливого шофера, начинают болеть руки. Заводная ручка столько раз меня била по рукам, что я на всю жизнь запомнил ее строптивый характер.

Но один день... особенный день...

Как всегда, разбудил нас Василий Афанасьевич еще до зари. Пока мы, обжигаясь, ели жидкую пшенную кашицу, восток сильно просветлел и там начали таять и исчезать звезды.

— Ох и день будет хороший! — раньше других справившись со своим завтраком, сказал Мартынок и не спеша пошел мыть чашку. Он, как и свой инструмент, никому не доверял посуду.

Через четверть часа один за другим взревели моторы, и наши «старички», громыхая, двинулись на поля. Особенно надрывался выстрелами Васькин трактор. У него прогорел глушитель. Мы пахали пары под озимые на Горемычном, восьмом поле, километра за три от стана бригады. Горемычным его назвали потому, что оно было сплошь изрыто одиночными окопами. А на закапы-

ванье одиночных окопов председатель колхоза не посылал людей.

Мы недавно «отбивали» на этом поле новые гоны для тракторов, и теперь каждый из нас имел свой участок пахоты. Я уже сделал три гона. Мотор стрекотал как швейная машина — высшая похвала Мартынка. Поднималось солнце, и его косые, почти стелющиеся лучи ослепительно вспыхивали в бусинках росы, повисших на высоких стеблях темно-зеленого татарника и бледно-желтой рогатки. Было так хорошо, что я замирал от восторга. Руль можно было бросить, переднее колесо точно шло по борозде, трактор двигался сам. Я встал на сиденье и помахал Ваське Попову. Но тот не отозвался. Трактор его работал натужно, с перебоями, сильно дымил. Васька, согнувшись над рулем, дергал тросик заслонки, то прибавляя, то убавляя газ. Ему было не до меня. А мне хотелось петь, хотелось перекричать рокот мотора, и я орал на всю степь. Мартынок, увидев, как я беснуюсь, пританцовываю на сиденье, остановил свой трактор и сердито погрозил в мою сторону. Потом, сжав кулак и оттопырив большой палец, стал показывать вниз. Это он предупреждал меня, чтобы я не забывал смотреть вниз перед трактором. Стоило трактору влететь в окоп, как я мог сорваться под шпоры заднего колеса. Такой случай был в соседнем колхозе; тракторист задремал за рулем и погиб.

Но что мне до всего этого?! Вскочив на бак с горючим и упершись одной ногой в капот, стал смотреть вперед, не видно ли окопов. Я видел, как Мартынок раздосадованно махнул в сердцах рукой и так прибавил газу, что из выхлопной густо повалил дым.

Ох и раскричится же вечером на планерке! Скажет: «Вам не то что трактор, паршивую тачку нельзя доверить!»

Мне сразу расхотелось стоять на тракторе и смотреть, как солнце золотит степь. Вспышка восторга прошла. К тому же я вспомнил о заводной ручке, и у меня сразу заныло в животе. Утром я крутил ее, пока не потемнело в глазах. Не дай бог, сейчас заглохнет, я же не смогу рукой пошевелить.

...А что это с масляным манометром? На шкале всего четверть нужного уровня. Не поверил. Вытер масломер и замерил вновь. Еще меньше. Надо немедленно глушить мотор — иначе поплавлю подшипники.

Осматриваюсь. Васька дымит на своем «самоваре»

уже за километр. Дымит, но работает. А я влип. Мартынок рядом, он только что сделал поворот. Как он красиво это делает! Но сейчас звать его бесполезно. Он сердит на меня. Вот на обратном заезде поостынет, увидит, что маюсь, сам подъедет. А теперь он даже не хочет смотреть в мою сторону. Воспитывает.

От мотора пышет, как от хорошей печки, потрескивая, остывает испаритель, булькает вода в радиаторе. Трех гонов не прошел, а она уже закипела. Хуже радиатора, чем на моем «старичке», во всей бригаде нет. Его давно надо выбросить. А если чуть-чуть ослабить зажим крышки, ее сорвет паром и всю воду выбьет фонтаном. У меня уже было так, чуть глаза не выжег. Рухлядь, а не трактор.

Ложусь на землю и лезу под мотор. Так и есть, пробило прокладку картера! Все забрызгано маслом.

Бросил на сиденье телогрейку, стащил рубаху и налегке зашагал напрямик, через лощину, к стану бригады. Это же не работа, а мартышкин труд. Даже дыхание от злости перехватило. Ругайся не ругайся, все равно не поможет.

Уже в который раз, перебирая виновников наших несчастий и бед, я упирался в главную причину — войну.

Шел и ругал Гитлера, этого изверга с гадкими усиками и маленькими свиными глазками. Вышел к краю лощины, глянул перед собой — и вдруг замер: ни до этого, ни после мне не доводилось видеть столько тюльпанов. Кроваво-красные, бледно-розовые, синие с черными прожилками, желтые, они горели, нет, пылали в лучах солнца бесовски озорным пожаром. Трава еще не просохла, капельки нагретой росы кое-где дрожали на лепестках цветов, многоцветный ковер чуть приметно дымился, и это еще больше усиливало иллюзию веселого и дерзкого пожара в лощине. Дух захватило от такой красоты.

Тихо, словно боясь потревожить кого-то, спустился в лощину. Откуда явилась эта красота?! Может быть, она была всегда, а я ее не замечал? Нет, такого не было, я и раньше через лощину ходил — вернее, проскакивал, но таких цветов не видел. Их не было, потому что не было дождя, а теперь появились. И мне захотелось нарвать цветов, принести их в нашу землянку. Рвал цветы, покуда они не стали вываливаться из рук, покуда не устыдился: «Трактор стоит, а я цветочки рву».

Живо представил молчаливый упрек Мартынка, и

сразу пропал интерес к цветам. Действительно, чего это я выставляю себя на посмешище? Бросил в борозде трактор и пошел цветочки лазоревые рвать. Работничек... Да за это в военное время такое полагается!

Швырнул под ноги цветы, побрел к холмикам окопов. У полуобрушенных траншей, густо поросших травой, валялся обычный окопный хлам. Поворошил ногой одну из куч, поднял ручную гранату с облупившейся зеленой краской. Ее уже тронула ржавчина. Самая ходовая ручная граната РГД. Они чаще других валялись в степи. Ее мы изучали в школе на уроках военного дела. Когда это было? Сто лет назад...

На стан влетел запыхавшийся. В одной руке граната, а в другой... глянул и охнул — тюльпаны. Когда же я опять их нарвал? Позор! Хотел незаметно выбросить, но поздно. На меня смотрели Халим и Оля. Оля удивленно-улыбчиво, Викулов презрительно.

Улыбаясь, Оля взяла цветы и пошла в землянку, но, увидев гранату, рассердилась:

— Таскаете на стан всякую гадость. Надысь чуть котел мне не взорвали.

— А ты смотри, что в печь суешь... Так и сама взлетишь, — отозвался Викулов. А на меня прикрикнул: — Дай сюда!

— Она без запала... — виновато сказал я.

— Еще бы с запалом приволок...

Попробовал отвернуть рукоятку, но та не поддавалась; тогда он побросал на худой ладони гранату, словно раздумывая, что с ней делать, и вдруг, резко разбежавшись, с такой силой швырнул ее, что она полетела со свистом. Вот так больной! Я еще не видел, чтобы так бросали гранату.

Но Халим тут же схватился за грудь и, согнувшись почти до земли, пошатываясь, побрел к навесу, в тень. Долго бил его жестокий кашель. Он то припадал на колено, то вставал, запрокидывал острый кадык, весь сотрясаясь. Я не мог смотреть, как корежит и ломает этого когда-то сильного человека.

Наконец Халим, бледный, без кровинки в лице, знаком позвал меня. Он еще долго не мог перевести дыхание.

— А у меня прокладку картера пробило, — выпалил я не к месту.

Не переставая кашлять, Халим тяжело поднялся и пьяно побрел к землянке. Через несколько минут он

вышел и протянул мне новенькую серебристо-серую прокладку.

— Бери, пока я не передумал. Себе еще вырублю. У меня лист асбеста в заначке есть. Бери...

Растерянно взял прокладку, боясь поднять глаза на Халима. Передо мною стоял человек с восковым, безжизненным лицом, заострившимся носом и белыми губами.

— Халим, я тебе сусликов наловлю, они жирные сейчас...

Викулов молча покачал головой:

— Не надо.

Он вытапливал из сусликов жир и пил его как лекарство. Раньше просил нас выливать* ему сусликов, но мы не очень откликались на его просьбу. А теперь вот, видишь, сам отказывается. Постояв еще с минуту, я повернул к заправке. Когда проходил мимо Оли, та испуганно шепнула мне:

— Что это с ним? Уж не помирать собрался?

Не чуя под собою ног, заспешил я к бочке с автолом. Налил чуть не полную канистру, взвалил ее на плечо и пошагал в сторону Горемычного поля.

Васькин трактор продолжал отчаянно дымить. У него горит масло, по дыму видно — валит, как из паровоза. Поршневая ни к черту, кольца подработались, и нет совсем компрессии. Небось уже все масло сжег. Я ему своего автола отолью...

Не прошел еще и километра, а канистра «оторвала» мне руки. На плечах ее нести тоже не мед. Уже дважды присаживался отдохнуть.

«Ну и доходяга! — ругал я себя. — Как же Викулов, умирает, а работает. Нет, неси, не распускай нюни, неси!..»

Недавно Василий Афанасьевич отозвал ребят в сторону и сказал:

— Вы, хлопцы, того, не очень на Халима обижайтесь. Он сам себе не рад, поэтому и кричит на всех. С белым светом всякому тяжело прощаться, а когда тебе только двадцать четыре...

Двадцать четыре! Никогда не думал, что Викулов такой молодой. Ходил он вечно небритым (впрочем, как и все мужчины в бригаде), какой-то весь прокопченный,

---

* Мы выливали их из нор водой, и поэтому охота на грызунов называлась выливанием.

перепачканный в масле — поэтому он и казался мне в мои пятнадцать лет стариком.

Несколько раз слышал, как Василий Афанасьевич шептался с Дедом: «...Не жилец он, не жилец... Съел его туберкулез, напрочь съел!..» Сегодня я и сам понял, что Халим не жилец.

Шел все медленнее, ноги заплетались, вот-вот упаду.

И вдруг увидел, что Васька, до которого я мечтал добраться, отцепив плуг, мчит на третьей скорости прямо через распаханное поле.

Да что он, не видит меня? Я начал размахивать руками. Никакого внимания! Видно, надоело парню мотать жилы на этом самоваре, вот и рванул на стан, пока своим ходом может добраться. Еще вчера его трактор не тянул плуг на первой скорости, пришлось снимать одну стойку с лемехом. А сегодня, видно, дело шло еще хуже...

Я уже взялся снова за свою канистру и тут увидел, как на месте Васькиного трактора в небо взметнулся столб земли и пыли, и грохнул глухой раскалывающий взрыв, будто в сто бичей ударили пастухи. Все произошло так неожиданно, что я застыл с канистрой в руках. Трагедию случившегося я понял, когда увидел бегущего по полю Мартынка. И тогда я сорвался с места.

Мартынок был ближе к трактору Васьки, но прибежали мы к нему одновременно. Пыль рассеялась, и я увидел опрокинутый набок трактор. Изуродованное заднее колесо ощетинилось спицами. Под трактором расползалась темная лужа керосина. Тишина такая, что слышно, как потрескивает остывающий мотор. В стороне раздался сдавленный стон, даже не стон, а гортанный булькающий хрип, от которого во мне все похолодело. Я уже слышал этот хрип, когда умирал Костя Бухтияров. «Я слышал! Я не хочу! Не хочу!» — кричало во мне все. Рванулся к придорожной канаве, над которой склонился Мартынок.

Бедный Васька. Его швырнуло от трактора метров на двадцать. Лежал он вниз лицом, уткнувшись в пыльный молочай. Когда Мартынок стал переворачивать его на спину, в горле у Васьки опять протяжно забулькало, и он стал зевать. Я увидел окровавленные руки Мартынка, а потом перевел взгляд на Васькины ноги и содрогнулся. Выше колен они были стянуты широким ремнем (Мартынка), ниже — безжизненное месиво. Толь-

ко на одной ступне торчал задник ботинка с каблуком. Когда Ваську перевернули на спину, нога с остатком ботинка не шелохнулась, она так и лежала носком вниз.

Лицо у Васьки обожжено, от правого надбровья, закрыв глаз, расплылся иссиня-черный синяк. Левый глаз приоткрыт, но он им не видит.

— Давай на ветерок его... — шепчет Мартынок.

У меня дрожат руки. Я боюсь притронуться к Ваське, боюсь признаться себе, что его уже нет, а есть это изуродованное тело, есть боль, сдавленный хрип, отчаяние... Еще ничего не знает его мать, не знают сестренки, а его уже нет. Нет в семье Поповых последнего кормильца-мужчины, нет моего друга...

Меня начинает бить озноб. Сбежались люди. В голос кричали женщины. Стояла водовозка, запряженная волами. Быки загнанно вытянули шеи, и у них ходуном ходили бока. Тетку Домну, Васькину мать, отливали водой. Она то обессиленно затихала, то начинала кричать так, что холодела кровь. Мы с Мартынком сняли с повозки бочку с водой и начали стелить траву. Я требовал от женщин больше травы, потом сам побежал рвать, а когда пришел с охапкой, Васька уже лежал на повозке, и я, не зная, куда ее положить, опустил на землю рядом с колесом.

Повозка тронулась. Я шел в толпе и никак не мог унять дрожь. Прибежал Василий Афанасьевич, влетел, растолкал всех и закаменел перед повозкой. Потом заплакал, а лицо не отходило — землистое, серое, неподвижное, как маска. Тетка Домна опять закричала в голос, заплакали все. Мартынок прикрикнул на быков, колеса застучали чаще. Кто-то из женщин подошел к повозке и, сняв с головы платок, накрыл Васькино лицо. Я рванулся к Мартынку и схватил его за руку:

— Зачем она это?

— Так надо...

— Он умер?

Мартынок ничего не ответил, даже не повернулся в мою сторону. Я задохнулся от слез и бросился бежать. Бежал и плакал навзрыд, выкрикивая слова.

...Где бродил несколько часов, не помню. Очнулся около своего трактора.

Солнце уже перевалило за полдень. Постоял, постоял и побрел за канистрой. Простаивать тракторам нельзя. Вон Мартынок уже пашет.

Приехали на грузовике минеры. Ходят со своими жердями-миноискателями, тычут в землю, принюхиваются, а что теперь толку — Васьки уже нет...

Трактор его, разбитый, лежит в пыли на дороге, по которой всей бригадой столько раз ходили и ездили... Всех проносило, а вот Васька набрел. Такое, видно, у него счастье...

Я еще никогда сам не ставил картер на трактор. Снимать снимал, а вот ставить не мог. Да и никто из наших ребят пока еще не мог сделать этого. Такое под силу лишь опытному трактористу. А в этот день поставил, хотя Мартынок и подходил ко мне, предлагал помощь. Сел за руль трактора, когда начало темнеть. На стан не поехал. Пахал в темноте, потом взошла луна. Ночью прохладнее, трактор работает лучше, и я пахал, пока в баке не кончилось горючее...

ВО ФРОНТОВЫЕ ЕЛХИ

— Андрей в поход собирается, — сообщила Юля. — И ребята пришли к нему.

— А тебя не берут?

— Не-ет. Они же на два дня. Ночевать в лесу будут. — И расстроенно добавила: — Я бы пошла, да мама...

— Они, наверное, не взяли бы тебя, — успокоил я ее.

— Отец, я возьму твой рюкзак? — донесся с антресолей голос Андрея.

— Бери. А не велик ли будет?

— Вот это рюкзачище! Ты гляди, не наш...

Из-за двери выглянула нестриженая голова Игоря Первушина.

— Здрасьте!

— Здравствуйте, здравствуйте, туристы, — шагнул я на кухню к ребятам. — Да вас тут целый отряд!

Сергей Осташев с Сашей Колчиным разглядывали рюкзак. Босые ноги Андрея торчали с антресолей, и он кричал оттуда:

— Вы осторожно. Это знаете, какой рюкзак!.. Ему тридцать лет, а может, и больше. Он у нас уже двадцать семь лет, а еще сколько немец его тот таскал? — Андрей спрыгнул на пол и взял в руки мой старый, видавший виды брезентовый рюкзак.

Когда-то он был светло-зеленый, отделан красной ко-

жей, с блестящими пряжками и кольцами, толстыми и широкими ремнями. Сейчас остались только потускневшие пряжки и кольца. Кожаные ремни лет десять назад стали ломаться, как фанера, и их пришлось заменить. А вот самому рюкзаку почти ничего не сделалось. Только вылинял, побелел брезент да проржавели кнопки на внутренних карманах.

— Знаете, — говорил Андрей ребятам, — у него вот здесь, — и он указывал на верхний клапан, который прикрывал рюкзак, — был нашит телячий мех.

«Да, действительно, — вспомнил я, — был мех. Лет десять назад он изорвался».

— А зачем мех? — спросил Сергей.

— Не знаю, наверно, так, для красоты... — ответил Андрей и посмотрел на меня.

— Вряд ли. У многих немецких рюкзаков, вернее ранцев, вот здесь был нашит мех. Зачем это делалось, точно не знаю, но думаю, не для красоты. Во-первых, мех защищал ранец от дождя...

— А этому рюкзаку дождь не страшен, — возразил Андрей. — Знаете, — и он повернулся к ребятам, — в нем можно воду носить...

— Да, пожалуй, мех был для другой цели, — согласился я, — он мог служить его хозяину хорошей подушкой...

— Не, — затряс своими вихрами Игорь Первушин. — Я в одной книге читал, что у них были надувные подушки. И потом негигиенично. Рюкзак везде валяется: в грязи, в пыли, набьется всякой заразы в этот мех...

— Мнения разошлись, — засмеялся я, — вот вам и хороший вопрос для вашего КВН.

— А что, — подхватил Сергей, — пусть поломают голову. Почему немцы обшивали свои рюкзаки мехом?

— Чтобы мягче было падать, когда их стали выбрасывать с нашей земли! — выкрикнул Андрей.

Я уже был в другой комнате и слышал, как Андрей рассказывал ребятам о рюкзаке.

— Знаете, отец достал его в Сталинграде. Ох, сколько там оружия всякого было! Даже из пушек мальчишки стреляли. А автоматов, винтовок — навалом. Пистолеты у всех пацанов...

«Ну, начал сочинять, — улыбнулся я, — как все перекраивается в мальчишечьем воображении. Почему он

говорит, что рюкзак я взял у убитого? Правда, мы хоронили тогда немцев. Было это в конце февраля и в самом начале марта сорок третьего. Рюкзак я просто нашел в развалинах».

Наступила первая оттепель в затихшем Сталинграде. Боялись эпидемии. И всех, кто остался и выжил в городе, и тех, кто к тому времени успел вернуться из эвакуации, мобилизовали на уборку трупов.

Больше всего дел было в центре города, на Мамаевом кургане и в северной части Сталинграда: в районе заводов «Красный Октябрь», «Баррикады» и Тракторного. Много убитых лежало и в лесополосах вокруг города. Работали команды наших солдат, немецкие военнопленные и мы — мирное население.

Поднял я этот рюкзак в развалинах одного дома Верхнего поселка Тракторного завода.

Хорошо помню тот день, когда пошел с ним первый раз в поход. Это было в июне сорок третьего. Нас все же повел в свои фронтовые Елхи Гриша Завгороднев. Повел, хотя уже и без Васьки Попова...

А накануне у нас был праздник. Его устроили председатель колхоза и бригадир.

Мы уже начали готовиться к уборочной. Заканчивали ремонт трех конных лобогреек *. Лошадей в бригаде не было, как не было их и во всем колхозе. Наш единственный легковой бригадный транспорт — волы. Они возили и воду, и горючее, и тяжелые детали для ремонта тракторов. На волах Дед с бригадиром поехали и на ячменное поле.

Вернулись к обеду. В повозке — добрая копна серебристо-матового ячменя. Весь массив еще стоял недоспелый, а они нашли на взгорках кулиги с вызревшим ячменем и косой «выхватили» их, как радостно доложил нам Дед.

Мы растянули брезент, сбросили на него скошенный ячмень и, взяв палки, скрученную в жгут проволоку, обрывки цепей, начали вымолачивать зерно. И только Халим Викулов пришел с настоящим цепом, каким сотни лет молотили хлеб наши деды и прадеды. Он смастерил его, пока готовили ячмень к молотьбе.

Халим ловко взмахивал цепом над головой, и он со

---

* В справедливости этого названия я убедился позже, когда пришлось работать на ней. Жнейка так грела лоб косарю, что он не успевал вытирать с него пот.

свистом взбивал мягкую подушку соломы ячменя. Мы, как дикари, бестолково суетились вокруг брезента, а Халим работал красиво. Умел он работать.

Но скоро лицо его стало бледнеть, покрываться испариной. Подошел Мартынок и молча протянул руку. Халим еще раз взмахнул и, пошатнувшись, чуть не упал навзничь. Его осторожно повели под навес. Все затихли, но Халим, жадно хватая воздух ртом, махнул рукой: «Давайте, давайте, сейчас пройдет...»

И все же для нас молотьба была праздником. Это самая веселая и радостная работа, какую я когда-нибудь делал. Перемолотили всю копну, на ветру провеяли зерно, подсушили на листах жести на огне и тут же принялись толочь ячмень в гильзах из-под снарядов.

Работа шла конвейером, с огоньком, с шуткой.

— Хорошо живет тот, кто умеет смеяться! — подбадривал Дед.

И мы старались друг перед другом. К вечеру у нас уже было пуда два отличной ячменной крупы. Столько нам не выдавали и на полмесяца на всю бригаду. Заварили настоящую, густую кашу. У Оли нашелся кусок сала. Это был царский ужин. Кроме каши, Оля испекла еще и пышки. Часть зерна смололи на самодельной мельнице (ее тут же смастерили из жести, пробитой гвоздем, как пробивается терка для овощей; две жестянки, свернутые трубой и вставленные одна в другую, перетирали зерно в муку). Мы ели кашу с пышками. Ели свой хлеб, выращенный нашими руками! Вкуснее этих рассыпающихся, пахнущих солодом и степью пышек мне в своей жизни не доводилось есть ничего.

Приехали Гриша Завгороднев и Валя Кохно. В тот вечер мы были такие хорошие и добрые, что звали ее не Валькой и не Валентиной Степановной, а Валей. Расчувствовавшись, Дед целовал всех нас по очереди, называл героями и обещал после уборки сделать праздничный вечер с духовым оркестром.

— Какие же вы молодцы! Нет, вы не знаете, какие вы есть!..

— Да знают... — улыбался Василий Афанасьевич. — Не захваливай. И так с ними сладу нет.

— Погоди, Василий, не перечь, — распалялся Дед. — Вот он, — и председатель хватал за руку Шурку Быкодерова, — он герой! И он тоже, — тянул он меня к себе. — И вы, все, все, — разводил он свои дрожащие

руки, — герои... И я буду не председателем, если не достану на праздник урожая духовой оркестр. Помяните мое слово!

Мы хохотали. Валя, раскрасневшаяся, с чуть осоловевшими от сытного ужина цыганскими глазами, кричала:

— Николай Иванович! Ловим на слове. И чтобы танцы до утра!

Все было хорошо в этот вечер. Забыли, что где-то идет война. Пели песни и все время беспричинно хохотали. Так легко и весело нам было, наверное, первый раз за эти месяцы работы в поле.

...А потом кто-то вспомнил Ваську Попова, и сразу вернулась война. Все грустно затихли, сидели молча и думали каждый о том, что он не дожил до этого тихого июльского вечера, не дожил до первого теплого хлеба.

...Утром Василий Афанасьевич разрешил нам идти в Елхи — искать, как шутил Гриша Завгороднев, его ногу. Загрузили мой рюкзак щедро выданными Олей продуктами, взяли два карабина, патроны, ведро, чтобы сварить обед, и тронулись. До Елхов километров двенадцать. Для нас, здоровых, не расстояние, а вот для Гриши...

Еще с вечера он решил идти пешком. Сколько ни упрашивали ехать на велосипеде, он не соглашался. И тогда мы пошли на хитрость: попросили у него велосипед, чтобы везти на нем продукты. Гриша, видно, разгадал наш маневр, но велосипед дал. Ездить на нем мог только Гриша. Там была лишь одна педаль для правой ноги, напоминавшая стремя.

Привязав рюкзак к багажнику, я повел велосипед. Повесили на раму велосипеда, где Гриша крепил свои костыли, карабины, и подсумок с патронами. Шли не торопясь, в такт постукиванию Гришиных костылей. Я еще никогда не видел Гришу таким. Он светился, словно шел на свидание. Говорил, говорил без умолку.

— Вот за этой балочкой начинается земля майора Свиридова. Смотрите, каким клином вдается лощина. Видите вон ту темную полосу, видите? — И Гришины костыли начинали чаще стучать о дорогу. — Все это свиридовский артдивизион занимал. Потом майора убило, а место так землей Свиридова и называли.

Гриша перескакивал с одной стороны дороги на другую, вдруг замирал, вытянув шею, потом срывался с места, нервно и быстро объясняя:

— А передовая проходила вон там! Это передовая, а боевое охранение дальше — надо пройти вперед метров двести. — Он опять замер, настороженно вытянул шею, словно принюхивался к чему-то. Пошарил быстрыми глазами вокруг и неожиданно крикнул: — Вон там я у них с рацией сидел! — Он показал костылем вверх. — Видите разбитый транспортер? А чуть правее кустик. Между ними был наш блиндаж. Ночью я приполз к ребятам на брюхе, а утром, чуть свет, нас начинали выбивать гансы. С полчаса молотили артиллерией и «ванюшами», небо с землей перемешивали, а потом двинули. Когда я протер глаза, танки уже на фланги вышли и пехота прилипла к ним. Могли выручить только наши артиллеристы.

И вдруг, остановившись, Гриша спросил:

— Знаете, какие глаза у человека, когда на него идет танк? О-о-о, братцы... Лучше этого не видеть. — И он покачал головой. — Смотрит человек на тебя, а у него лицо плывет как студень. От такого взгляда не то что ноги — язык отнимается. А мне с КП связь держать надо. Силюсь сказать — и не могу. Прямо шок какой-то. Потом отошел и благим матом закричал: «На прямую наводку по танкам! Мать вашу!.. Отсекайте пехоту». — Он перевел дыхание и уже спокойно продолжал: — Не обошли и к передним траншеям нашей пехоты выскочили. Передаю свои координаты. И вал огневой прямо по нас пошел...

— А как же вы? — испуганно посмотрел на него Шурка.

— Да так, как все, — протянул Гриша. — Затаились, как суслики, обняли матушку-землю... А мне еще и глядеть надо, чтобы корректировать огонь...

Он умолк. Дорога спустилась в лощину. Ее пологие склоны почти сплошь изрыты громадными ямами. В них укрывали автомашины, лошадей и боеприпасы. Края ям почти повсюду обрушились, оплыли и густо заросли жирной лебедой, хрупким молочаем и тонкой повителью. Гриша в несколько прыжков подскочил к одной яме, потом к другой. Он метался по лощине, словно за ним гнались.

— Где-то здесь был свиридовский КП. — Точно стрелы, бросал он быстрые взгляды по сторонам. — Где-то здесь. — И он скакал от одного разрушенного блиндажа к другому.

Мы еле успевали за ним.

Как только спустились в лощину, меня сразу стало мутить от сладковатого трупного запаха. Он исходил из развороченных блиндажей, откуда-то из-под травы, и запах нагретой солнцем земли и зелени не мог заглушить его. Я отдал велосипед Шурке и поспешил выбраться наверх. Славка презрительно посмотрел в мою сторону.

— Чего нос воротишь?..

Славка достал из окопа погнутую и пробитую осколками катушку связистов. Взял в руки обрывок телефонного провода, перекинул его через плечо и побежал. Изуродованная катушка точно живая запрыгала вслед за ним. Шурка положил на траву велосипед, спрыгнул в окоп и ковыряет землю обломком черенка лопаты. Гриша ушел метров на триста вперед, легко скачет от блиндажа к блиндажу. Вот он остановился, машет поднятым вверх костылем. Я бегу к нему. Гриша уже нырнул на дно траншеи, и его светлые вихры поплыли над бруствером. Из траншеи и к моим ногам полетел обломок автомата. Кожух ствола сплющен, приклад разбит. Остался ли в живых его хозяин? Подержал в руках и бросил к вороху снарядных гильз. Сколько же здесь этих гильз! Если их и собирали, то только зимой или раннею весной, но вряд ли. Тогда этим заниматься было некогда. Кучи гильз проросли травой.

Из траншеи выпрыгнул Гриша. Лицо в капельках пота, волосы разметались, глаза сухо блестят.

— Точно, это место батареи старшего лейтенанта Галиева. По блиндажу узнал. У них последняя ступенька из ящика снарядного. Грязь была, положили ящик, а потом втоптали его в землю. Это они тогда нас выручили, когда танки прорвались... Гвардейцы Галиева здесь зубами за землю держались.

Шурка сунул мне в руки велосипед и плаксиво простонал:

— Идемте же, так мы и к вечеру до Елхов не доберемся.

— Доберемся, доберемся, — возбужденно ответил ему Гриша. — Дай мне только разобраться, где у них тут стояло второе орудие... По-моему... — и он порывисто метнулся к площадке, расчищенной на взгорье, — вот здесь... Нет, — раздумчиво покачал он головой, — не похоже. Рядом канава была, а здесь ее нет. Перерыли все тут, ничего не поймешь. Сколько земли наворотило! Это уже без меня. Зарывались по самую макушку. Где-то здесь канава, только не найду, а по ней я ползал.

— Гриша, — отозвался Славка, — а может, вы канаву животами выровняли?

— Все может быть, Славка, все может быть, — вытягивая шею и оглядываясь по сторонам, проговорил Гриша. — Тут такая кутерьма была. Уже в госпитале Мишка Богун со второго орудия рассказывал, когда прорвались танки, осталось только их орудие, и то прицел разбит. Так Мишка по стволу наводил...

Пересекли неглубокий овраг, поднялись на пригорок, и нам открылось такое, что заставило сразу всех умолкнуть. До самой Елховской балки тянулась рыжая паутина бесконечных траншей, зияли провалы развороченных блиндажей, окопов, воронок от тяжелых снарядов и бомб, торчали остовы разбитых и сгоревших танков, бронетранспортеров, автомашин. Темнели плешины выжженной земли. На них не росли даже ко всему привыкшие полынь и чернобыл. Наше Горемычное поле, какое трактористы проклинали за сплошные окопы, ни в какое сравнение с этим местом не шло.

— Навсегда загубленная земля, — тоскливо огляделся вокруг Шурка, — тут и через сто лет ничего не вырастет.

Я молча катил велосипед, смотрел на горы вывороченного суглинка и думал: «Каково же было нашим солдатам всего полгода назад?» Здесь наша линия фронта держалась до самого того туманного утра двадцатого ноября, когда началось наступление с юга Сталинграда.

Если бы я знал, что у этих рвов и окопов немцы не прошли. Если бы мы все знали, нам не так горестно было бы умирать в норах-блиндажах. Тогда время, казалось, остановилось и оборвало жизнь. Она еще еле теплилась только в нас, но в любую минуту могла тоже погаснуть, как погасла в тех, что навсегда схоронены под развалинами.

Иду по открытому полю, вижу перерытую, обожженную землю и могу представить, что здесь творилось, пытаюсь объяснить тот вселенский страх, который тогда сжигал нас. Ищу ответа и не нахожу. Думаю, думаю... Он шел оттого, что мы не знали, что творится вокруг нас. Умирать в одиночку, наверное, самая страшная смерть. Кажется, теперь я знаю настоящий смысл пословицы: «На миру и смерть красна». Если бы со мною не случилось всего этого, я никогда бы не понял ее другого, сокрытого смысла.

Я знаю, какие у страха глаза, я знаю, отчего они велики. От одиночества. Если бы мы знали, что мы не одни, что не все сошлось на нас... Если бы мы ведали, что время не остановилось и есть еще жизнь... Кажется, это было давно, в какой-то другой жизни, и, может быть, не со мной, а с кем-то другим...

Нет, это было только вчера, вот здесь, в этой степи. Сколько же вокруг переворочено земли! Один противотанковый ров, разрубивший на многие километры степь от оврага до оврага, чего стоит. И все это вырыто вручную.

Я и сейчас до мельчайших подробностей вижу такую картину.

В степи, где нет ни кустика, под палящим солнцем тысячи женщин, стариков и подростков. Мы углубляем овраг, превращая его в противотанковый ров. Работами руководят военные. Я в паре с соседом и одноклассником таскаю на носилках из оврага землю. Нагружает землю дед Булавин — могучий, саженного роста старик. Жара смертная, а дед в огромных, подшитых резиной от автопокрышки валенках. У него больные ноги. Его никто не мобилизовывал на окопы. Он сам пришел, почти приполз сюда. Двое его сыновей и дочь в армии.

Овраг, как муравейник, сплошь запружен людьми. Кажется, вся степь сдвинулась с места. Люди почти не разговаривают, они как заведенные снуют и снуют... Жара сморила всех. Только пьем из бочки воду.

Не знаю, помог ли нашим солдатам этот ров-овраг, но гитлеровцев удерживали здесь почти до середины сентября, когда уже бои шли в самом городе...

А вот этот противотанковый ров, видно, сослужил защитникам южной окраины города добрую службу. Здесь фашисты не прошли.

Я никогда в своей жизни не видел столько разбитой техники. Особенно много ее было у Разгуляевки, Садовой и Гумрака — последнего гитлеровского аэродрома. Но и в нашей степи немало.

Еще и сейчас, после того, как в первые месяц-два после окончания боев отсюда убрали все, что могло двигаться или можно было легко увезти, здесь осталось столько разбитых и сгоревших танков, бронетранспортеров, автомашин, разбитых самолетов, исковерканных орудий, минометов, повозок, что все это вряд ли можно было вывезти до конца года.

Много позже я узнал, что гитлеровцы за семь меся-

цев боев на сталинградской земле потеряли около трех тысяч танков, более двенадцати тысяч орудий и минометов, четыре тысячи триста боевых и транспортных самолетов и свыше семидесяти тысяч автомашин... К этому еще надо прибавить те полтора миллиона убитых и раненных в боях за Сталинград немецких солдат и офицеров.

Я закрываю глаза и вижу бесконечные, до самого горизонта, степные кладбища разбитой военной техники.

После того как был восстановлен металлургический завод «Красный Октябрь», собранного здесь металлолома хватило ему на три года работы.

...Мы подошли к нашему тяжелому танку КВ. Он лежал вверх гусеницами, подмяв под себя сорванную башню с длинным стволом пушки. Черное, закопченное брюхо вспорото взрывом. Какая сила перевернула эту пятидесятитонную махину? Молча обошли танк, думая о тех, кто был в нем.

— Только автогеном резать, — бросил Шурка, — так эту махину не вывезешь...

И опять молчание. Нас точно подхватило ветром. Хотелось скорее уйти от этого мертвого танка. Даже про Гришу забыли. Он налегал на костыли, старался не отставать и больше уже не петлял от блиндажа к блиндажу. Гришины волосы, в такт костылям, взлетали со лба, падали на глаза. Смотрел вниз на свой единственный солдатский ботинок. О чем он думал, кого вспоминал? И почему так отчужденно и, как мне казалось, сердито посмотрел на всех нас сразу там, у танка?

Четверть часа шли молча. Я катил велосипед. А из головы не шел танк с сорванной башней и вспоротым брюхом. Сколько я видел их, закопченных, с распущенными по земле, как солдатская обмотка, гусеницами. Еще летом, в конце августа сорок второго, увидел первого убитого нашего красноармейца. У него с правой ноги размоталась обмотка, и с тех пор сорванные и распластанные на земле гусеницы танков напоминают мне ту солдатскую обмотку.

Этот танк тоже врежется в мою память. Как он сюда заскочил? А может, их было много? Все увезены на переплавку или в ремонт, а этот, бедняга, увяз в овраге, и до него еще не дошел черед.

Судя по ржавчине, проступившей сквозь мазутную копоть и окалину, стоит он здесь, наверно, с осени. Всю зиму и весну засыпало его снегом и полоскало дождем,

а так и не смыло гарь бушевавшего в нем огня. Если танк здесь с осени, то Гриша знает его. Может, именно поэтому он так погрустнел? Маятником взмахивает его нога, сердито поскрипывают костыли, весь он натянут как струна. Я боюсь за Гришу. У меня такое ощущение, что с ним случится что-то. После смерти Васьки Попова я стал мнительным и даже как-то сказал об этом Грише.

— Эх, Андрюха! — ответил он грустно. — Не бойся, ничего не будет. Худшее уже случилось.

«У него вся жизнь впереди. Он еще ухватит бога за бороду», — постоянно говорит наш добряк Дед. И я верю. Но сейчас Грише приходится нелегко, только каменеет все его худенькое, небогатырского сложения тело да бледнеют и покрываются испариной впалые щеки.

А от этого и нам муторно. И зачем мы только уговорили его идти в эти несчастные Елхи?.. Это все равно что ковырять в незажившей ране.

Гриша заговорил, когда подошли к Елхам.

— Ну и погуляла здесь проклятая... — оглядывая саманные развалины, выдавил он. — И тогда ни одного дома целого не было, а теперь и стен не осталось. Где же тут что было? Давайте, братцы, разберемся. — Даже остановился в растерянности, словно не мог сообразить, куда же идти дальше. — Идемте к кузнице и оттуда, как от печки, танцевать будем. — Сделав паузу, добавил: — Мы всегда в эти Елхи от кузницы входили. Видите, вон там балочка тянется. Вон, вон там, за этим разбитым культиватором. — И поднял перед собой костыль. — По ней удобнее всего было. Она идет с немецкой стороны, так там не было мин, гансы для себя проход в деревню оставляли. По ней на брюхе и шастали...

Мне доводилось до войны несколько раз проезжать через это село. Десятка два саманных хат, крытых камышом и кое-где тесом, вытянулись в один нестройный ряд вдоль дороги. В каждом дворе колодец с журавлем. Стояло село на самом бугре, открытое всем ветрам. Дома чистенькие, выбеленные известкой, подведенные желтой глиной, словно подпоясанные. Окна маленькие, с распахнутыми, как книги, ставнями. Дворы огромные, неогороженные. Только кое-где торчали кривые столбики. Их подпирали низкие гати из перегноя и земли да редкий частокол сухого кустарника и лозы, какая растет здесь же, в Елховской балке, в полукилометре от

села. Садов в Елхах не помню, кое-где росли деревья, развесистые клены да какой-то колючий кустарник.

За селом, ближе к балке, прямо в небо, как ствол зенитки, торчал колодезный журавель. Почему он тогда был таким высоким? Сейчас смотрю и нигде не вижу таких больших журавлей, тех домов-гигантов, таких глубоченных оврагов, какие поражали меня своими размерами в детстве.

Проезжая через это село, мы всегда останавливались у колодца. Отец поил лошадь, наливая воду из кованого ведра в рассохшееся корыто.

Сколько ни смотрел я сейчас по сторонам, не мог найти ни той улицы, ни тех домов, ни деревьев перед дворами — кругом только беспорядочно разбросанные кучи самана — остатки стен, окопы, ямы от провалившихся погребов да черные воронки от бомб и тяжелых фугасов. Голые, без растительности, гребни рыжего суглинка в нескольких местах пересекают то, что раньше было дорогой. Густая лебеда, стелющийся подорожник, хрупкий молочай, могучие лопухи и юркая повитель — вся та буйная зелень, какая обычно забивает канавы, теперь выползла на дорогу, растеклась по селу (точнее, месту, где оно было), ровняя все под один зеленовато-серый цвет степи.

...Шли присмиревшие, точно по кладбищу, где неуместно спешить и громко разговаривать. Только Гриша немного оживился. Он вертел своей худой, загорелой шеей, то замедлял шаг, то вдруг срывался с места. Прыгал от одной развалины дома к другой, оглядывал окопы, словно искал что-то. Первым он оказался и у кузницы, обскакал ее развалины, зачем-то потрогал носком ботинка саманные кирпичи, точно проверяя их прочность, а затем отошел в сторону и, усевшись на раму изуродованного осколками снарядов и мин плуга, затих. Только глаза, быстрые и тревожные, все еще шарили вокруг.

Я положил у его ног велосипед и растянулся тут же на траве.

— С меня хватит, — повалился рядом Славка. — Я больше не бегаю.

Гриша отчужденно сидит на раме разбитого плуга. Он устал. Пот заливает лицо, распахнутая на все пуговицы и закатанная до локтей гимнастерка вымокла, будто прямо в ней искупался.

Я поднялся. Надо было помогать Шурке. Он уже

сделал из ветоши и проволоки квач и кропил им заржавевшие болты и гайки. Когда подошел к нему с разводным ключом, Шурка расстроенно бросил:

— Смотри, только три сошника и можно будет в дело пустить. Все посекли, как капусту. Попробуй вот этот, — и он ткнул мокрым квачем в сошник, чудом сохранившийся в груде исковерканного, пробитого, как решето, металла.

Я постучал по болтам ключом, попробовал их отвернуть. Болты не поддавались. Шурка еще раз смазал их «адской смесью» — автолом с керосином — и предложил осмотреть тот плуг, где сидел Гриша.

— Кусок металлолома, — поднялся Гриша. — Может, вот эту стойку... Но и она в двух местах пробита. Ничего вы, пожалуй, здесь и не возьмете. — И он не спеша заковылял прочь.

Славка хлопотал у костра, собираясь заваривать кашу.

— Может, помоем крупу?.. — робко предложил я.

Славка посмотрел на меня как на больного:

— Да ты что, голодными нас оставить хочешь? Все калории смоешь.

— Раньше, до войны, всегда все продукты промывали, и калории оставались.

Славка так и прыснул, словно поперхнулся.

— Раньше! Да знаешь, что было раньше, знаешь?.. — Он даже задохнулся. — Ты мне брось про раньше! А то я тебе такое расскажу, что у тебя голова закружится. Ты знаешь, у нас в кладовке стоял старый бабкин сундук с салом. Вот такими кусками засолено. А толщина — в четверть. — И он, разжав кулак, показал ладонь. — И тут же висели окорока. Глянешь — и в глазах темно, слюнки текут...

Славка замолчал, видимо борясь с приступом голода. От его рассказа и мне подвело живот, и теперь я уже не мог спокойно смотреть на то, как Славка священнодействует, засыпая крупу в ведро.

— И знаешь, какой я был дурак, — упавшим голосом добавил он. — Я ничего этого не ел. Бегали с ребятами на скотный двор и клянчили у доярок макуху.

— Жмых, что ли? — спросил я.

— Аг-га, вот его ел...

— Боже! — театрально всплеснул руками Шурка. — Что же за идиотская жизнь была у тебя и куда смотрела твоя мать?

Но Славка словно и не слышал его насмешки.

— Мне сейчас почти каждую ночь снятся эти окорока и сало... Только закрою глаза — и вижу...

Надо было уходить отсюда, а то изойдешь слюною от Славкиных воспоминаний, и я пошел к саманным развалинам искать Гришу.

День выдался жаркий. Солнце то и дело ныряло за тучи, даже срывался дождик, но несильный. Сыпанут крупные капли, порябит пыль на дороге, и опять рванется из-за тучи жаркое солнце. В такую погоду, говорят, хорошо растут грибы. Но грибов в нашем крае нет. По гумнам да придорожным канавам иногда встречаются шампиньоны, но бывает это только к осени.

Гриша забрался в один из полуобрушенных погребов. Пополз за ним и я. Пахло застоялой, затхлой сыростью. Привыкнув к темноте, я увидел, что Гриша раскапывает землю вокруг ящика, завернутого в телогрейку. Из ямы он уже достал две алюминиевые коробки — в таких немцы хранили патроны. Здесь же лежал полуистлевший рюкзак. Из него торчали ручки гранат.

— Помоги...

Я подхватил липкую от плесени телогрейку. Она расползлась под пальцами, однако и сквозь сгнившее тряпье чувствовалась упругая тяжесть железного ящика.

— Осторожней, осторожней, — хрипел Гриша.

Телогрейка глухо трещала, а ящик не двигался.

— Легче, легче, дуралей...

Я потянул за рукав телогрейки. Он оторвался, и вся тяжесть ящика повисла на руках Гриши, чуть не стащив его в яму. Наконец мы выволокли сверток, и, когда Гриша сорвал с него тряпье, я увидел, что это рация. Несколько минут сидели молча, а потом, подхватив тяжелый короб, полезли наверх. Я еще трижды спускался в погреб. Достал оттуда десятка два гранат, несколько автоматных дисков и целый ворох патронов россыпью. А Гришка кричал мне сверху:

— Поищи еще, там должен быть рюкзак с провиантом. Ищи!

Я уже перекопал полпогреба, но, кроме патронов в обоймах и россыпью, мне ничего не попадалось. И я спросил:

— Зачем вы столько сюда их натаскали? Лучше бы жратвы какой-нибудь припрятали.

Гриша захохотал заливисто, звонко своим серебряным смехом, какой мне так нравился. Это был первый его смех сегодня.

— Салага ты, Андрюха, и никогда из тебя военного человека не выйдет! Разве патроны со жратвой можно сравнивать? Да ты знаешь, что за обойму патронов жизнь люди отдают? Я только один раз побыл в этой шкуре, и с тех пор шабаш... Пошли в разведку, а патронов мало взяли, так на всю жизнь зарекся. Без жратвы человек может неделю-другую тянуть, а вот без патронов, бывает, и минуту не проживешь. У нас был такой закон: идешь в разведку на день, боезапас бери на три, а когда сюда, в Елхи, шли, то загружались каждый под завязку. Брали столько, сколько могли унести, а уже потом сверх нормы — провиант. Вот так, Андрюха... И все же ты поищи рюкзак. Хорошо помню, Арно Папидзе прятал. Я рацию закапывал, а он автоматные диски с патронами и этот рюкзак... Галеты в нем немецкие были и тушенка.

Когда я прекращал копать землю, он кричал мне в погреб рассерженно:

— Ты ищи, ищи! Рюкзак, зеленый такой, мешочком.

— А ты точно помнишь, что он прятал?

— Точно, точно!

Но поиски были напрасны. Рюкзак, видно, вытащили собаки. Они здесь всю весну, как волки, целыми стаями шлялись.

— Знаешь, — начал я, немного успокоившись, — когда наш блиндаж был разбит и мы перебирались к соседям, я закопал в своем дворе восемь килограммов сала. Завернуто оно было в мешковину. И всего-то на одну ночь закапывал, а вышло навсегда. Три дня потом искал, весь двор перерыл, а сало как в воду кануло. Бомбежка кончится, фрицы начинают лупить из тяжелых минометов, а я бегу искать. Мать сначала ругала меня за то, что потерял сало, а потом за то, что бегаю искать.

Гриша бросил ковыряться в своей рации и испытующе посмотрел на меня.

— Так что же с салом-то? Может, сейчас поискать?

— Ищи ветра в поле! Я когда этих собак весной увидел, так меня сразу точно обожгло: вот кто мое сало украл! Они. И больше некому.

Мне было не до Гришиных шуток. Целых полгода загадка исчезновения сала не давала всей нашей семье покоя. «Если экономно зажаривать похлебку или за-

правлять кашу, так это же на всю зиму...» — говорила мать и резала меня без ножа этими словами.

Чем больше проходило времени и чем лютее нас мучил голод, тем сильнее укреплялась в нас эта мысль: лежит оно где-то там! Как только окончились бои в городе, мы с братом сразу двинули искать его. Наивные мальчишки! Разве можно было что-либо здесь найти? Еле опознали наш двор. Дом не только сгорел, от него даже фундамента не осталось. Уже когда мы ушли из поселка, рядом ахнула не меньше чем на полтонны бомба, и она все перевернула вокруг. Рухнули стены кирпичного здания, завалило двор. Камни много раз перебрасывало с места на место взрывами снарядов и тяжелых мин, и теперь невозможно определить, где чей двор.

Мы постояли с Серегой перед этими припорошенными снегом завалами кирпича, земли и обломков рухнувших балок и побрели назад. Ходили тогда только по тропкам, где были выставлены обозначения: «Разминировано». Но что для нас, мальчишек, это значит! Взяли и свернули в развалины. Не возвращаться же домой с пустыми руками, когда везде валяется столько барахла!

Нам тогда не повезло. В первой же развалине дома мы напоролись на немцев. В комнате, где рухнуло две стены и каким-то чудом уцелел потолок, сидели двое закутанных в одеяла (они покрылись ими, как женщины платками) и пили нашу водку. Сидели на корточках, прислонившись к стене, а перед ними на полу стояла поллитровка. Бутылка чуть-чуть недопита.

Мы остолбенели, а они как сидели, так и не шелохнулись. И тогда я понял, что они мертвые, пили нашу водку и замерзли. Оружия рядом с ними не было. Может, кто-то уже взял, а может, сами бросили перед тем, как забраться сюда. Лица черные, заросшие щетиной, глаза у одного из них полуоткрыты.

К тому времени мы с братом видели уже столько мертвых, что испугать нас могли только живые. Поэтому, как только мы разобрались, что к чему, страх наш пропал. Но и желание бродить по развалинам пропало. Выбрались на тропинку с надписями «Разминировано» и побрели домой.

Гриша смотрел на меня с каким-то рассеянным любопытством. Он одновременно и ждал и не ждал продолжения моего рассказа. И я обиженно умолк.

Гриша сегодня какой-то странный. Он говорил со

мной, спрашивал, отвечал на вопросы, даже улыбался, но его не было здесь. Что-то с ним стряслось там, у того изуродованного взрывом танка КВ.

Ребята уже все приготовили для обеда. Расстелили на траве плащ-палатку. На ней стояли три алюминиевые миски и мой румынский котелок. Здесь же — большой пучок зеленого лука, горка огурцов, петрушка, укроп. Зелень, конечно, была баловством — разве ею насытишься?

Славка суетился у костра. Отвернув лицо от огня, он помешивал в ведре ивовым прутиком. К прутику была привязана ложка. Время от времени он вынимал ее, подносил близко к лицу и, пристально посмотрев на ложку, быстро опускал в ведро. Такое мог выдержать только Славка. Он был сильным человеком, и я завидовал ему. Вон Шурка уже дважды плаксиво взывал:

— Братцы, давайте начнем! — И он разводил руками над приготовленной им зеленью. — Ну давайте, нет моего терпения... Давайте, братцы, а там и каша подоспеет.

А Славка спокойно помешивал своим прутиком в ведре, потом неторопливо подносил его к себе, дул на кашу, словно собирался отправить ложку в рот, но тут же бросал ее в ведро.

...Какое же это блаженство — черпать душистую, обжигающую кашу, заедать ее сочным, хрустящим огурцом и круто посоленным зеленым луком! Первые минуты ели молча, как коты, пофыркивая и причмокивая. Потом, когда первый приступ голода прошел, мы были уже в состоянии оторвать свои головы от мисок. И нетерпеливый Шурка обрел способность говорить.

— Ну что, служивый, нашел свою ногу? — спросил он у Гриши.

Тот молча улыбнулся и, задержав на мгновенье ложку перед собой, одобрительно кивнул: давай, мол, трави!

— А ведь по-хорошему там, где посеял одну, должно вырасти две, — продолжал Шурка. — Хотя, впрочем, зачем три ноги, когда тебя и на одной не догнать. Ты же нас всех сегодня запалил. Я за тобой вприпрыжку бежал.

Гриша захохотал. Теперь мы могли слышать Шуркин треп. Он помогал нам растянуть удовольствие от еды. Можно было черпать кашу только на кончик ложки и все время ощущать во рту ее вкус. Жалко только, что каша катастрофически уменьшалась. Я всякий раз чер-

пал ложкой все меньше и меньше, но уже видно было дно котелка. Не тот темп взял вначале. Всегда так! А вот Славка умеет растянуть. Он слушает болтовню Шурки с легкой ухмылкой и не спеша ест.

Когда с едой было покончено, Гриша достал из кармана брюк коробку с табаком, и сразу рядом с ним оказались Шурка и Славка.

— После сытного обеда, по закону Архимеда, — отрывая квадратик газеты, весело говорил Шурка, — надо закурить.

— Ты куда гребешь? — шутливо оттолкнул его Славка и сам запустил пятерню в коробку с табаком.

Гриша насмешливо посмотрел на ребят, затем сам, оторвав клочок газеты, ловко свернул цигарку. В два прыжка оказавшись у затухающего костра, он выхватил уголек и, подбрасывая его на ладони, прикурил.

Славка не пошел к костру. Он неторопливо достал из кармана кремень — кусочек крепкого камня с острыми краями, потом кресало — обточенный на наждаке обломок рашпиля и фитиль. Приложил к камню фитиль и ударил кресалом о край кремня. На фитиль брызнул сноп искр, он помахал перед собой фитилем, подул на него и, когда кончик покраснел, ткнул в него свою цигарку и прикурил. Потом сунул тлевший кончик фитиля в наполовину обрезанную гильзу патрона, обмотал этим фитилем кремень и кресало и отправил все в карман.

— Пушка-самопал! — все с той же улыбкой кивнул в сторону Славки Гриша.

— Безотказная вещь, — похвастался тот. — В любую погоду из всех стволов...

— И все же, хлопцы, не советовал бы вам привыкать к этой заразе, — сказал Гриша. — Я вот втянулся — и маюсь теперь. Когда попали в Елхи да три дня без жратвы просидели в погребе, так и закурил. В госпитале пытался бросить, да не вышло.

Гриша умолк, словно вдруг ступил, куда ему не следовало заходить.

— А что там за танк в овраге?

Гриша метнул в меня взглядом: видно, хотел сказать что-то резкое, но сдержался.

— В танке этом четверо наших ребят осталось. Я уже в госпитале лежал, когда все случилось. А танк знаменитый... И гансы его знали, хотя и стоял он почти всю Сталинградскую оборону в землю зарытый. Видел,

у него какая пушка? Да еще два пулемета. Не танк, а крепость... Четыре человека экипаж. Ох и выручали нас эти ребята! За целую батарею работали.

Он немного помолчал. И вдруг, резко повернувшись, торопливо заговорил:

— А фашисты узнали о нем вот как. Засекли наши разведчики у гансов крупные склады горючего километрах в двадцати от передовой. Пробовали артиллерией накрыть — не вышло. Авиацию посылали. Летчики доложили, что подожгли, а наши хлопцы проверили — склады целехоньки. И тогда танкисты, которые, как кроты, сидели в земле, предложили свой план: сходить к гансам в гости. Готовились они долго. Их лейтенант и два механика-водителя ходили с нами в разведку. Днем сидели вот здесь, в погребах, а ночью шныряли по оврагам да балкам. Наши танкисты подходы к складам с горючим высматривали. Муторная работа. Главное, не обнаружить себя, а как это сделать, когда они прямо в лапы к гитлеровцам лезут? Видишь ли, им все своими руками надо пощупать и все увидеть... Но обошлось.

Доставили мы их в целости и сохранности на свою сторону, и они доложили командованию, что прорваться к складам можно на танках. Риск, конечно, большой. Можно и не вернуться из этой «прогулки», да где же на войне нет риска? Стали готовить проход в нашем минном поле. Наметили для прорыва хорошее место. Сначала по склону Елховской балки — метров пятьсот, а потом выскакиваем прямо на проселок и по лощине — к складам. Четверть часа на полном газе, и склады можно накрыть запросто.

Все подготовили, все рассчитали и стали ждать погоду. Идеальной для такого случая был бы небольшой туман или, в крайнем случае, дождь. Идти решили тремя танками: двумя тридцатьчетверками и вот этим КВ. Тяжелый танк использовался как таран. Такой, если и батарея подвернется, так сомнет, не охнет.

Время выбрали утреннее, предрассветное. Вся операция планировалась, чтобы до восхода солнца танки успели проскочить обратно. Выход им приготовили в другом месте, вот здесь, перед Елхами. Уходили танки с земли майора Свиридова...

Ну вот, уже все было готово, ждали погоду. На дождь надежда плохая, потому что уже конец ноября: по утрам да и ночью заморозки жмут, даже иногда

снежок срывается. Дальше ждать погоды нет смысла. Да и немец в котле. Соседи наши от Красноармейска, Чапурников двинули на Калач, а мы притихли, как кроты в земле. Майор Свиридов бунтует. Кричит: «Надо и нам гада бить!»

Видно, и рейд танкистов командование разрешило, чтобы разрядить наш пыл наступать. Было это или двадцать девятого, или тридцатого ноября. Помню, через два или три дня меня ранило.

Проскочили ребята хорошо. Гансы и охнуть не успели, как наши три танка у них за передовой оказались. Конечно, до окружения такая штука вряд ли бы выгорела. А тогда у них уже паника началась. Везде им мерещились прорывы русских. Вот под этот шумок и двинули наши танкисты... Рассказывали потом ребята, что все прошло как по писаному: и склад горючего подожгли, и колонну автомашин со снаряжением какой-то части разнесли в щепы, а главное — дикую панику и переполох у них в тылу подняли.

Все было хорошо. Пошли наши на прорыв перед рассветом, немцы не поняли, сколько к ним проскочило машин. А потом, когда ребята вырвались за передовую на десяток километров, они на время потеряли танки. В общей сложности по тылам у немцев наши прошли километров тридцать. Выходили уже, когда рассвело, и тут-то пришлось им туго. Гансы сообразили, что ребята не собираются выходить в том месте, где входили, и бросились наперехват. Потом они наконец разглядели, что ходят по их тылам всего три танка, и решили сделать все, чтобы они не ушли. Тогда-то артиллеристы Свиридова и пришли на выручку ребятам. Майор все время поддерживал с ними связь по радио, и те вызвали огонь наших артиллеристов. А когда перед Елхами прорывались через передовую гитлеровцев, то танки буквально шли за нашим артиллерийским валом. Вырвались КВ и одна тридцатьчетверка. Да и ту же с ничейной земли притащили на буксире. Один танк потеряли где-то под твоим Ягодным.

Гриша кивнул в мою сторону.

— Они напоролись на батарею, про какую мы не знали. Пришлось отвернуть и проходить правее, ближе к передовой. Там и потеряли танк, а экипаж спасли. Ребят тогда представили к орденам высоким, а командира КВ Павла Симукова, он же командовал и всей группой, прошел слух, что на Героя подали...

Гриша помолчал.

— Так и не знаю, правда ли. Вскорости и меня ранило...

— А как это было? — спросил Славка.

Гриша не шелохнулся, словно он и не слышал вопроса. Помолчали.

— Да как, — раздумчиво начал он, — в высшей степени просто. Чесануло меня из крупнокалиберного пулемета. И всего-то три пули всадил в меня, паршивец, а на всю жизнь отметил. Лента у него была заряжена через один патрон разрывным. Влепил две простые, а одну разрывную. Хирург, который резал ногу, остряк такой. Говорит: «Хорошо, что не наоборот, а то бы мы тебе и руку отхватили». Рука осталась, а что толку — висит как плеть...

Страшная штука разрывная пуля — рвется, как граната. Ударила она меня под колено, так и отлетела напрочь нога. Только на сухожилии да на штанине и держалась. Когда приволокли меня ребята в медсанбат, подошел этот врач и говорит: «Зря ногу-то тащили». Взял скальпель и отхватил ее тут же. Еще и на операционный стол меня не клали, а ноги уже не было...

Гриша умолк, наткнувшись на запретную для себя тему.

Присмирев, мы ждали конца Гришиного рассказа о трагедии экипажа КВ.

И вот что он рассказал. Десятого января сорок третьего года, после того как наши войска перешли в последнее наступление, чтобы расчленить немецкую группировку надвое, экипаж этого танка прикрывал наступление. Огонь у него страшный. Пушка и два пулемета сметают все. Остановить этот танк почти невозможно. Только если в гусеницу снаряд угодит, а так и бронебойный не берет.

Проскочили ребята по передним траншеям и влетели вот в эту самую лощину. По ней проходила их вторая линия обороны. А тут и артиллерия, и склады боеприпасов, и танки, зарытые в землю. В общем, влетели в самое пекло, и вырваться отсюда было невозможно. Единственное спасение — с ходу всю лощину. Да немцы, видно, тоже не дураки...

— Вы видели, где этот танк лежит? — спросил Гриша и тут же сам ответил: — Можете себе представить, что здесь творилось, когда эта махина на полном газу,

стреляя из пушки и поливая из пулеметов, неслась по лощине... И может быть, они и проскочили бы, да что-то случилось с мотором. На выходе из лощины танк завис. Это хорошо видели с других наших танков...

И вот тогда влепили ему бронебойным в брюхо... Смерть у ребят была легкая, сразу взорвался весь боезапас. Его, конечно, не смогли еще израсходовать. Этот страшный взрыв и швырнул танк на дно оврага, а потом уже он горел...

ОТЕЦ И СЫН

— Знаешь, весь химический уклон нашей школы держится на Татьяне, — выпалил Андрей. — Если уйдет — вся наша специализация полетит.

— А что, собирается уйти? — спросила Юля.

— Знаешь, как сегодня раскричалась! Говорит: «Брошу вас, уйду!» — надоели мы ей.

— И что, тогда уклона не будет? — опять спросила Юля.

Андрей захохотал. Засмеялась и Юля. Но тут же умолкла, потому что не поняла, над кем смеется Андрей.

Мне не часто случается быть свидетелем разговора детей — слушать их интересно. У Андрея хорошее настроение. Он только что пришел из школы. Сегодня суббота, и мы всей семьей сидим на кухне, обедаем. Юля пришла на час раньше. Она, оказывается, опять нарушила нашу семейную конвенцию. Потратила свои двадцать копеек, какие получает ежедневно на школьный завтрак, не в школьном буфете, а после занятий. По пути домой зашла в булочную, купила калорийку и съела ее. А теперь вот сидит за столом и лениво ковыряет вилкой в тарелке.

— Почему не завтракала в школе?

— Ага, там в буфете тысяча и одна ночь.

— Тогда бери завтрак из дому.

— Ага, никто не берет, а я буду...

— А ты будешь.

— Не буду...

— С завтрашнего дня встаете оба в семь часов, делаете зарядку, принимаете душ. За час нагуляете аппетит и будете завтракать как миленькие.

— Завтра воскресенье.

— Все равно в семь. Надо привыкать.

— Да, у вас два выходных, а нам нельзя и один раз поспать...

— Нельзя. Ты нарушаешь уговор. Мы же договорились — не сумела позавтракать в школе, после уроков, будь добра, иди домой. Почему ты заходишь в булочную?

— Я нечаянно. Девчонки зашли... — Глаза расширились, смотрят растерянно: видно, и сама не знает, как это произошло.

Время от времени в нашей семье вспыхивают такие крутые разговоры. После них мы начинаем реализовать все ту же «программу нашего физического совершенствования».

Неделю-две все идет хорошо. Враг ребят — будильник — трещит ровно в семь. Если позволяет погода, выходим во двор на зарядку, бегаем по аллее. Благо в нашем районе сейчас бегают многие. Всю эту «секту» малых и старых бегунов Андрей назвал «Никто не хотел умирать», и это насмешливое прозвище пристало к нам.

Возвращаемся с улицы возбужденные, хохочущие — главное, у всех к восьми часам появляется аппетит, чему не нарадуется бабушка. Труднее вечером. Но и тут мы стараемся выдержать характер. Юлю отправляем спать в 22.00, Андрея в 23.00, а сами ложимся в 24.00. Так идет до тех пор, пока какое-либо обстоятельство не выбивает нас из колеи. Это или моя командировка, или болезнь кого-либо из нас (грипп, катар верхних дыхательных путей и т. д.), поздние гости.

— Ты уж сегодня не буди, — шепчет мне утром мать, — вы вчера сидели, и они не спали, лежали, уши навострив. Хоть Юлечку не буди, а то будет как вареная весь день.

Андрей без конца подшучивает над Юлей, рассказывает ей всякие небылицы, а она мечет свои глазенки то на меня, то на бабушку, молча спрашивая: «Правда?» Мы улыбаемся, и испуг сходит с лица. Но Андрей начинает новую историю, и мы уже сами не поймем, говорит он правду или фантазирует.

Недавно он стал убеждать Юлю, что она не наша дочь, что мы взяли ее из детдома, когда ей не было и года. Вначале она воспринимала его рассказ как очередную небылицу и смеялась. Но он все больше вдохновлялся от своего вранья и выкладывал факт за фактом.

— Ты знаешь, что родилась в рабочем поселке «Уралмаша»?

— Знаю...

— А потом, через год мы переехали в центр Свердловска.

— Да...

— А еще через четыре года мы уехали совсем из этого города.

— Ну и что? — уже с тревогой спрашивает Юля.

— А ничего, — как можно равнодушнее отвечает Андрей. — Соображать надо. Зачем родители кочуют все время.

— Зачем?..

Наивность сестры обезоруживает Андрея. Он готов расхохотаться, но ведет игру дальше.

— Я знаю фамилию твоих родителей, — понизив до шепота голос, говорит он.

Юля присмирела, уже больше не возражает Андрею, а лишь тихо спрашивает:

— Кто они?

Андрей называет фамилию наших знакомых из Свердловска:

— Лагуновы... Вот.

Потрясенная этим открытием, Юля уходит в свою комнату. Она не раз слышала эту фамилию и начинает перебирать в своей зыбкой памяти всех наших знакомых из Свердловска. Когда уезжали с Урала, ей было шесть, она многое помнит. Так кто же Лагуновы? Тетя Зина? Тетя Зоя? А может, те, что приходили с мальчиком?

Андрей уже убежал на улицу, и спросить не у кого. Дома бабушка, но она плохо знает наших уральских знакомых. Всплакнув над своей горькой судьбой, Юля идет к ней и начинает расспрашивать о Лагуновых.

— А бес их знает, какие они, Лагуновы!.. — отвечает бабушка. — Зачем они тебе нужны?

— Нужны, — чуть не плачет Юля. — А дети у них есть?

— Вроде нет...

Юля, убитая так неожиданно свалившимся на нее горем, уходит. Трагедия разыгрывается несколько часов. Юля роется в завалах наших любительских фотографий и таскает все незнакомые ей снимки бабушке для опознания Лагуновых. Та тоже в тревоге. Но ей, конечно, и

в голову не могут прийти те мысли, какие сейчас терзают сердце ее внучки.

— Скажи мне на милость, что там случилось с этими Лагуновыми?

— Ничего...

— А чего ревешь?

— Не реву... Какие они? — И Юля сует бабушке фотографии. — Эти, что ли?

— Откуда я знаю? Я и видела их, может, раз, а может, совсем не видела.

— Все вы меня обманываете. И ты, и мама, и папа... Все, все!.. — кричит Юля и с ревом убегает.

Обстановка долго не может разрядиться и после того, как в доме появляется жена. Юля, наконец убедившись, что она законная дочь своих родителей, берется за уроки, а Андрей сердито ругает сестру. Ему стыдно и обидно, что его, девятиклассника, наказали.

— Я не знал, что ты так потрясающе глупа. Это же надо быть таким лопухом!..

Меня иногда что-то тревожит в современных ребятах. Не всегда могу сказать что, но тревожит. Может быть, они дальше, чем мы, от природы, и не только потому, что живут в городах, среди камня и асфальта, а дальше от природы в душе, меньше радуются дождю, снегу, закату солнца...

Наши дети потихоньку утрачивают ту первозданную детскую наивность и ту человеческую непосредственность, какие мы черпали в постоянном и прямом общении с природой. Ребята слишком быстро взрослеют. Хорошо, что человек раздвигает границы своей сознательной жизни. Но ведь и мы, родители, школа, все, кто призван воспитывать детей, должны непременно успевать за ними. В наше время, наверное, нормально, когда ребенок идет в школу с семи лет, все это так. Но, видимо, школа должна быть несколько другой, ближе стоять к природе, больше учитывать детскую психологию, уроки должны походить на игру, а не на лекции.

Тогда, может быть, и не будет этих тревожных потерь. Никогда не соглашусь, что акселерация (о ней теперь много говорят и часто валят на нее все беды воспитания ребят) обязательно предполагает утрату чисто человеческих, нравственных качеств. Наверно, дети могут воспринимать и значительно больше информации, чем они получают даже в наш век. Все дело в том, на

какую нравственную основу падает она. Это главное.

Я сравниваю мою юность с Андреевой. Иногда ловлю себя на мысли: почему так меня тянет к этому? Ведь далеко не всегда сравнения в мою пользу, но я не могу уйти от них. Молодость всегда молодость. И какой бы она трудной и горькой ни была, всегда самое лучшее и светлое время.

Вот почему мои мысли так часто убегают от юности сына к моей, туда, к лету сорок третьего.

...Сегодня солнце как только оторвалось от земли, так и начало жечь немилосердно. Бывают в наших краях такие дни в середине лета, когда на улицу нельзя показать и носа. Перед тобой в сотне метров дрожит и струится марево. Все предметы причудливо изломаны, расслоены, и создается иллюзия, что они плавятся, даже пар струится.

Из-под козырька засаленной кепки гляжу вверх, ищу спасительное облачко, но небо словно раскаленный свод печи. Кажется, плесни в него водой — и оно зашипит. Всего и поработали нынче часа два по холодку, на рассвете.

Пот я уже давно не вытираю — бесполезно. Из-под моей кепки течет и течет. Я ее то снимаю, то надеваю, побаиваюсь бригадира, да и себя жалко. Дня три назад приключилась такая чертовщина. До обеда вот в такой же солнцепек сидел на тракторе — и вдруг у меня все поплыло перед глазами. Хорошо, что успел выключить скорость.

Очнулся на земле. Лицо и грудь мокрые. Рядом тетя Домна, мать Васьки. Здесь же Вера Харламова. Они работают на лобогрейках, которые таскает мой трактор.

Я вскочил, но голова опять закружилась, и меня усадили в тень. Ерунда какая-то: ничего не болит, а устойчивости в ногах нет. Такое состояние, как будто долго кружился на карусели.

Когда подъехал Славка, я сидел, подперев колесо трактора, глупо улыбался своей немощи.

— Чего? — крикнул он, не глуша мотора.

— Загораю... — как можно бодрее ответил я и тут же почувствовал, что не могу говорить громко — болью отдает в голову.

К нему подошла Вера. Он через крыло трактора подался к ней. Что ему сказала Вера, я не слышал, но Славка вдруг с такой прытью соскочил на землю, что

та опасливо посторонилась. Подбежав ко мне, он выпалил свое дурацкое:

— Чего?

Я не ответил.

— Интеллигенция, — приложил он свою руку к моему лбу. Немного постоял, потом дотронулся до своего лба и тут же добавил: — А, чепуха, пройдет!.. У меня было... Посиди немножко в тенечке, попей водички — как рукой...

— Я же ему говорю, — запричитала тетя Домна, — мыслимо ли на таком солнце весь день? Долблю: «Прикрой голову чем-нибудь!» — дак где там!.. Умные слишком стали — вот и напекло.

С лобогреек поднялись две женщины. Лица их до самых глаз закутаны платками. В такую жару в поле все так покрываются.

— Дорогие мои бабоньки! — широко расставив руки, загородил Славка им дорогу. — Фронт ждет...

Через минуту его трактор взревел, заскрежетал, затарахтел на все голоса сцеп лобогреек. И скоро все потонуло в пыли. Пора было трогать и мне. Голова немного кружилась, но я поднялся.

В дальнем конце гона мой трактор остановил бригадир. Ему кто-то сказал, что случилось. Сначала он подошел к женщинам, поговорил с ними, а потом направился ко мне.

— Ты с этим не шути, парень, — строго начал он. — У тебя был солнечный удар. — Он снял с себя замасленную, видавшую виды кепку и, натянув ее мне на голову, добавил: — По-хорошему тебе надо бы до вечера в землянке полежать... Да некем подменить. Мне бежать надо, — кивнул в сторону горизонта, где маячил силуэт остановившегося трактора. — С обеда что-то прикипел к тому месту.

Это был трактор Мартынка. Но сейчас на нем работала Любка Доброва, наша новая трактористка из прицепщиков. Сам Мартынок неделю назад как уехал в город в военкомат, на перекомиссию, так и не вернулся в бригаду.

Три дня мы гадали, что с ним случилось. Призвать в армию вряд ли могли — рана его еще не зажила. Да и доходяга он такой, что не в армию, а скорее в госпиталь надо было отправить. А вот пойди же: вчера в бригаду пришла открытка с военным треугольным штемпелем — добился своего, опять в армии. «Хотя и

не в настоящей армии, — пишет Мартынок, — а все же при военном деле». Устроился в санитарный поезд — братом милосердия возить с фронта раненых. Вот после этого и перевели из прицепщиков в трактористы Любку Доброву. Она первая в нашей бригаде женщина-трактористка.

Бригадир еще раз как-то странно оглядел меня с ног до головы и спросил:

— Знаешь что? Иди-ка ты на стан... А я пришлю сюда Любку.

— Нет уж! — запротестовал я. — Такие трактористы и у меня есть. Вон Верку посажу за руль, а сам пойду на прицеп.

Бригадир не стал настаивать, он спешил.

— Только, чур, Андрюха, кепку не снимать... — И для большей убедительности добавил: — Учти, если еще раз случится, можешь дураком запросто остаться. Так что гляди... Не снимай.

Вскочил на свой велосипед и двинул прямо по пыльной стерне к трактору Любки Добровой.

Вот с того дня я и маюсь в кепке бригадира. На удивление, трактор сегодня работает как зверь. Вот что такое новый радиатор! Сколько мучился с этим рассыпающимся старьем! Постоянно возил с собою канистру с водой. Через каждый гон глушил трактор, ждал, пока хоть немного остынет мотор и перестанет кипеть вода в радиаторе, а потом брался за самое страшное. Нужно было ухитриться открыть пробку радиатора, не обварив паром руки. В последнее время я приспособился открывать эту чертову пробку: на клокочущий радиатор, как на бешеного тигра, набрасывал телогрейку и уже через нее снимал пробку. «Нужда научит», — оценил мою хитрость Мартынок. А я смотрел на свои обожженные, в глянцевых волдырях руки и чуть не плакал. «Почему же раньше не додумался до этой простой штуки?»

А недавно в бригаде был праздник. Не знаю, как другие, но я пережил в этот день почти такую же радость, как и тогда, когда мы молотили первый наш ячмень. Приехал главный механик МТС на своей развалюхе полуторке, а в ее кузове, завернутые в брезент, лежали новенькие запчасти. Такое богатство мы видели впервые. До этого если и получали какие запасные детали из МТС, так только старые, реставрированные. А эти новенькие, отливающие заводской синевой. Когда

я глянул на темно-красный, поблескивающий радиатор, у меня зашлось сердце.

...И вот он на моем тракторе.

Поглядел на своих женщин-косарей. Не женская это работа — без передыху, пока идет трактор, махать и махать вилами. Если бы только махать! Вот сейчас лобогрейки заскочили в лощину. Ячмень здесь высокий, да и травы много — целыми кулигами желтоголовая рогатка растет. Тяжело тетке Домне. Ей некогда даже разогнуть спину, без конца взмахивает вилами и все же не успевает сгребать к сбрасывателю скошенный ячмень. Трава забивает косу, наматывается на крылья — косарю некогда дух перевести.

Особенно достается Вере. Она какая-то неловкая: спешит, суетится, боится, что косу забьет трава, и чаще, чем надо, орудует вилами. Надо дать передохнуть ей, иначе свалится. Вот доберемся до конца поля, сделаю поворот — и пусть садится за руль, а я подменю ее. Но сейчас, пока идем по лощине, надо сбавить ход — переключить с третьей на вторую скорость. Конечно, нельзя косить на этой скорости, и трактор вполсилы работает, и перерасход горючего большой получается, да что — не уморить же моих женщин.

Переключаю. Со второй скорости рычаг выбивает на нейтральную. Пробую еще раз — та же история, а в коробке скоростей такой грохот и рычание, что хоть с трактора убегай. Включаю еще раз вторую и, чтобы не выбило рычаг, держу его рукой. Трактор идет медленней, косари благодарно поднимают головы. Теперь они наконец могут перевести дух. Тетка Домна, опустив черенок вил на колени, перевязывает платок. Вера расправила спину и весело помахала мне рукой.

Только ради этого стоило затевать всю эту канитель с переключением. Будь что будет — поведу трактор на второй до самого поворота, пусть отдохнут. Ох, нет на меня бригадира. Если бы увидел — распушил. Рычаг, как в лихорадке, дрожит в моей руке. И все же дотянул до поворота, выключил скорость и позвал Веру.

Та обрадованно соскочила на землю и, развязав платок, заспешила к трактору. Лицо красное, запотевшее, словно после бани, а глаза быстрые, прыгают в них колючие искорки. С такими глазами Вера обычно подходит к Шурке, и я тайно завидую ему. А сейчас она одарила и меня этим взглядом. Даже растерялся. Усадил ее на свое место и предложил трогать. Она так

резко отпустила сцепление, что трактор, рванувшись с места, чуть не порвал крепление жаток. Я захохотал. Тетка Домна, еле удержавшись на сиденье, закричала сердито на нас:

— Черти вас надирают! Убьете...

Трактор пошел ровно, нам было весело обоим. Ей весело оттого, что она управляет машиной, а мне — смотреть на нее.

Мы хохочем, просто так, без всякой причины. Это в нас рвется наружу молодость. Мне — пятнадцать. Вере — двадцать два. И хотя она мне кажется чуть ли не старухой (ведь между нами семь лет — это половина моей жизни!), мне почему-то сейчас хорошо и легко с ней. Я бы вот так ехал и ехал рядом.

Окрик тетки Домны заставляет меня соскочить на землю. Ведь Верина жатка осталась без косаря. Скошенный ячмень уже давно перехлестывает через сбрасыватель. Вот-вот остановится полотно косы. Но я успеваю. Прыгаю на сиденье, хватаю вилы и несколькими взмахами переправляю охапки ячменя к сбрасывателю. Тут же дергаю веревку, и копна сползает с лобогрейки на стерню. Теперь можно и не спешить.

Мы уже неделю косим ячмень. Вчера начали молотить и тут же отправили первое зерно государству. Из города пришла машина, загрузили ее мешками, и наш председатель сам повез хлеб на заготовительный пункт.

За зиму и весну люди так наголодались, что сейчас берегут каждое зерно пуще глаза. Еще не начинали косить ячмень, а из района приехала комиссия. Обмеряла все поле и определила, сколько должны собрать зерна.

В колхозе живет уполномоченный — однорукий капитан-артиллерист. Он так и ходит в военной форме, с погонами капитана. Прислал его наш райком партии, у него штатская должность — уполномоченный по хлебозаготовкам, а он не может расстаться с военной формой. А может, у него просто нет другой одежды?

Веселый, хороший дядька, он весь день торчит на току, помогая женщинам. То лихо крутит веялку, то ловко одной рукой, ухватив за узел, как рюкзаки, таскает мешки с зерном. Я поражался его силе и ловкости. Он даже попробовал одной рукой работать вилами.

— Мы тебя, Семен, в колхоз записываем, — шутят женщины. — Будешь над бабами командиром.

А чтобы не сбежал, женим. Невест хоть отбавляй — выбирай любую!

Капитан в широкой, щедрой улыбке обнажает крепкие красивые зубы, картинно одергивает выгоревшую гимнастерку и в тон шутке отвечает:

— Человек я государственный, как прикажет начальство, так и будет. Жениться так жениться. Мне не привыкать.

Трактор шел легко, жатки мы поставили на низкий срез. Будет больше соломы, но работать стало тяжелее. Теперь уже некогда смотреть на Веру, как она управляется с трактором.

Не разгибая спины, нужно сгребать и сгребать вилами скошенный ячмень. Становилось все жарче. Пот стекал из-под кепки уже не струйками, а лил так, что не успевал сохнуть. Кажется, чуть-чуть повеяло ветерком. Какое же это блаженство — прохлада! Сбрасываю кепку. Без нее немного легче. Авось не хватит меня еще раз. Это на тракторе я сижу почти без движения, а здесь, на лобогрейке, только успевай поворачиваться. Нет, это не ветерком потянуло, а Вера озорничает — прибавила газу, и трактор пошел быстрее. Тетка Домна может этого и не заметить, а меня не обманешь. Странный человек эта Верка. То она молчит, словно похоронила кого, а то как разойдется — не уймешь!

Живет Вера не в нашем поселке, а где-то в городе. В колхозе появилась месяц назад с Любой Добровой. С тех пор как у нас определились виды на урожай, в нашу бригаду пришли работники из города. Вряд ли они надеялись заработать хлеба, овощей или каких других продуктов. Даже мы, трактористы, которым была гарантирована оплата трудодня деньгами и хлебом, не особенно рассчитывали на это. И все-таки никто не ныл, не отлынивал от работы. Все объяснялось войной, все списывалось на нее же: и наш заработок, и скудный харч, и тяжелая — от зари до зари — работа, и то, что мы, мальчишки, по месяцу не бывали дома, и многие несуразности жизни. Ждали и не могли дождаться конца войны. Я был уверен, что, раз фрицев так турнули от Сталинграда, а сейчас в пух и прах размолотили под Белгородом и Курском, война обязательно окончится до Нового года. Теперь мы и без второго фронта расколошматим Гитлера.

Неужели придет время, когда люди смогут наесться вволю и не думать, что есть завтра? Неужели можно

будет работать не от зари до зари и иметь еще в каждое воскресенье выходной день? Даже смешно подумать! Главное, не приходили бы с фронта похоронки да нашлись бы те, от которых сейчас ни писем, ни извещений о смерти, как от моих отца и брата. Только бы скорее!.. Только бы скорей!.. А мы ничего, потерпим, мы выдюжим. Вот кончится война, а мы и тогда останемся такими. Нам только вволю наесться бы хлеба, даже не хлеба, а хотя бы картошки, но наесться так, чтобы не думать о еде сразу, когда просыпаешься, не думать о ней днем и вечером, когда закрываешь глаза и не можешь заснуть.

И еще одно. Самое главное. Только бы отец объявился да брат весть подал, а там, как говорит моя мать, мы бы и горюшко покатили. То, что нет квартиры и нам в зиму негде жить, так эта печаль не у одних нас. Да и до зимы еще ой как далеко!

Такие мысли часто одолевали меня в то жаркое лето сорок третьего, когда мы только-только перевалили половину войны. Если бы нам кто сказал тогда, что прошла только половина, мы не поверили бы. Поверить было никак невозможно. Люди не могли пережить еще столько, сколько они уже пережили. Не могли, у них не хватило бы сил.

Трактор рокотал тяжело, точно ему не хватало дыхания. Перед поворотом был небольшой подъем из той самой лощины, где подорвался на мине Васька. Там недалеко от дороги и до сих пор стоит заднее колесо его трактора со скрюченными спицами и сорванными шпорами. Через несколько дней после похорон Васьки мы с Мартынком отбуксировали его трактор на стан, а это изуродованное колесо так и осталось лежать здесь.

Недели через две, уже после того, как зазеленел ячмень, который сеял Васька, мы подняли это колесо и написали на нем: «Здесь погиб тракторист-комсомолец Василий Попов. 23 июня 1926 г. — 29 мая 1943 г.». Вырубили из железа большую пятиконечную звезду и приварили ее к колесу. Вот только не нашли краски покрасить звезду. Мы и надпись-то сделали нигролом. Бригадир обещал привезти краски из МТС, и тогда мы напишем другие, высокие слова. Я их уже придумал. Мы напишем, что на этом месте после войны будет сооружен памятник комсомольцу-трактористу, отдавшему свою светлую жизнь за свободу, счастье и независимость нашей Родины.

Слова мы напишем и памятник поставим, а вот Васьки Попова уже не будет никогда. И тетке Домне ничто не вернет сына. Только лишние слезы. На днях мы опять видели эти слезы. Влетел на своем велосипеде на стан бригадир. Лицо бледное, руки дрожат. Хотел закричать и не смог, только с каким-то простуженным хлипом раскрывал и закрывал старчески перекошенный рот. Потом поднял руку и, указав в сторону ячменного поля, прохрипел:

— Что вы натворили, разбойники, что натворили?!

Все не на шутку перепугались. Таким видели Василия Афанасьевича только раз, в день смерти Васьки. И я сразу понял, сорвался с места и кинулся в поле, к нашему колесу-памятнику. Рядом со мной бежал Шурка. Он испуганно шептал:

— Не надо было ставить это колесо, не надо было писать. Я знал, я боялся...

— Не ной! — крикнул я, но сам думал о том же и и ругал себя последними словами: мы поняли, что там что-то произошло. Но что? И бежали как угорелые.

...Тетка Домна потерянно сидела на траве. Рядом стояли женщины, тихо переговаривались. По всему было видно, что буря только что прошла. Женщины бросали короткие взгляды на безмолвную тетку Домну и ждали. А она сидела отрешенная, такая убитая горем и несчастная, что я весь похолодел. По тому, как безвольно были опущены ее руки, скорбно согнута спина, можно было догадаться, что у нее уже не осталось сил ни кричать, ни говорить, ни двигаться. Она лишь тяжело вздрагивала, как это бывает с детьми, которые долго плакали и теперь никак не могут успокоиться.

Женщины встретили нас недобро. Злая на язык тетка Мария даже прикрикнула:

— Зачем же казнить человека! Бессердечные... — Ненавистно посмотрела на колесо трактора и сердито повернулась к нам спиной.

Тетка Домна слышала эти слова. Она словно проснулась, тяжело поднялась на одно колено, потом, покачиваясь, встала на ноги. Когда мы со Славкой подбежали к ней, она отстраняюще провела рукой:

— Сама дойду... — постояла, сделала несколько нетвердых шагов к колесу и стала гладить уже взявшийся ржавчиной металл. — Вы, ребята, не убирайте его. Пусть стоит...

Хотела еще что-то сказать, но не смогла, только без-

звучно шевелила губами, превозмогая новый приступ отчаяния. Так и пошла от нас. Вслед пошли женщины. Они заговорили негромко, но все сразу.

Мы смотрели вслед подавленно, растерянно, не зная — убирать колесо или оставить, как сказала мать Васьки. Решили оставить все до вечера. Она уже больше сегодня сюда не вернется, а за ужином на общем бригадном совете порешим, как быть. Но еще днем к моему трактору подъехал на велосипеде Василий Афанасьевич.

— Вы эту штуку, — и он кивнул в сторону тракторного колеса, — не троньте. Домне Ивановне дал слово. Просила очень. — Постоял, поскреб своими негнущимися пальцами пепельную голову и добавил: — А памятник ваш — лишние слезы. Не надо было затевать. Но так уж неладно вышло... Уйти бы ей отсюда, чтоб не бередить сердце постоянно... Да разве от жизни уйдешь?..

А у Домны Ивановны еще двое малых детей, их на ноги ставить надо...

Я сижу на второй жатке и сбоку смотрю на тетку Домну. Лица не видно. Только щелка в платке для глаз. Ей ведь еще нет и сорока, а она уже старуха. Хотя и пережили мы нелегкую голодную зиму, а еще весной она была здоровой, крепкой женщиной. И вот что сделала с ней смерть мужа и сына. Только сила да злость до работы у Домны Ивановны не старушечьи. Если просижу еще круг без отдыха, то не выдержу, упаду, а она взмахивает и взмахивает перед собою вилами. Ровно, валок к валку, стелет за лобогрейкой скошенный ячмень.

Вера повернулась и одарила такой обжигающей улыбкой, что мне захотелось соскочить и бежать к трактору. Если бы не Домна Ивановна, я бы, наверно, так и сделал. Сколько же стоит улыбка человека! Вроде бы и жара не такой сумасшедшей стала. Сегодняшний день складывался хорошо, настолько хорошо, что мне следовало поостеречься, как бы он не окончился плохо. Уж я себя знаю. Стоит чуть-чуть больше меры чему-то порадоваться, как обязательно накличу беду. Мать всегда так и говорит: «Ой, что-то ты не к добру развеселился, плакать бы не пришлось». Так оно и выходило.

Но об этом я вспомнил только тогда, когда увидел, что прямо через поле мчит на велосипеде к моему трак-

тору Василий Афанасьевич. За ним во всю прыть бежит удивительно знакомый мне паренек.

Во мне все похолодело: я узнал своего брата Сергея. Что-то случилось, и видно, страшное, иначе бы бригадир не шпарил вот так напрямик, через посев. Руки у меня стали как свинец, все поплыло, и я словно стал отлетать от всего, что было рядом со мною: от Домны Ивановны, Веры, лобогрейки, трактора...

Сейчас Сергей крикнет такое, что уже не вернешь назад, свершится непоправимое. Пусть он бежит дольше и отдалит беду, пусть помолчит!.. Вера уже остановила трактор и поднялась с сиденья. Сошла на землю и Домна Ивановна, а я словно прирос, боюсь пошевелиться. Вот встану, увидит меня Сергей, крикнет — и померкнет день...

Сергей увидел меня, подпрыгнул, резко взмахнул рукой: «Отец, отец!..»

Он выкрикивал эти слова так, что у меня не оставалось сомнений — Сергей с доброй вестью, и я рванулся навстречу ему.

— Отец заезжал... Я видел его, я видел!.. — теперь уже задыхаясь, вопил брат.

— Он жив, ты видел?.. — тряс я его за плечи.

Сергей полыхнул бездонными счастливыми глазами.

— Видел, у него усы...

— Ой, какой же ты глупый, Сережка! За два года все забыл. У нашего отца всегда были усы.

— Нет, у него теперь настоящие, вот такие! — И брат смешно приложил палец к верхней губе. — Как у Чапаева.

Рядом Василий Афанасьевич. Лицо доброе, с хитрой ухмылкой.

— Вот видишь, Андрюха, живой! Говорил ведь: живой — значит, живой. Ты его еще и повидать сможешь. Садись на мой велосипед и кати на Красноармейск. Их эшелон через станцию Сарепта будет проходить, может, и увидишь. На, держи. — И он весело толкнул мне свой велосипед.

— Да расскажи ты, откуда и куда он едет, — взмолился я. — Где вы его видели?

— Папа из госпиталя, — заспешил Сергей. — Он искал нас целый день в городе. И только приехал — и сразу уезжать...

— А где он сейчас?

— Не пори горячку, — прикрикнул Василий Афа-

насьевич. — Гони на Красноармейск. Тебе там его и надо ловить.

У Василия Афанасьевича добрый велосипед — довоенный, пензенского завода. На таком можно хоть на край света. Бригадир никогда никому не давал эту «машину» (так уважительно он называл свой велосипед), а теперь вот расщедрился. Понимал, что́ для меня эта весть об отце. Уже вдогонку крикнул:

— Не напугай отца! Заскочи на стан, умойся и переоденься.

— Не-е... — махнул я рукой и с такой силой налег на педали, что «машина» бригадира сначала застонала, а потом зазвенела. Перед глазами задрожало горячее марево, и я, почти не касаясь седла, навис над рулем велосипеда.

...Только летит навстречу дорога да весело дрожит зыбкий горизонт впереди. Ощущение такое, словно парю над землей. Хотелось кричать на всю округу: «Люди, дорогие человеки! Мой отец жив! Вы понимаете, жив!»

Все в этом мире хорошо: и это оплавившееся от зноя небо, и эта пыльная дорога, и наше светло-серое поле скошенного ячменя, и то, что я птицей лечу к отцу, которого мы почти потеряли...

Такое может понять только тот, кто сам ждал и передумал всякое, кто ждал и боялся признаться себе: чем дольше он ждет, тем меньше надежд, кто разрывал сердце между двумя страхами — стремился хоть что-то разузнать о родном человеке и боялся услышать худую весть, потому что тогда померкнет солнце, не будет кого ждать и на что надеяться.

Нет, пока не заблудилось наше чупровское счастье. Я верю в добрую звезду нашей семьи. Раз объявился отец — значит, отыщется и брат. Домна Ивановна говорит моей матери: «Счастливая ты, Лукерья! Если есть кого ждать, то дождешься... А если нет в живых, то криком кричи — не дозовешься».

Говорит она с такой тоской и неподсудной людям завистью, что переворачивается все внутри.

...Выскочил к железнодорожному переезду. До станции оставалось не больше двух километров. Дорога шла через поселок. Свернул прямо на железнодорожные пути. Теперь если и пойдет эшелон, то увижу отца или он меня. Если, конечно, будет смотреть из вагона в мою сторону, если узнает меня, а я его, если поезд будет

идти медленно, если он вообще еще не прошел, если...

Сколько этих «если»?! Как же все в жизни запутанно и непрочно! Бьются как рыба об лед два человека, надрывают сердца, а может случиться так, что проскочат мимо друг друга и будут потом казнить себя всю жизнь за то, что были рядом и не повидались, не сказали друг другу нужных слов, не прижались, не помолчали несколько минуток вместе. Время такое, что может случиться всякое.

Я уже не ехал, я шел с велосипедом в руках, огибая вагоны, спотыкаясь, через рельсы и шпалы и думал только об одном: «Скорее бы добраться до станции! Скорее бы!..»

Во рту так пересохло, что не ворочается язык. Остановил солдат железнодорожной охраны и спросил, куда иду. Молча кивнул в сторону станции.

— Порядка не знаешь, по путям шляешься.

Наверно, он принял меня за железнодорожника. У этого спрашивать про эшелон отца бесполезно, нужно у сцепщиков, составителей или ремонтных рабочих. И тут же решаю: раз часовой принял меня за железнодорожника — буду говорить, что работаю на соседней станции Бекетовка. Все станции в городе разбомблены в пух и прах, а эта чудом уцелела. Скажу: ремонтирую паровозы. Правда, депо на станции нет, но ремонтные бригады имеются. Мои перепачканные в саже и масле штаны и рубаха тоже что-то значат. Когда проходил мимо часового, он даже посторонился.

Я уже был почти у здания станции — одноэтажной и еще, видно, дореволюционной кирпичной постройки, но, кроме изнывающих от жары одиноких часовых, так никого и не встретил. Где-то за станцией, на подъездных путях, лениво громыхали вагоны да посвистывал маневровый паровозик. Но людей не видно и там. Потоптался на месте, еще раз огляделся и направился через рельсы к зданию станции. Волоча за собою велосипед, я уже дважды поднырнул под вагонами и собирался поднырнуть еще под один эшелон, как меня вдруг ухватил за руку невесть откуда появившийся человек. Я волчком крутанулся и вырвался, но велосипед упал. Человек подхватил его с земли и ловким рывком перебросил за спину. Тут же попытался поймать меня. Я отскочил в надежде, что он погонится за мной, и тогда можно будет выручить велосипед. Но он не побежал, а, схватив велосипед, прокричал:

— Опять воровать, теперь уже на велосипеде. Я тебе покажу!..

— Чего? — опешил я. — Ты что, дядя?..

— Я те покажу «дядя», я те покажу, бандитская твоя рожа, ты у меня поворуешь!.. — И, выхватив дрожащей рукой из кармана свисток, начал ошалело свистеть.

Кажется, дело табак, я влип в какую-то дурную историю. По-хорошему надо давать стрекача. Но как быть с бригадирским велосипедом? Ведь не бросишь же его! А что, если кинуться и вырвать?! Передо мной стоял тщедушный старенький человек в замасленной железнодорожной форме. Он был ниже меня ростом, да и слабее. Наверное, он разгадал мое намерение, быстро отскочил с велосипедом на несколько шагов и с еще большим отчаянием стал дуть в милицейский свисток. Когда я пошел на него, он как-то растерянно и устало вынул свисток изо рта, немного посторонился, точно уступал мне дорогу.

Охота отнимать велосипед пропала. Просить, чтобы сам отдал, было противно, и я сказал:

— Вот так бы давно. Все равно никто не придет. Идем в комендатуру.

— Ничего, потерпи, сейчас явится охрана, сведу тебя под конвоем.

На призывные свистки железнодорожника, конечно, никто и не думал идти.

— Ладно, идем, — миролюбиво согласился наконец железнодорожник и полез под вагон.

Сейчас, когда он был под вагоном, мне ничего не стоило выдернуть у него из рук велосипед, сесть и спокойно уехать. Но как же тогда разыскать эшелон отца? И я полез за ним.

Моя покорность окончательно смягчила железнодорожника, и он спросил:

— Ты зачем сюда приехал?

— Воровать, — сердито ответил я.

— Не дури... Если я ошибся, то выясним... — Он обиженно помолчал и добавил: — Если кого с поездом ждешь, так и скажи. Одолели эти мешочники...

— У меня отец сегодня должен здесь проезжать... Он из госпиталя, на фронт... — Я чуть не задохнулся от обиды. Хотел сказать этому мужичонке, как я летел сюда, как спешил, но что ему до меня...

— Тогда извини, браток... И пошли шибче...

В залах станции на лавках, грязных узлах, мешках, чемоданах и прямо на цементном полу тесно сидели люди. Мой железнодорожник, ловко лавируя с велосипедом в руках, уже пересек зал и скрылся за дверью, где висела табличка: «Посторонним вход воспрещен».

Я толкнул дверь и оказался в крохотной комнате. Здесь было так же душно, как и в зале ожидания. За спинами людей, сгрудившимися вокруг стола, нельзя было различить хозяина комнаты. Видна лишь тулья его черной фуражки, да слышен басовитый голос:

— Не будет на Поворино поездов, не будет. Русским языком говорю. Прошу очистить помещение. Прошу...

Но никто не сдвинулся с места. Все заговорили сразу, нависнув над невидимым мне человеком, а он на все вопросы, крики, ругательства отвечал одно:

— Прошу очистить помещение. Прошу! Мне надо уходить, прошу...

Он поднялся и оказался почти на голову выше всех в комнате. Подталкивая в спины, дежурный стал теснить людей к двери. Я решил держаться ближе к своему велосипеду.

— Это еще что? — загремел над моей головой его скрипучий голос. — Обнаглел совсем народ. Скоро с телегами полезете. А ну марш отсюда со своим велосипедом! Живо!

— У него есть дело до тебя, Митрич, — загородил мне дорогу мужичонка-железнодорожник.

— Здесь у всех до меня дело, только у меня его нет, — отозвался сердито дежурный по станции, но не стал выталкивать меня из комнаты.

Когда мы остались втроем, он опустился на край стола и устало спросил:

— Ну что еще там?

— У него отец где-то здесь в эшелоне. Наверно, в триста пятьдесят четвертом.

— Триста пятьдесят четвертый час назад отправил, — равнодушно ответил дежурный и, осмотрев меня, спросил: — Ты почему такой грязный?

— А может, не ушел?.. — Чуть не сквозь слезы спросил я. — Может, еще здесь...

— Откуда ты узнал про отца? — теперь уже сердясь, спросил дежурный. — Кто тебе сказал?

— Отец. Он заезжал домой, а меня не было...

— Работаешь?.. У нас в ремонтниках?

— Не у вас, я из тракторной бригады Первомайского колхоза...

— Ого, — вдруг оживился дежурный, — а когда отец дома был?

— Наверное, утром, мне сообщили часа полтора назад, и я сразу сюда...

Дежурный больше не спрашивал. Он торопливо подошел к селектору и стал с кем-то говорить, называя номера эшелонов. Потом резко щелкнул выключателем, повернулся ко мне.

— Сейчас отправляется двести семнадцатый с четвертого пути. Может, он там? — И, глянув на моего спутника, добавил: — Семен Иванович, проводи. Только живей!

Мы кинулись из комнаты. В несколько отчаянных прыжков через узлы и чемоданы я пересек залы и, выбежав на перрон, метнулся под вагон стоявшего поезда. Семен Иванович проявил почти такую же прыть. Но он бежал экономнее, прямее, выбирая дорогу между эшелонами, ловко подныривал под брюхами цистерн.

— Вон тот! — крикнул он у меня над ухом, когда мы выскочили на четвертый путь. — Эхма!.. Уже отправление дали...

Прямо на нас, тяжело заскрипев сцепами вагонов, медленно двинулся поезд. Семен Иванович с неожиданной силой дернул меня за руку, и я чуть не кубарем скатился с насыпи. Мимо, набирая скорость, прошел паровоз, и тут же поплыли платформы с лесом, автомашинами. В кабинах солдаты, из-под колес автомашин торчали спины и головы мешочников, тех счастливцев, кому в последнюю минуту, уже на ходу поезда, удалось вскочить на платформы. Я всматривался в лица солдат, они возбужденно и весело смотрели по сторонам, что-то выкрикивали. В сравнении с моим отцом все они юнцы. Замелькали теплушки. В квадратах распахнутых дверей тоже сидели и стояли солдаты. Поезд убыстрял ход, и я уже не успевал разглядывать каждого.

— Как фамилия? — толкнул меня Семен Иванович.

— Кого? — не понял я.

— Отца.

— Чупров. Николай Степанович.

— Давай кричать. — И тут же, как только с нами поравнялся вагон, крикнул: «Чу-пров! Чу-пров!»

Теперь мы кричали вместе. Солдаты в теплушках

что-то отвечали нам, смеялись, махали пилотками, шутливо приглашали жестами к себе в вагоны.

И вдруг на наш крик в одном из вагонов от двери сразу метнулось несколько человек. Через мгновенье в проеме показалась фигура солдата, и он что-то закричал. Я рванулся вдоль насыпи за поездом. Солдат, перевалившись грудью через перекладину, перегораживающую дверь, отчаянно замахал рукой, потом сдернул с головы пилотку и стал размахивать ею. Я так и не разглядел лица солдата. Поезд шел в сторону запада, солнце светило прямо в глаза, да и расстояние такое, что уже нельзя было рассмотреть. Но почему-то я понял, что это отец, и бежал из последних сил за поездом, а солдат все дальше и дальше высовывался из проема двери. Я даже испугался, что вот сейчас он сорвется под откос насыпи. Теперь он только одной рукой удерживался за перекладину, повиснув всем телом над полотном железной дороги.

Мимо проскочили последние вагоны, а я все бежал и смотрел на повисшего над землей человека, боясь за него. Поезд поворачивал от меня, выгибаясь дугой, уже не видно этого солдата, оставалась только его размахивающая рука. Потом что-то полетело под насыпь, и я догадался — пилотка.

...Я хорошо заметил, где она упала, — сразу же за семафором, и все же искал долго, потому что вокруг рос густой бурьян.

Пилотка была новая, с зеленой звездочкой, с чистой подкладкой. Наверно, отец надевал ее всего несколько раз. Я нетерпеливо вывернул пилотку, ища в ней записку, прощупал всю пальцами и, не найдя ничего, стал искать бумажку в бурьяне.

Почему-то уверовал, что записка обязательно должна быть. Не мог он вот так уехать, не повидав меня, не оставив письма или записки. И я метался и шарил руками по пересохшему бурьяну, пока не услышал окрик Семена Ивановича:

— Что ищешь?

— Записку...

— Здесь надо искать. Далеко не могла улететь, — бойко сказал он и трусцой забегал вокруг меня, топча своими стоптанными сапогами ломкую, пыльную траву. — Сейчас мы ее найдем, сейчас. Ты не переживай! Видишь, все как обошлось — и подарок тебе от отца, и весточка.

Но уже через несколько минут, обежав вокруг меня несколько раз, спросил:

— А ты видел записку-то? Куда она летела?

— Если бы видел...

— А откуда знаешь, что она была?

— Должна быть. Раз пилотку бросил — значит, и записку тоже...

— Э-э-э, брат... — протянул Семен Иванович. — Тогда дохлое дело. Я думал, ты видел, и бегаю как заяц, а так что же...

Он посмотрел на меня такими же усталыми глазами, какими смотрел на перроне станции, когда я мог легко убежать от него, но не убежал. Глаза участливые, извиняющиеся и усталые. «Прости, не хотел я этого, но так получилось».

Я еще несколько минут побродил по бурьяну, прошелся дальше по ходу поезда, потом вернулся назад. Семен Иванович отошел к самой насыпи, к тропке, пробитой вдоль полотна дороги, и терпеливо ждал меня. Надо было идти, а я никак не мог оторваться от того места, где упала пилотка, еще и еще раз прочесывал пересохший, пыльный бурьян.

Наконец мы пошли к станции, а я все еще оглядывался в сторону семафора и ушедшего поезда, словно веря в чудо: вот он вырвется из-за поворота и примчит моего отца.

Я словно куда-то проваливался, испытывая странное светлое чувство неожиданной находки и такой же скорой утраты.

Мысль о том, что отец жив, что вот он только сейчас был здесь, рядом со мною, и в руках у меня его пилотка, теплая, живая частица отца, — эта мысль наполняла меня такой звонкой, неудержимой радостью, поднимала в такие выси, что я уже не мог спокойно идти, ноги бежали сами. А сознание того, что мы на какие-то минуты разминулись с отцом и их я потерял из-за этого нелепого случая с Семеном Ивановичем, делало меня бесконечно несчастным. Хотелось выть волком или бежать в сумасшедшем запале до следующей станции, догнать эшелон...

Если бы я не стоял в этой дурацкой дежурке или хотя бы раньше из нее вышел! Если бы не напоролся на этого разнесчастного Семена Ивановича! Если бы чуть раньше прибежал в поле Сергей, а я без расспро-

сов помчался на станцию, то встретил бы, обязательно встретил!.. Если бы!..

В эту ночь я впервые за многие месяцы ночевал дома. Сидели с матерью и братом и говорили, говорили об отце. Проговорили с вечера до раннего летнего рассвета. Только на часок смежил я глаза, и то не хотел, а как-то вышло нечаянно. Мать разбудила меня. Надо было ехать в бригаду, начинался новый день, день радостный, не такой, как вчера, как месяц, как полгода, как год назад.

Я вскочил, и вместе со мною проснулось: «Отец жив! Отец был в этой комнате, сидел на моей постели. Вот его пилотка». Она так и лежала на моей койке. А на столе, завернутая в белую тряпицу, буханка хлеба, две банки тушенки, куски сахара, настоящего сахара, а не сахарина! А вон там, в темном углу, на сундуке в тугом свертке пара желтого бязевого белья. «Теперь тебе, Андрюха, будет на зиму белье», — еще звенят в моих ушах слова счастливой матери.

«Все это от него, все его! — кричат его вещи из каждого угла комнаты. — Он жив. Он есть, наш отец, все это от него». Все наши страхи позади. Зря мы боялись за него. Надо было просто ждать. Мы ждали, и он явился. Целый год не было вестей от человека с войны, а потом он вдруг является сам. Это как с того света...

— Возьму карточку, — шепчу матери, чтобы не разбудить Сергея.

Он тоже сидел с нами весь вечер и ночь и уснул уже, наверное, после меня. Беру со стола маленькую, в пол-ладони, любительскую фотографию, где отец снят с каким-то солдатом. Оба в телогрейках, шапках-ушанках, почерневшие, небритые. Видно, снимались зимой или осенью, а может, и этой весной. Мать даже не успела спросить. Когда перед уходом отец выгребал все свои скудные сержантские деньги, чтобы оставить их нам, наткнулся на эту фотографию и положил ее на стол.

— Я даже не глянула на нее, — рассказывала мать, — и на те деньги, а смотрела на него, а он просил не провожать его, а Сережке приказал бежать к тебе в бригаду. Вижу, сердце у него разрывается. И Сергея-то он не хочет отпускать раньше, чем уйдет из дому, и тебя-то надо как-то известить. Прямо лицом весь меняется, а потом прижал Сережку и тут же от-

толкнул, даже под зад ладонью его, как раньше, шлепнул:

— Беги, Серенький, беги... Одна нога здесь, другая — там.

Еще немного побыл и стал прощаться. Не пускает меня провожать. Кричит. Такой же, как и был, скаженный. А я пошла. До самой шоссейки за ним. Чуть не запалил меня. Ходит он, как и раньше, как машина. Только и постояли по-человечески на шоссейке, когда ждали попутную машину. Стоял и все рассказывал, как его ранило, как по госпиталям, как нас разыскивал. Машин, на наше счастье, долго не было, а он все рассказывал и не спешил. Когда я заволновалась, что долго нет машины, он засмеялся и пошутил: «Туда всегда успею...»

А потом шел какой-то здоровенный, как вагон, грузовик. Остановил его отец, залез в кузов; а когда я полезла за ним, отцепил мои руки и крикнул шоферу. Дернул так, чуть не упала. Скаженный человек! Сколько живу с ним — и всегда не по-людски у него все, даже проститься не дал. Скаженный...

Мать говорила без умолку. Она рассказывала эпизод за эпизодом, несколько раз повторяла одно и то же, легко бранила отца. И эта беззлобная брань ей доставляла удовольствие. Ругая отца, она, видимо, возвращала себя в ту довоенную, мирную домашнюю обстановку, когда можно было вот так по делу или без дела пожурить отца, а он пропустит ее незлые слова мимо ушей. И все будет идти так же своим чередом, как и шло. Но мать в этом облегчала душу, выговаривалась, показывала, что она хозяйка в доме. А отец каким был, таким и остался, — слушает ее брань с легкой, доброй усмешкой. «Наша мать сегодня сердитая, — заговорщицки подмигнет он нам, детям, — давайте помолчим». Но молчал до тех пор, пока мать не переступала, а если она увлекается и переступает, то он становится скаженным, и тогда уже надо было умолкнуть матери. Так и шла согласная довоенная жизнь моих родителей, и мать не знала ничего лучше этой жизни и, наверно, ничего другого не хотела желать и теперь, хотя бы в этом рассказе об отце, пыталась вернуть себя в ту самую жизнь, в которой «все не по-людски», «все не как у других».

Рассказывая, мать не отделяла себя от отца, а мне хотелось знать больше о нем, как он выглядит, во что

одет, что говорил. Она односложно и с легким раздражением отвечала на мои вопросы.

— Да как? Худой сильно. А так ничего.

— Постарел?

— Нет, только усы другие.

А я смотрел на фотографию, и отец мне казался страшно постаревшим, просто стариком. Может быть, из-за усов этих? И совсем не чапаевских. Усы устало свисали вниз, и отцу, видно, было не до них.

— Да как же он может быть одет? — удивлялась мать. — Как все солдаты. Гимнастерка, галифе. Все новое. «Если, — говорит, — новое, то, значит, опять на фронт». Да и куда же их еще, сердечных...

На фотографии отец был без погон, они появились в армии недавно, после Сталинграда. «Значит, фотографировался осенью», — отметил я.

— А какие у него погоны?

— А бес их знает! Вон Сережка пусть скажет. Какие-то там лычки у него есть.

— Я же говорил, — отозвался Сергей, — он сержант, у него три красные нашивки.

— А обувь?

— В сапогах. Такие добрые сапоги. Тебе такие бы на осень...

И мать вновь начала беззлобно поругивать отца.

— Ведь он такой же — простая душа. Другие после госпиталя как-то пристраиваются, а он опять в это пекло. Ну да ладно, не знал, что мы живы, писал письма, а они пропадали. Так можно было после госпиталя приехать и поискать нас. Отпуск ему на выздоровление был, а он не взял.

На столе коптила семилинейная лампа без стекла. Мы два раза поужинали. Как только я приехал домой, мать сварила жидкий кулеш из пшена и заправила его тушенкой, а потом уже поздно вечером пили чай с отцовским сахаром и хлебом. Сергей с осоловелыми глазами сидел на койке и, как и я, завороженно слушал мать. Иногда он поправлял ее. «Нет, он сначала сказал, что Гитлеру скоро крышка, а потом уже — войны еще надолго хватит. Ты забыла, а я помню».

Меня тоже немного удивляли рассуждения матери. Почему она запомнила одно и не говорит о другом? Я начинал спорить с ней, а она злилась и сердито отвечала.

— Глупый ты, посмотри, куда враг зашел? Только

от Харькова да с Кавказа погнали его. А еще Украина, Белоруссия. Это если только пешком идти, и то сколько времени надо? А ведь его выбивать надо...

«Ну что с ней спорить, и что она, женщина, в военном деле понимает?» — думал я и переводил разговор на другое. И все же в этот вечер и ночь я об отце узнал все, что он успел рассказать о себе матери и Сергею.

Отец был ранен еще осенью сорок второго где-то на Кавказе. («Назвал какой-то город, да я не запомнила», — обронила мать.) Лежал в госпитале в Махачкале, в Баку, долечивался уже весной в Красноводске. Как только закончились бои в Сталинграде, стал писать письма по старому нашему адресу. Ответа не было. Потом писал на райисполком, горвоенкомат, куда только не обращался. Как выздоравливающего, которому некуда было ехать в отпуск, определили отца в какую-то команду возить из Средней Азии на фронт пополнение в части. Других, у кого были семьи, отправляли долечиваться домой на месяц, два, а то и три, а отец попал в эту команду.

Раза два съездил с солдатами куда-то за Воронеж, и вот теперь уже ехал сам на фронт с воинской частью.

Говорили отец с матерью и о Викторе. У отца с ним прервалась связь примерно тогда же, когда и у нас, — в мае сорок второго. «Он где-то на Харьковском направлении потерялся. — Мать грустно умолкла, подвернула в лампе сгоревший фитиль, стряхнула с него нагар и тихо добавила: — Там где-то и Витя наш... Может, и живой, как отец, да не добьется до нас никак».

Ночь за окном уже побелела, а мать так и не гасила лампу. Она, конечно, и не спала. Подштопала мою трактористскую робу. (Хотела еще с вечера постирать ее, да я не дал. Зачем? К вечеру такая же будет!)

Сейчас она суетливо собирала мне харчи. Положила в сумку добрый кусок хлеба, немного сахару, помидоры, огурцы, где-то достала два яблока. Покончив с харчами, отрезала суровой ниткой от бруска кусочек мыла.

— Возьми, хоть умоешься как следует. Ходите вы там чумазые...

Первое, чем она вчера похвалилась из гостинцев отца, были два куска настоящего хозяйственного мыла. Мыло не базарное, черт знает из чего сваренное, а государственное, со штампом завода.

Я незаметно для матери вытащил из сумки яблоки и сунул их под подушку Сергею. Он спал на боку, со-

гнувшись калачиком, сунув свои ладошки меж колен. Посмотрел на его темные, без румянца щеки, жесткий вихор волос, зализанных набок со лба, и вспомнил слова той одинокой старушки Матвеевны, которая нас приютила в своем доме прошлой зимой, когда мы перебрались из Гавриловки в Бекетовку. Утром будила нас мать, чтобы послать за водой, добыть дров или разжиться у солдат какой-либо едой, Матвеевна протяжно и чуть-чуть извиняюще говорила матери:

— Не замай их, Лукерья. Пусть ребята понежатся, покуда не на войну.

В нашем доме и сейчас эта присказка в ходу. Если Юля поднялась раньше Андрея с постели, то она говорит:

— Не замайте его, пусть понежится, покуда не на войну.

Только мы с мамой знаем, что это слова Матвеевны, а они уже слышали их от нас.

Ранней весной, еще до моего выезда в поле, мы съехали от Матвеевны в этот полуразбитый, брошенный дом, а она через несколько недель умерла. Как рассказывала мне мать, умерла с голоду, а когда пришли ее хоронить какие-то дальние родственники или знакомые, то в сундуке, среди тряпья нашли не то тридцать, не то сорок стаканов пшена. Целое состояние, на месяц пропитания нашей семье. А Матвеевна экономила, берегла на черный день и не заметила, как он пришел. Она была нежадной, она просто экономила.

Осторожно отхожу от спящего Сергея и шутливо говорю матери:

— Не замай его. Пусть понежится, покуда не на войну.

Мать грустно улыбается. Потом провожает меня до калитки и там спрашивает:

— Ну что слышно? Дадут вам хоть немного хлеба?

Я пожимаю плечами.

— Обещают. — И для большей убедительности добавляю: — Из МТС механик был. Говорит, дадут. Обязательно.

— Ой, — вздыхает мать, — хотя б немножко дали, а то как же в зиму!.. Бабы вон в подолах зерно носят...

Я ничего не ответил, только сердито метнул в нее взглядом.

— Да я ничего, — повинилась она. — Я это так... Они носят, и пусть их, а нам дадут...

Когда выбираюсь за поселок, уже светлеет. Небо мертвое, без облаков. Опять будет жаркий день.

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

Наша семья едет на юг, к морю. Этой поездки ребята ждали давно. Все наконец решилось, и у нас уже были билеты на поезд (целое купе!). Несколько дней в нашем доме царила та бестолковая предотъездная суета, которая оканчивается, лишь когда люди на минуту присаживаются перед дорогой.

Поездка к морю радовала не только ребят. Сбывалась и моя давняя мечта — на обратном пути мы решили побывать в тех краях, где прошла моя рабочая юность, встретиться с Гришей Завгородневым и другими моими товарищами.

Ребята подросли, и я мог показать им те сталинградские поля, где тридцать лет назад гремела война. Гриша Завгороднев, отец четверых сыновей, давно уже звал меня к себе в совхоз «хоть на недельку». И вот теперь все решалось одним махом. После юга заглянем к Завгородневым на несколько деньков. Мы знали, что такая поездка может состояться только сейчас. На будущий год Андрей оканчивает десятый класс, а там... надо ему определять свою судьбу. И при любом исходе — будет ли он учиться дальше или работать — с нами вряд ли поедет.

Он и сейчас считает себя настолько взрослым, что стыдится на людях быть с родителями. А вдруг подумают, что он маменькин сынок, что он под родительским крылом? То же я наблюдаю и у друзей Андрея. У всех почти болезненное желание вырваться из-под родительской опеки, поскорее стать взрослым.

...Мы едем через полстраны. Ребята второй день смотрят в окно. И кажется, нет конца и края этим лесам и перелескам, зеленым, желтым и темным полям, иссеченным лентами рек и речушек, скошенным и нескошенным хлебам, свежевспаханным под новый урожай нивам. Не будет конца стремительно проносящимся деревням и пристанционным поселкам, бесконечной паутине проводов, опутавших землю.

Как же велика наша Родина! С тех пор как я впервые в сорок восьмом проехал поездом от Волгограда до Москвы, не перестаю удивляться нашим захватывающим дух расстояниям. Еду ли на машине, в поезде, ле-

чу ли на самолете — всегда думаю: а ведь это только часть нашей Родины.

...Вторые сутки за окном бегут и бегут леса, поля, перелески и опять поля без конца и края, города, поселки, деревни, вновь поля до самого горизонта, и не счесть их числа.

В каждом городе на крупных станциях мы выскакиваем из вагона и носимся по перрону, вокзалу, а если есть время, то выбегаем на площадь... Даже если поезд останавливается на три-пять минут, все равно выбегаем. У нас такая игра: раз ты ступил на землю, то можешь сказать: «Я был в таком-то городе, я был на такой-то станции». В нашем дневнике путешествий ведем строгий учет: кто за поездку больше «посетил» городов, станций, тот больше набрал очков.

Все вокруг необыкновенно, ново, волнующе. Когда поезд громыхает по рельсам, ребят не сгонишь с верхних полок. Даже еду им надо подавать туда.

Но сегодня они уже заметно пресытились впечатлениями. Не на всех остановках выходят из вагона, ленивее смотрят на пейзажи за окном. Андрей достал из чемодана ласты, маску и трубку. Примеряя маску и ласты, он сокрушается, что у него нет ружья и ластов, какие надевают на руки.

— Чего? — спрашивает Юля. — А разве такие бывают?

— Бывают, — Андрей смотрит на нее как на человека, бесконечно отсталого, — я у одного мальчишки видел. Такие, знаешь, резиновые перчатки, а между пальцами перепонки, как у лягушек или гусей.

Я уже и не знаю, верить ли ему или нет. Как говорит моя мать, он и соврет, недорого возьмет. Но почему бы не быть и таким ластам? От своего сына я узнаю много «чудес». То он рассказывает о летающих собаках, то о туше мамонта, который пролежал в вечной мерзлоте тысячи лет, а потом пошел на бифштексы и шашлыки, то об остатках гигантских космодромов наших предков, какие нашли люди где-то в Южной Америке, то еще о каких-то диковинах.

Придумали новую игру — «Отгадай-ка». Проезжаем мы мимо перелесков, полей, и ребята должны отгадать, какие деревья растут в этой роще, какую траву они видят у полотна железной дороги.

Но игра идет трудно. Березу, ель, сосну они еще знают, а дальше уже начинают путать ольху с осиной,

вербу с акацией, дуб с карагачем. С травами еще хуже. Знают две-три травы — крапиву (и то, наверно, потому, что обжигались), лебеду да подорожник. Попытался выяснить, какие они знают зерновые хлебные культуры. Назвали пшеницу, рис и гречку. Думали, думали и добавили кукурузу. А после того как Андрей стал причислять к зерновым пшено и перловку, игра наша совсем расстроилась.

Было грустно и немного стыдно, что мои дети не знают, как растет хлеб. И страшное не в том, что они не знают (живя в городе, на асфальте, этого не узнаешь!), а в том, что у них нет желания узнать. Когда я им говорю, что вот это пшеничное поле, а это косят ячмень, а вон на том поле растет просо, они скучают...

Дети наши слишком быстро растут. У них все больше своих тайн, своих мыслей. И мне все трудней прорываться в их мир. И хотя есть пока еще и у тебя личная жизнь и заботы, тебе почему-то все трудней и трудней отрывать ее от жизни детей. Видно, и со мной происходит то извечное, что случается со всеми родителями во все времена, — уходят сыновья. Уходят с каждым днем все дальше, и их не остановишь, не удержишь подле себя. Да и надо ли удерживать? Конечно, нет. А все-таки грустно.

Рано утром будет море. Не проспать бы. Помню, какое впечатление оно произвело на меня впервые. Я будто шагнул в сказку, хотя уже давно вырос из того возраста, чтобы верить в сказки.

Море заколдовало меня, но и оно само было кем-то заколдовано, оно замерло. Солнце только поднималось из-за гор, простор такой, что перехватило дыхание. Я впервые не увидел горизонта, потому что не мог определить, где кончается море, а где начинается небо — такое же лазурно-голубое, схваченное легкой утренней дымкой. Деревья и вся зелень тоже были из сказки. Я еще никогда не видел сплошной зеленой стены. Она поднималась от подножия горы, где шел наш поезд, и тянулась в самое небо. Все необычно, как в настоящей сказке. Мне было двадцать пять.

Какое же впечатление произведет море на моих детей? Я готов заново вместе с ними пережить волшебство моря, бескрайнего неба и яркой зелени.

...Нет, я не проспал моря. Меня словно кто-то толкнул, и я, вскочив с постели, припал к окну. Поезд только что вынырнул из тоннеля и загромыхал в десятках мет-

ров от воды. Все будто повторилось. Гигантское присмиревшее чудовище сонно лизало камни, легко покачивая на своей спине неторопливые сейнеры, юркие прогулочные пароходики да одинокие лодки рыбаков.

Опускаю окно и осторожно бужу ребят.

— Смотрите, море. Ну вот оно, смотрите!

Юля испуганно открывает глаза, с минуту молча глядит в окно, а потом кладет голову на подушку и закрывает веки. Она еще спит, но уже увидела море и сейчас проснется. Берусь за Андрея. Тот, как всегда, отбивается и тянет простыню на голову. Наконец и он открывает глаза. Сердито смотрит.

— Ну и что, море, море...

— Да ты погляди.

— Море как море. Чего глядеть.

— Как что? Ты же первый раз видишь море?

— Я уже видел...

— Где?

— Не знаю, но видел... Я спать хочу...

— Да ты что, Андрей? Разве можно спать?

— Можно... Я спать хочу, а море — это когда много воды, а напиться нельзя.

Я повернулся к дочери. Она все в той же позе — щека на подушке, глаза удивленно раскрыты, на лице тихая улыбка.

— Поднимайтесь! А теперь глядите сюда.

И я распахнул дверь купе.

— Посмотрю еще на море... — чуть слышно прошептала Юля. — Оно не такое...

— Почему не такое?

— Не такое... другое.

— Не такое. Не выдумывай, — прервал ее Андрей.— Обычное море... — Он глянул в открытую дверь и замер, пораженный. Сразу забыл, что разыгрывал всезнающего. На стену сплошной зелени смотрит теми же глазами, что и Юля на море.

«Ага! — тепло колыхнулось у меня в груди. — Зацепило и тебя, зазнайку!»

Поезд шел медленно, словно те, от которых это зависело, знали, что сейчас из его окон сотни глаз любуются дымчатой голубизной вечного моря и столь же вечной изумрудной зеленью гор. Здесь были древние греки, римляне, а до них и после них эти воды бороздили парусники других народов и государств. Эти горы за прошумевшие над нами тысячелетия видели столько,

что можно написать тома, но в жизни гор тысячи лет всего лишь миг, потому что их возраст исчисляется миллионами.

— Вы знаете, ребята, что именно к этим берегам на своих кораблях ходили аргонавты за золотым руном?

— Они ходили южнее, — невозмутимо заметил Андрей. — Колхида была примерно на территории нынешней Абхазии.

— А что такое руно? — спросила Юля.

— Руно — это овечья шерсть, — начал объяснять я. — А золотой ее называли потому, что она была высокого качества и, может быть, даже золотистого цвета. А вообще это легенда. Очень красивая легенда, Ты узнаешь о ней в школе.

— И совсем это не легенда, — возразил Андрей. — И аргонавты ходили в Колхиду не за шерстью, а за золотом. Я читал недавно в журнале. Один ученый, кажется из Грузии, установил это. В древней Колхиде была река, а на берегах ее много золота. И промывали это золото тогда таким способом. Песок сыпали на шкуру барана и промывали ее водой, а в шерсти застревали крупинки золота, поэтому ее и называли золотым руном.

— Вы смотрите, ребята, красота какая! — показал я на море, когда из-за гор на его сонную зыбь брызнули лучи солнца. — Посмотрите, какая красота!

Андрей как можно равнодушнее глянул в окно и сделал нарочито кислую гримасу.

Леший его знает, откуда это у них?! Откуда этот скепсис? Может, я слишком опекаю своих детей? Наглухо отгородил их от житейских забот о хлебе насущном, и они не знают истинной цены человеческого труда, подлинной меры чувств, не улавливают всех запахов жизни? Мысли о сегодняшних мальчишках, отцовские тревоги опять возвращают меня к дням юности.

Не знаю, смогут ли испытать мои дети радость, какую пережил я в их годы? Она в моей памяти осталась как особое, ни с чем не сравнимое чувство. Я не хочу этим сказать, что позже не было большей радости или чувства сильнее. Было. А вот такой звонкой, светлой, беззаботной и, как летнее утро, чистой, не было. Видно, правду говорят, каждому времени — свои песни.

В мелькнувших днях и мгновеньях юности мне боль-

ше всего жалко моей детской наивности, этой родниковой чистоты взгляда на вещи и людей, от которых при воспоминании и сейчас теплеет на душе.

Это чувство я пережил в ноябрьский день сорок третьего, когда председатель колхоза, наш дорогой Дед, устроил для бригады обещанный Праздник урожая. И хотя был осенний, дождливый, холодный день, запомнился он мне как светлый и теплый. Даже монотонный дождь был теплый, а низкое, хмурое небо, казалось, улыбалось разводьями туч.

Наш бригадный полевой год закончился. И хотя еще продолжали пахать зябь (а заканчивали мы ее обычно уже по замерзшей земле; так было всю войну, да и после войны!), все знали — год позади. Колхоз выдал нам аванс по тридцать граммов проса на трудодень. На свои пятьсот сорок трудодней я получил семьдесят килограммов и двести граммов зерна.

— Если истолочь все просо в ступе, то выйдет килограммов пятьдесят пшена, — рассуждала мать. И дальше вела расчет уже не в килограммах, а в стаканах — базарной мере военного времени. — Будет стаканов двести пятьдесят, а то и больше. Если базарных, то и все триста.

— Будем считать настоящих, — вмешался я в подсчеты, — пять стаканов в килограмме — это двести пятьдесят. По два стакана в день на каждого надо?

— Надо... — растерянно ответила мать, видно подсчитав уже все до конца.

— А у нас еще тыква есть, — попытался ободрить я ее. — Кашу можно с тыквой варить.

— Конечно... У нас семь тыкв, да еще те две, маленькие...

— Потом отруби,—поспешил напомнить я,—они тоже в дело. А их пуд добрый будет.

— Немного есть соленых помидоров, огурцов, — вздохнула мать. — Вот картошкой не разжились...

Весной во дворе того разбитого дома, где мы жили, мать сажала овощи, семена которых достала. У нас росли помидоры, огурцы, капуста, свекла, даже тыквы, а картофеля не было. Весной сорок третьего во всем Сталинграде и близлежащих хуторах его нельзя было найти и на семена.

...Как ни считали, как ни рядили, а заработанного мною зерна еле хватало до февраля. А что тогда?

— Ничего. Как всем, так и нам, — ответила мать

моим мыслям. — Вам, трактористам, хоть по стольку дали, а другие и этого не получили. — И опять начинала успокаивать и меня и себя: — Председатель говорит, ссуда колхозу должна быть. Раз хлеб государству колхоз сдал — значит, выдадут.

Забегая вперед, скажу — ссуду колхоз получил лишь весной сорок четвертого, когда бригада выехала в поле. Это было зерно на семена, а уж из него мы выкраивали себе на бригадную кашу.

А военная зима сорок третьего — сорок четвертого года была в два раза голоднее, чем в то время, когда в Сталинграде шли бои. По крайней мере, для нашей семьи. В ту осадную осень и зиму мы кормились у солдат. В армейской кухне всегда находился для нас, пацанов, котелок супа или каши. Да и мать, глядишь, постирает военным бельишко, а они дадут ей то буханку хлеба, то немного сахару или концентратов. А в эту зиму военных почти не было в Сталинграде. Им просто негде было жить, и нам приходилось ой как трудно!

Праздник наш начался в середине дня. Когда вошли в правление колхоза, зарябило в глазах. Накрытые столы пылали винегретами.

Военный винегрет — удивительное кушанье. Его готовили из всех овощей, какие только были в доме: из картошки, капусты, огурцов, помидоров, лука... Всю эту овощную палитру венчала вареная свекла.

На столе морс, брага.

— Не вижу духового оркестра! — шутливо выкрикнула еще с порога Валя Кохно. — Николай Иванович, комсомол помнит ваше обещание...

— Валюша, дорогая, помню и я, — необычно громко ответил Дед. — Погоди трошки, Гитлера еще до конца не расхлестали. Но кой-что есть... — Он хитровато сощурил свои колючие глаза и еще раз, уже для всех, повторил: — Кой-что есть.

Дед прошелся вдоль стола, за которым рассаживались гости, нырнул в соседнюю комнату и тут же каким-то обновленным появился оттуда. Степенный, с выражением смешного торжества на лице прошел к своему месту за столом и сейчас же в соседней комнате неожиданно грянула гармонь, и ей жалобно стала вторить скрипка. Дед просиял, выжидающе вскинул вверх голову и чуть прикрыл глаза. Через минуту в нашу комнату внесли сидевшего на стуле безногого гармониста. А за ним вошел худенький, болезненный мальчик лет трина-

дцати, со скрипкой. Гармониста несли, а он продолжал играть, заглушая свою не очень звонкую гармонь выкриками:

Из сотен тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину — огонь, огонь!

Его поднесли прямо к столу, где сидели Дед и Василий Афанасьевич.

— Молодец, Иван... — похвалил его, как ребенка, Дед, даже дотронулся рукой до крупной лысеющей головы гармониста.

У председателя была странная привычка гладить по голове взрослых, как детей.

Мальчик со скрипкой стоял здесь же, за спиной у гармониста. Долговязый, с длинными руками и такими же пальцами-спичками, он растерянно оглядывал комнату, немножко щурясь, точно шагнул из темноты на свет. Меня поразили его глаза, васильково-голубые, чуть испуганные, но глубокие и прозрачные.

Чуть позже я заметил, что те же глаза и у гармониста. Мальчик — его сын. Ничего, кроме этих родниковых глаз, в них не было схожего. Гармонист удивительно напоминал краба. Лобастый, с большими залысинами, красный от выпитой браги, он обнимал своими руками-клешнями гармонь.

Мальчик был застенчивый, скромный. Смущение и скованность не давали ему попасть в такт игры гармонисту. Он то нервно бил смычком по струнам скрипки, то замирал, ожидая нужной паузы, чтобы вступить в игру. Отец не обращал никакого внимания на игру сына. Он смотрел только на Деда.

Тот чуть приметно кивнул ему головой, и Иван резко оборвал игру. Скрипка запоздало пиликнула и тоже смолкла.

Дед поднялся, расслабленно постукивая вилкой по графину. Не дождавшись, пока все затихнут, начал.

— Я уже старый человек — седьмой десяток топчу траву. Если по-хорошему — давно надо на покой. Всякое было в моей жизни, и всякое я видел. Но такого... — Он повысил голос и как будто подтянулся на носках, чтобы лучше всех видеть. — Но такого в моей жизни еще не было. Запомните этот день. Он не такой, как все. Сегодня еще раз родился наш колхоз. Гитлер порушил его, все разорил, сжег, а мы с вами опять встали из

мертвых. Мы не только подняли наше хозяйство, мы дали родной Красной Армии хлеб. Это понять надо...

Дед умолк, подняв лицо кверху, словно хотел что-то прочесть на потолке. Он так долго молчал, судорожно подрагивая худым, поросшим щетиной кадыком, что за столом начали шептаться. Но вот серебряный клин его бороды опять уперся в тощую и плоскую грудь:

— Да, дорогие мои, это понять надо. Что было и что теперь есть... — И опять пауза. А потом уже громче: — Я бы еще сказал, да слишком грудь давит... Поднимем вот эти стаканы и закусим чем бог послал. Не бог! — вдруг крикнул он с уже высоко поднятым над столом стаканом. — Не бог! Это только поговорка такая у русского человека, а добились мы сами, этими руками.

Иван грянул все тот же марш и выпалил:

Из сотен тысяч батарей...

Стол взорвался ответным гулом, зазвенели стаканы. Глухо застучали алюминиевые ложки, а поверх этого гула и выкриков плыл басок Деда:

— Ешьте, дорогие, закусывайте, уважьте. Там еще будет горячее, — и он кивал на дверь в другую комнату, — бабы приготовили.

Было смешно, зачем Дед без конца повторяет свои нелепые приглашения уважить его, закусывать. Ели все и без его приглашения, а председатель все суетливо бегал меж рядами и приглашал:

— Уважьте. Ешьте на здоровье...

Стало необыкновенно уютно и тепло. Кто-то невидимый и добрый приглушил голоса и в то же время придвинул ко мне этих людей. Комната стала меньше, люди улыбчивее, добрее. Теперь они с полуслова понимали меня, и я понимал их. Можно было даже не говорить, а только улыбаться. Вот так, как я улыбнулся Вере Харламовой, а она ответила мне той же всепонимающей улыбкой. Только чуть растянула бантик пухлых губ да сверкнула очами. И все.

Вера сидела почти напротив меня, рядом с Шуркой. Она раскраснелась, точно снизу, со стола подсвечивал ее лицо огонь винегрета и ярко-красного морса. Славка больно толкнул меня в бок:

— Чего пялишь глаза?

— Не пялю, просто смотрю.

— Только смотри в оба... — громко хохотнул он.

Вера слышала его слова, но не обиделась, а засмея-

лась. Шурка тоже засмеялся, и мне от этого глупого смеха стало светло и так беспричинно весело, что мой смех на минуту заглушил все другие голоса.

Теперь в торце стола на Дедовом месте стоял Василий Афанасьевич. Он стучал ложкой, вымазанной в простокваше, по графину, а Дед опять пошел вдоль стола, нагибаясь к каждому. Слов Деда не слышно, но он что-то говорил, тычась клином бороды то в плечо, то в грудь собеседнику, а потом гладил его по голове и переходил к другому.

И опять толкнул меня Славка:

— Слушай ты, Василий Афанасьевич про Ваську и Халима говорит.

Я повернулся к бригадиру.

— ...И Халима Викулова тоже помянем... не дожили они до сегодня. И за Василия Данилыча, и за отца его Данилу Попова, что на войне...

Он постоял минуту молча, и все вдруг затихли, даже перестали жевать и греметь ложками, а потом хрипло добавил:

— Давайте, прошу...

Все ответили ему приглушенным говорком, даже шепотом, и тут же короткий сдавленный всхлип тетки Домны. Она поднялась из-за стола и метнулась в соседнюю комнату. Вслед поспешно вышли две женщины. Мне стало так невыносимо, что я перестал есть, сидел затаившись, прислушиваясь к себе. Боялся, вот-вот расплачусь, как тогда, в степи, когда вдруг понял, что Васьки уже нет.

А потом мы стояли на веранде. Падал мокрый снег. Я был в рубахе, в любимой, единственной батистовой рубахе в бледно-голубую полоску, и совсем не чувствовал холода. Стояли вчетвером: Гриша, Шурка, Славка и я. Курили Гришин табак и, как взрослые, не спеша вели серьезную мужскую беседу. Славка, выпуская дым через нос, как это делал иногда Василий Афанасьевич, и мягко постукивая пальцем по кончику цигарки, говорил:

— Если снег ляжет на мокрую незамерзшую землю, то можно ждать хорошего урожая. — И тут же со вздохом добавлял: — Жаль, что у нас озимых мало...

— Теперь зябь есть, — прервал я его.

Мне страшно нравилось быть взрослым, стоять вот так на холоде, не дрогнув ни одним мускулом, спокойно покуривать горький, вонючий самосад и вести неторор-

ливый разговор о нашей работе, о видах на урожай, о делах на фронте. Я чувствовал себя таким здоровым и сильным, таким всезнающим и всемогущим, что, казалось, стоит мне пошевелить плечом — и развалится этот дом, а стоит захотеть — и все упадет к моим ногам.

Гриша молча глядел то на меня, то на Славку и, наверно догадываясь о наших чувствах, чуть приметно улыбался. Я тоже попробовал по-бригадирски затянуться дымом цигарки и выпустить его так же лихо через нос, как Славка, но закашлялся. Исправляя свою оплошность, затянулся еще раз, но Гриша сжал мою руку. Потом незаметно от ребят взял цигарку, раздавил ее в ладони и сунул табак себе в карман, шепнул:

— Не надо...

Стало обидно. За кого он меня принимает? Что я ему, мальчишка? Хотел повернуться и уйти, но Гриша вновь потихоньку придержал мою руку и шепнул:

— Не дури, Андрюха...

Я остановился, но обида почему-то не проходила. Стоял и придумывал, как доказать Грише, что я не мальчишка.

Разговор шел об утренней сводке Совинформбюро. Бои велись уже на территории Белоруссии. Наши вчера освободили Гомель и погнали немцев дальше. Здесь ближе всего была государственная граница, и мы могли выйти к ней раньше, чем на других участках фронта. А раз к границе — значит, и конец войны виден, успокаивал я себя. Конечно, за оставшийся месяц с небольшим до Нового года она может и не окончиться, но конец все же вот он. Еще раз-два поднажмут наши солдатики — и Гитлер лопнет. Обязательно лопнет!

Почувствовал, что сильно замерз. Осенняя непогодь и хлябь словно ножом резали тело, холод забирался куда-то внутрь, и я еле сдерживался, чтобы не застучать зубами.

Подошел Василий Афанасьевич. Разгоряченный, в росинках пота на лбу. Сгреб своими чугунно-тяжелыми руками наши головы в кольцо, больно сдавил их и простонал:

— Эх, хлопцы вы мои, хлопцы!.. Ведь я тоже вас люблю, хоть и молчу.

— Чаще ругаете, Василий Афанасьевич, — засмеялся Шурка, — молчите меньше.

— Да, ругаю, — весело подхватил он, — но люблю! Председатель, он говорит, что любит вас, пострелов,

а я молчу. Мне надо молчать, надо ругать вас. Мы все — одна семья, а в семье всякое бывает. Верно я говорю, Андрюха?—И он ударил своей сухой рукой меня по спине. — Чего раскис? Пойдемте. Сейчас горячее будет. Свинина с картошкой. Ешьте, хлопцы, от пуза. Сегодня наш председатель щедрый.

Но сам не шел, а держал нас, обняв за шеи. Он возвышался над нами на голову, и его голос шел сверху.

— Хорошие вы ребята, но разбойники...

— Василий, — открыв дверь, шумнула через порог тетка Домна, — ты чего ребят морозишь? Сейчас горячее подавать будем.

В комнате веселье шло вовсю. Стул гармониста развернули спинкой к столу. Рядом стоял мальчик со скрипкой и, полузакрыв свои девичьи глаза, резкими взмахами смычка вторил отцовской гармони. Играли огневую «Семеновну». Безногий, лихо подергивая широкими костлявыми плечами, выкрикивал:

Сыпь, сыпь, Семеновна...
Подсыпай, Семеновна!..

Вдоль стола, отчаянно топая ногами, так, что на нем побрякивала посуда, кружила живая карусель. В центре ее отплясывали Дед и Валюша Кохно. Над шумом и залихватским топотом ритмично взлетал пронзительный вопль Ивана-гармониста:

Сыпь, сыпь, Семеновна...
Подсыпай, Семеновна!..

И через минуту опять:

Сыпь, сыпь, Семеновна...
Подсыпай, Семеновна!..

Лицо его и широкий, крутой лоб теперь уже не были багрово-красными. Он чуть-чуть побледнел, как бледнеют люди не от физического, а внутреннего перенапряжения. Он уже не похож на того неуклюжего, медлительного краба, каким показался вначале. Если не смотреть вниз на торчащие из-под гармони обрубки ног, это крепкий, сильный человек с одухотворенным, красивым лицом, которое освещали бесшабашно-задорные глаза-родники.

Василий Афанасьевич, как медведь, неуклюже вломился в пляшущий хоровод, увлекая за собой и нас. Застонал и ходуном заходил пол, запрыгали на столе

бутылки, и их ловко стала подхватывать Домна Ивановна. Пляска, словно костер, в который бросили добрую охапку сухого хвороста, вдруг вспыхнула. Ее заразительный огонь увлек всех, кто был в комнате. Даже Домна Ивановна, наскоро похватав со стола порожнюю посуду и поставив ее на подоконник, прошлась с нами.

...Пляска продолжалась до изнеможения. Но вот гармонь и скрипка смолкли, оборвались выкрики и топот. Казалось, люди уже не могут произнести больше ни слова, у них остались силы лишь на то, чтобы добраться до стула. Но вот все уселись за стол, задвигали и загремели посудой, и тут же волнами заходил тот бестолковый и легкий гвалт застольных голосов, когда говорят все сразу, никто никого не слушает и все друг друга понимают.

В комнате стало жарко. Распахнули окна, но уличная непогодь не проникала сюда. Холодный ветер, казалось, упирался в тугую подушку валившего из окон перегретого воздуха и отступал. Над столом сразу в разных концах взвились дымки щекочущего ноздри пара. Это женщины внесли тарелки, доверху наполненные картошкой со свининой.

Такого кушанья я не только не ел, но и не видел уже сто лет. Какой аромат! Он захлестнул всю комнату до последнего ее уголка и, казалось, клокотал во мне самом. И хотя я уже не испытывал того острого желания есть, какое меня преследовало всегда и повсюду, от этого сладкого и сытного запаха кругом пошла голова. Наверно, и другие переживали то же, потому что стол вдруг затих, и стали слышны затаенные вздохи да сорвавшиеся у кого-то с губ причмокивания.

Такую благоуханную, залитую жиром картошку можно и нужно было есть только ложками. Мы-то знали в этом толк...

Теперь рядом со мной сидел Гриша. Славка перебрался на другую сторону стола, к Шурке. Сидели, сдвинув плечи, и о чем-то горячо шептались. Иногда они отстранялись, казалось, только за тем, чтобы взглянуть друг на друга, и их плечи вновь плотно смыкались. Гриша отодвинул налитый мне кем-то стакан браги. И опять хлестнула обида: «Да что он, в самом деле, взялся опекать меня, как маленького». Я весь напружинился, готовый выскочить из-за стола или сказать ему обидное, но он, как и на веранде, сжал мою руку:

— Не ершись, дело есть! — И, выждав, пока я рас-

слаблю свою руку, миролюбиво добавил: — Пока Дед и Василий Афанасьевич здесь, решим с твоей учебой.

Гриша улыбнулся одними глазами. Нижняя часть лица во время этой странной улыбки оставалась бесстрастной. Это развеселило меня. Я вспомнил, что кто-то из моих знакомых умеет вот так же необычно улыбаться — одними глазами. Напряг память, но вспомнить не мог.

Гриша уже сидел с Василием Афанасьевичем и что-то настойчиво доказывал ему. Бригадир согласно кивал, но Гриша не смотрел на него и распалялся еще больше, точно тот возражал ему.

Я ни с кем, кроме Гриши, не делился своими сокровенными думами, даже не говорил матери. Какая может быть учеба, если идет война? Надо пахать землю. Да и учебный год давно начался. Нелегкая меня дернула сказать Грише! Был он недавно у нас в бригаде, а я и оброни, что пропускаю второй школьный год.

Гриша помрачнел. А вечером, перед тем как идти в землянку спать, он подошел ко мне и спросил:

— Слушай, а если тебе не ехать на ремонт тракторов, а идти в девятый, в школу?

Я посмотрел на него, не понимая. Как это можно не ехать вместе со всеми ребятами в МТС, на зимний ремонт? И потом, кто может меня принять в школу в ноябре? Ведь прошла целая четверть учебы.

— Все можно сделать. И со школой, и с МТС. Нужно только уговорить бригадира и председателя колхоза.

Я не стал его слушать, а он говорил и говорил, обзывая меня олухом и размазней.

Так ни до чего и не договорились. Только пошумели. И вот Гриша опять затеял этот разговор. Зачем? Неужели он не понимает, что год пропал для учебы и его уже никто не вернет? Гришино чудо может свершиться лишь при одном условии. Если сейчас войдет кто-то и объявит: «Сидите здесь и не знаете, война-то кончилась...»

Но чудес не бывает. Они только в сказках, какие я читал еще до войны, тысячу лет назад.

Глянул на Гришу. Он улыбался опять той же странной улыбкой, смеялась верхняя часть его лица — собственно, одни его глаза, — и я сразу вспомнил: так улыбался Печорин! Конечно, лермонтовский Печорин!

Где же оно, то недоступное время, когда все было возможно? Можно читать, играть в футбол, пропадать по целому дню на берегу Волги, можно есть сколько

влезет. Вон у Славки в сенях стоял целый сундук сала и висели румяные, обливающиеся жиром окорока, а он, чудак, выпрашивал у доярок жмых.

А моя жизнь... Я приходил из школы, швырял под стол портфель, наскоро обедал и закатывался до позднего вечера на улицу, а после ужина, со слипающимися глазами сидел за уроками и проклинал свою разнесчастную долю. И выходит, глуп я был еще больше Славки.

За столом то там, то здесь вспыхивали песни. Иногда две, а то и три сразу. Люди разбились на группки, говорили громко, стараясь перекричать, а главное, обязательно доказать что-то друг другу. Вот и Дед подсел к бригадиру и Грише, и говорят они почему-то все трое сразу. Смешно, кто же их слушает?

А в конце стола, вокруг Ивана и его голосистой гармони, образовался кружок женщин. Они, настраиваясь на определенный и только им одним ведомый лад, пробуют свои голоса в частушках. Вот, словно осторожно ступая на скользкую ледовую дорожку, какие бывают по первым заморозкам, запела Люба Доброва:

Ой, подружка золотая,
Что война наделала!..
Забрала мово миленка,
Слезы лить заставила.

И сразу ей ответил звонкий, нетерпеливый голос Вали Кохно:

Ты не плачь, моя залетка,
Понапрасну слез не лей.
Мы найдем с тобой, родная,
Ухажеров помилей.

Мне казалось, что Люба и Валюша сочинили свои припевки сейчас, здесь, для разгона. Частушки еще не настоящие, корявые, не совсем складные, спетые всего один раз. А вот дальше кто-нибудь из сидящих здесь запомнит их, споет еще и еще раз, и они станут такими же настоящими частушками, как и те, какие они будут петь, как только настроят свои голоса.

Мне уже доводилось слушать это удивительное девичье состязание в короткой, хлесткой песне. Его, как и сегодня, начинают пять-шесть девушек, но потом постепенно одна за другой они выбывают, и остаются только две самые бойкие, самые голосистые.

А сейчас, пока еще идет разгон, гармонист, как и по-

добает ему, вначале приноравливается к певицам, осторожно ищет те единственные два голоса, с которыми ему придется творить на глазах у всех чудо народных припевок.

Иван кидал быстрые пальцы по ладам, чуть склонившись правым ухом к своей гармони. Его сына не было рядом. Оглядев комнату, я нашел его нечесаную шевелюру в другом конце стола. Мальчик то поднимал, то опускал голову над миской. Ел он быстро, словно боялся, что у него отнимут еду. Когда жевал, то крепко держался обеими руками за края миски. Оторвет правую руку, сунет полную ложку картошки в рот и опять вцепится в миску. Ложка намертво припаяна к руке, рука — к миске. Вдруг мальчик вздрогнул, наверное заметив мой взгляд, и разжал руку. Я отвернулся, скользнул взглядом по столу. Странно, картошка со свининой еще кое-где лежала в тарелках. Была она и передо мной. Правда, на самом дне миски, но была. Лежала несъеденная, как в сказке, как до войны. Я смотрел на эту остывшую картошку и не верил. Вот она лежит передо мною, я могу протянуть руку и есть, есть...

Но я, как в то далекое довоенное время, как тысячу лет назад, сижу и ничего не хочу. Не хочу протянуть руку, не хочу из-за этой ненавистной еды, которая постоянно на уме, шевельнуть ни одним своим мускулом. Не хочу! Я человек, я не могу позволить себе, чтобы чувство голода всегда властвовало надо мной. Сегодня я торжествую над ним. Сегодня вся наша бригада, все, кто в этом доме, большие сильные и гордые люди. Это как в сказке, как до войны...

И меня опять обдало той светлой, незамутненной радостью, которую я уже испытал сегодня от сознания своей причастности к этим умеющим работать и веселиться людям.

Гармонь зазвучала громче, и девушки сразу взяли тоном выше. Я услышал грудной голос нашей кашеварки Оли и тут же увидел ее, разгоряченную, немного неловкую. Лицо одновременно выражало и решимость посостязаться с молодыми, и сомнение: а как на это посмотрят люди? И тогда из дальнего угла комнаты бодро крикнул Василий Афанасьевич: «Давай, Олюша!»

Не ругай меня, мамаша,
Не бранися грозно.
Ты сама была такая,
Приходила поздно.

Ей тут же запальчиво ответила Люба Доброва:

Не ругай меня, мамаша,
Ты сама уповадила,
Приду рано, приду поздно,
По головке гладила.

Припевки словно выстреливали. Не успеет закончить одна, как тут же выпаливает другая.

Но когда еще раз пропела Оля, будто эхо покатилось по комнате, и все притихли, повернув головы к ней.

А что это за председатель?
А что это за сельсовет?
Сколько раз мы заявляли,
Ухажеров у нас нет.

Иван проиграл весь аккомпанемент под разноголосый смех и выкрики: «Давай, начальство, отвечай на критику снизу!» Иван начал заново; и только когда его гармонь подошла к двум последним музыкальным фразам, Валя Кохно вдруг спохватилась:

...В сельсовете разберут,
По миленочку дадут.

Она пела не так, как другие. Все выкрикивали свои припевки, а она пела немного задумчиво, растянуто. Создавалось впечатление, что Валя все время отстает от гармони.

Только сейчас начинаю догадываться, что в этом состязании песельниц есть свои правила и законы. Оказывается, одна предлагает тему, а другие должны отвечать.

Теперь очередь Веры:

Говорят, я боевая,
Но какой же это бой?
Отбивают миленочка
У меня, у боевой.

Валя тут же ей ответила:

Говорят, я боевая,
Боевая, но не я.
Вот Любаша боевая,
Отвечает за меня.

Вот тебе и Валюша-сухарь! Да она живее всех других.

Люба предложила новую тему:

Я на память посадила
Под окошком пять берез.
Это память того года,
Как вступали мы в колхоз.

Валя поддержала подружку:

Ой, я то-о-опну ногою,
И прито-о-пну другой!
Чтобы милый был хороший
И в колхозе, и со мной.

Меня поражала быстрота реакции девчат. Ни минуты промедления. Только одна запевает, а две-три уже готовы ей ответить.

Пошла новая тема разухабистых, задорных частушек про Семеновну. Ее предложила Оля:

Ой, мотор гудит,
Самолет летит!
А Семеновна
За рулем сидит.

Валя ответила:

Самолет летит
Из Америки.
А Семеновна
Ест вареники.

Каждую припевку покрывал смех, и Ивану в ожидании тишины приходилось часто проигрывать музыкальную паузу. Получалось, что смеялись мы тоже под аккомпанемент его гармони.

Темп нарастал. Иван, еще ниже склонив свою крупную голову на мехи гармони, сыпал все чаще и чаще, словно он хотел в этой запальчивой гонке уйти вперед, оторвать малиновый перезвон гармони от девичьих голосов.

Но те ни на пядь не отпускали его, и только чаще меняли темы припевок.

Выбившийся из силы, Иван, наверно, хотел оборвать эту гонку и на мгновенье умолк, стряхивая со лба крупные капли пота. Но Валя продолжала петь.

— Помру, а не сдамся, — прохрипел Иван и вновь рванул мехи гармони.

Остались только двое: Вера и Валя. И по всему было

видно, что они не собирались уступать друг другу. Их побледневшие лица выражали ту же решимость, с какой теперь играл Иван: «Умру, а не сдамся!»

...Припевки звенели как натянутые струны. В состязании двух не допускалось и малейшей паузы. Стоило хоть на мгновенье замешкаться кому-то, как гармонист должен тут же оборвать игру и объявить о победе одной и поражении другой.

— Нашла коса на камень, — шепнул мне на ухо Гриша, захваченный, как и все, единоборством девушек. — Ну дают, ну дают!..

Не успевала одна допеть последнюю фразу, как другая тут же подхватывала.

Валя:

Я надела все зеленое
И стою как елочка.
У какой-нибудь разини
Отобью миленочка.

Вера:

С неба звездочка упала
На косую линию.
Скоро милый мой запишет
На свою фамилию.

Припевкам не было конца. Мне стало жалко Ивана. Пот градом скатывался с его лба, жарко заливал лицо, не было мгновенья, чтобы смахнуть его. Теперь уже не его гармонь тянула за собой девичьи голоса, а она сама еле успевала за ними. Напряжение, казалось, достигло предела. Не слышно реплик, никто не смеется. Все ждут, кто первый не выдержит бешеного темпа, кто споткнется на слове или повторит уже спетую частушку. Кто проиграет?

И вдруг Верин голос оборвался.

Иван рванул мехи, гармонь, жалобно всхлипнув, умолкла. Круг со вздохом расступился, и все сразу заговорили, задвигали стульями. Дед с Василием Афанасьевичем круто развернули стул Ивана к столу. Дед хотел взять у него гармонь, но Иван протестующе затряс головой.

— Не тронь... Это моя точка опоры. Без нее свалюсь со стула. — И, повернувшись к Вере и Вале, добавил: — Ухайдакали вы меня, девки!

Все зашумели, загремели стульями и гуськом пошли

к Деду и Ивану. Поднялись с места и мы. Дед отступил на шаг от стола и растроганно принимал поздравления. Когда подошла к нему Валя, он обнял девушку за плечи:

— Ух и люблю же тебя, Валюша! Если бы не моя старуха, женился бы на тебе.

Все захохотали.

— Ты глянь на Гришу, — подтолкнул меня Славка, — совсем ошалел от этих припевок мужик.

Я давно наблюдал за Гришей. Он действительно был каким-то потерянным. Когда девчата выпаливали свои припевки, Гриша как заведенный вертел головой из стороны в сторону, боясь пропустить хоть слово. Лицо восторженно-удивленное и немножко глупое. Такие лица бывают у людей, когда их вдруг неожиданно знакомят с выдающейся знаменитостью.

— За урожай! — поднял высоко свой стакан Дед. Но пить не стал, а только пригубил. Он сегодня вообще почти не пил, и, когда его просили, Дед весело отвечал:

— Сегодня я и без вина пьян.

Подойдет, ткнется бородой в плечо и шепчет:

— Ну давай тащи. За урожай! — пригубит свой стакан и идет дальше.

Теперь после тостов—окончание полевых работ, за колхоз, за тех, кто бьет Гитлера, у Деда был его постоянный и неизменный тост: «За урожай!»

Иван с сыном заиграли вальс. Стол и стулья сдвинули к стене, и закружились пары. Девчата не ждали приглашения парней, а сами подходили и увлекали их в круг. Я хотел, чтобы ко мне подошла Вера, но, когда она взяла меня за руку, страшно смутился.

— Я только в одну сторону умею...

— Что в одну сторону?.. — захохотала Вера.

Я почувствовал, как мое лицо и уши превращаются в уголь.

— Умею кружиться только в одну сторону...

— В эту? — подхватила меня и закружила Вера.

Она так крепко и властно держала меня, что я вертелся вокруг нее волчком.

Рядом танцевали Славка с Валюшей и Шурка с Любой. Они, как и я, танцевали за девушек, и это немного ободрило меня. А когда я увидел, что и Василий Афанасьевич вальсирует вокруг нашей Оли, то успокоился совсем.

Верины глаза были на уровне моих, но я не решался смотреть в них и глядел в сторону, на танцующих. Вера подтрунивала, заглядывала в лицо и все время то спрашивала, то поучала меня.

— Танцевать с дамой и смотреть в сторону невежливо, Андрюшенька. Ты в какую сторону не умеешь кружиться? В эту? — И она резко начинала вращать меня то влево, то вправо. В ее сильных и цепких руках я вдруг почувствовал себя мышонком в лапах кошки. И убежать-то некуда!

Хотя, если честно признаться, бежать мне от Веры никуда не хотелось, а хотелось одного — побороть свое ненавистное дурацкое смущение.

...Конец нашего Праздника урожая помню урывками. Я танцевал опять с Верой, потом вместо нее оказалась Валя, и я все время допытывался, сочиняет ли она припевки. Валя смеялась, называла меня чудаком.

— Только услышу гармонь, припевки так и рвутся из меня.

Потом стояли на веранде, и Гриша, больно сжав плечо, тряс меня и говорил что-то об учебе. С Дедом и Василием Афанасьевичем он договорился. Я могу не ехать в МТС, на ремонтные работы, а пойду в школу. Я не соглашался...

Подошли Василий Афанасьевич, Шурка и Славка. Стали говорить опять о войне и гадать, когда она кончится. Я рассерженно сказал, что она никогда не кончится.

Никто не обратил никакого внимания на мои слова. И тогда я шагнул в круг и громко сказал:

— Вы посмотрите, сколько идти нашим солдатам до Берлина! Пол-Украины, всю Белоруссию, Прибалтику, Польшу, а тогда только начнется Германия...

— Не каркай! — прикрикнул на меня Гриша.

Я обиделся, отошел, а они начали спорить все о той же войне, какая шла где-то там и была здесь повсюду, рядом. Говорили о втором фронте — бесконечная тема всех разговоров о войне...

Обида моя тут же прошла. Я стоял в стороне, прислушиваясь к запальчивому разговору ребят, и думал: «Вот уже больше двух лет разговоры людей сводятся к войне. Война затопила все: и землю, и души людей. Сколько же еще это будет продолжаться?»

Почему вдруг я понял, что впереди еще много войны? Почему стал рассуждать, как моя мать, Дед, Васи-

лий Афанасьевич?.. Что это со мной? Стоял и прислушивался к себе и не мог понять, откуда это.

Будто и во мне гудела эта страшная война. Она уже стольких унесла. Даже в моей памяти они не умещаются: Сенька Грызлов и их семья, девушки с Украины, Степаныч, Костя, те первые убитые красноармейцы, а сколько их, без имен и фамилий, и тех, кого мы хоронили весной, и тех, кто так и остался под развалинами. И Васька, бедный Васька — моя непроходящая боль. У меня путается в голове. Мне нечем дышать. Что со мною? Я стою и прислушиваюсь к себе и не могу понять, откуда это.

А происходило простое и обыкновенное—я взрослел.

В СТРАНУ ЮНОСТИ

«Газик» с открытым верхом тянет за собой шлейф пыли. Чуть приподнявшись над сиденьем, ошалело верчу головой, пытаясь узнать свои поля. Тридцать лет назад тут «ковырялись» наши «старички» — колесные трактора. Где-то здесь, узнаю и не узнаю. Сердцем узнаю, а глазами нет. Да и как узнать? Поля совсем не те: большие, ровные, как стол, а наши были маленькие, кургузые, иссеченные оспинами окопов, провалами разоренных блиндажей. Их пересекали какие-то балочки, лощины, а теперь до самого горизонта размахнулись эти бескрайние поля.

Нет, не могу определить, где седьмое, где девятое, а где-то Горемычное... Васьки Попова поле. Не могу... Только першит в горле да чуть щиплет глаза. Наверно, от пыли, нашей знаменитой приволжской. Вот она не изменилась: рыжая, едкая, способная в безветренную погоду бесконечно долго висеть над дорогой, и тогда уж лучше ехать обочиной. А сейчас и обочины-то нет. Все вокруг распахано до самой дороги. Да и дорога-то не та, по какой мы ездили. Все стало не таким, а вот пыль осталась той же. У нее даже вкус и запах те же, и я на мгновенье словно провалился в жаркие августовские дни сорок второго.

...Зыбким белесым туманом колышется стена пыли. Мы на окопах за городом. Мимо нас с вечера до утра в этот белесый туман по дорогам и за дорогами двигаются бесконечные колонны красноармейцев.

Они уходят туда, откуда по ночам мы все сильнее слышим грохот и гул, втягиваются в ту излучину Дона,

про которую вот уже несколько недель говорится в сводках Совинформбюро. Идут как в бездонную прорву, только по ночам, когда над степью не кружат самолеты, идут пропыленные, во взмокших новеньких гимнастерках и пилотках, со скатками и зелеными касками, привязанными к рюкзакам.

Шли сибиряки и уральцы. Молодые, здоровые, они весело выкрикивали из колонн, заговаривали с женщинами, отпускали крепкие шутки и хохотали. Сколько их тогда шло к этой излучине, загорелых, крепких! На окопы мы выходили рано, чуть засереет рассвет, и еще заставали эти колонны на марше. Бежали к дороге, становились у самой обочины, вглядывались в лица, надеясь увидеть кого-то из своих родных и знакомых. Я и сейчас вижу, какими глазами они смотрели на женщин: горячими, озорными и, может быть, немного виноватыми...

— Что, не узнаете родные места? — весело поворачивается в мою сторону шофер. Лицо у него круглое, опаленное солнцем, улыбка до ушей. — Мне Григорий Кузьмич наказывал, чтоб обязательно повез вас этой дорогой. Все сам встретить рвался, да срочно в район вызвали.

— Миша, сколько тебе лет?

— Уже двадцать четыре. А что?

— Да так... Чтобы не забывать свои...

Миша смеется. Он легко и лихо ведет машину, то неудержимо разгоняет, то плавно сдерживает ее прыть, ловко перескакивая выбоины и ухабы. Андрей восхищенно следит за ним. Я вижу, какое нетерпение сжигает его сейчас.

Перед нашей поездкой на юг в лагере для старшеклассников он научился водить машину, и теперь желание сесть за руль, да еще на глазах у родителей и сестры, разрывает его. Он уже шептал матери на ухо: «Попроси у него... Попроси...» Ко мне не обращается. Знает: просить за него не буду, да и понимает — не до него мне.

Меня сейчас волнует, правильно ли я определил то место, где находился наш полевой стан, где была лощина, запруженная лазоревыми цветами? Даже шея заболела, верчу и верчу головой, а узнать ничего не могу. Выплывают откуда-то из небытия картины тридцатилетней давности. Никогда не думал, что память может хранить столько лет то, что раньше не вспоминалось.

С обеих сторон дороги стелются серо-желтые скошенные нивы. На них темнеют копны соломы, а там, где она убрана, пылят трактора, разматывая за собой широкие темные полосы свежей пахоты. В августе, когда еще не окончена уборка и идет сев озимых, они пашут зябь! Для меня это невероятно. Сколько же нужно иметь тракторов, чтобы успеть одновременно все?! Мы брались за зябь только тогда, когда заканчивали уборку и сев озимых. А уборка часто затягивалась до заморозков. Когда это было? Кажется, только вчера.

Дорога наконец вырвалась из цепких объятий темных пашен и серо-матовых жнив, и «газик» выскакивает на взгорок, поросший редкими кустиками полыни, чернобыла и ковыля.

— Смотри, пароход! — во всю мочь кричит Юля. — Смотри! Вон еще один!

Поворачиваюсь и вижу: километрах в восьми под самым горизонтом в зыбком мареве плывут два судна — большой белый пассажирский пароход и грузовой танкер.

— Прямо по степи шпарят! — восхищенно кричит Андрей. — Надо же!

Он заметил, что суда идут по не видимому нами каналу, но продолжает разыгрывать Юлю. Та удивленно смотрит то на меня, то на Андрея и вдруг, переведя взгляд на водохранилище, обрадованно говорит:

— Там вода. Ой, сколько воды!

Миша остановил машину. Он хорошо знал место, откуда открывалась панорама Волго-Дона. До усадьбы Гришиного совхоза, куда мы едем, по моим подсчетам, километров пять-шесть. Помню, это село должно быть на самом берегу водохранилища. Но отсюда его пока не видно. В нем я был во время строительства Волго-Донского канала. С тех пор прошло почти двадцать лет... Какое оно теперь, это приморское село?

Андрей упросил шофера дать ему руль, они меняются местами. Мы, пассажиры, с притворным ужасом соскакиваем на землю. Андрей хохочет вместе со всеми. Но, видно, он расстроен — хотел покрасоваться, прокатить нас, а мы сбежали.

— Садитесь, я правда умею. Юля! — кричит он сестре.

Но та не спешит. Вопрошающе глядит на мать. Через несколько минут они уже в машине. Я прошу отпустить меня с миром.

— Доберетесь или вернуться за вами? — кричит на ходу шофер.

— Доберусь!

«Газик» лихо проскакивает мимо. Лицо Андрея сияет как начищенный пятиалтынный. Сворачиваю с дороги, и знакомая до сердечной боли жухлая трава шуршит под ногами, обдавая пылью мои городские мокасины.

Уже начало смеркаться, когда неожиданно вышел к пологим луговым берегам водохранилища. Как и предполагал, слева, километрах в трех от меня, на небольшом взгорке, мыском вдающемся в водохранилище, усадьба совхоза. Чем ближе подходил к ней, тем больше восхищался местом, выбранным для поселка.

Вода плескалась у самых изб. Зелень садов затопила до самых крыш дома. Бледный мягкий сумрак только что начавшегося вечера потушил яркие краски блестевшей на солнце воды, серебристо-матовых, темно-красных и зеленых крыш, сгустил и вытемнил сады. «Ах как хорошо здесь! Ах как хорошо!» — рвалось у меня из груди, и я все прибавлял и прибавлял шаг, не чувствуя усталости, хотя уже несколько часов бродил по полям.

На дороге показался Мишин «газик». Через несколько минут он уже мчался по лугу. Резко затормозил, одновременно распахнулись дверцы, и на землю шумно, словно горох, сыпанули люди. Лишь Андрей, довольный, с улыбкой во все лицо, продолжал сидеть за рулем.

От машины развалисто шел приземистый, широкоплечий мужчина и виновато-смущенно улыбался. Лицо широкое, продубленное солнцем и ветром, залысины глубокие, почти до самой макушки. Он еще и первого шага не сделал, а я уже знал, что это Гриша Завгороднев. Знаю, что он, но никак не могу согласиться. «Не такой, не такой!» — стучит в голове. Человек, чуть прихрамывая, делает шаг за шагом, а я словно прирос к земле. Он уже начал разводить руки для объятья, запрокинув скуластое коричневое лицо, и только тогда я шагнул навстречу.

— Это пройдет. Вот пообвыкнем трохи, и пройдет. У меня уже так было, когда встречался со своими дружками по войне... — Он посмотрел куда-то в сторону и, вздохнув, добавил: — Дело тяжелое. Расстаешься с одним человеком, а встречаешь совсем другого. Себя-то каждый день в зеркале видишь... Ну да ладно, не девицы мы. Рассказывай, как и что.

Я украдкой поглядывал на Гришу сбоку. Глубокие лучистые морщины у глаз точно высечены. Такие же на лбу и переносье, а знаменитые Гришины кудри сбились куда-то к затылку и редкими прядками прилипли к темени. Белые брови не то выгорели, не то поседели. Они старили его. Гриша совсем не тот, каким я мог его себе представить, абсолютно не тот! И только голос, звонкий и чистый, похожий на серебряную россыпь колокольчика, был Гришин. Я отводил взгляд и слышал того, давнего Гришу Завгороднева, образца сорок второго дробь сорок шестого годов. Так мы любили говорить в бригаде о людях по аналогии с винтовкой.

Гриша знакомит меня с сыновьями — «орлами», как он называл их. Комбайнеру Игорю — двадцать три года, студенту-медику Саше — девятнадцать, а младший Вовка — десятиклассник.

— Это еще не все, — стараясь окончательно поразить меня, звонко хохотнул Гриша. — Старший, Алешка, в армии, офицер-ракетчик. Вот так, брат, и живем. Алешка женился и, надо полагать, скоро дедом меня, паршивец, сделает.

Гришины «орлы», а с ними и мой Андрей, исчезли так же быстро, как и появились. Машина шмыгнула, и Гриша вдогонку ей крикнул:

— Пусть накрывают!

Не спеша идем по мягкой луговой траве, я украдкой поглядываю на друга, слушаю.

Он то рассказывает, как нелегко было все эти годы с такой семьей, то вдруг, остановившись, спрашивает:

— А помнишь, как землянка горела? Мы с главным механиком приехали, а у вас пожар...

И опять о своих ребятах:

— Это сейчас они все сразу поднялись на ноги, а то мал мала меньше, прямо школа-интернат. Сыпанули они у меня один за другим. Не успели мы оглядеться с Марией, как полон дом детей. Все дочку хотели, да где там... А ведь и ты, брат, полыхнул за эти годы. Тоже никак не могу привыкнуть. Андрея твоего я вроде бы больше знаю, чем тебя.

Он умолк и вновь как-то снизу поглядел на меня. Этой привычки у него раньше не было. Шел тяжело, припадая на поскрипывающий протез. Замедлив шаг, я посетовал на то, что зря он отпустил машину.

— Ничего, доберемся. Это у меня парадная нога, она плохо ходит, — и Гриша гулко постучал ладонью по

протезу. — Она у меня для городского асфальта. А здесь, по полям, я мотаюсь в рабочей... — И он вдруг неожиданно рассмеялся. — Помнишь, как ты меня все спрашивал: «Гриша, отросла твоя нога?»

— Глупый был, вот и спрашивал.

— Ума у нас у всех тогда было одинаково, а запомнил твою шутку. Так, проклятая, и не отросла. А по ночам болит нещадно. И знаешь, где болит? Не в культе, а болят пальцы, болит ступня. Чувствую, как огнем жжет ту самую ногу, какой у меня уже тридцать лет нет. Вот штука-то! А рука ничего. Рука поправилась. Видишь, она у меня почти с правой сравнялась, — и он повертел рукой, — но намаялся я с ней... Операцию делали, сшивали нерв, дел было много...

Шли через большое, утонувшее в садах село. Дома все больше новые, добротные, обложенные белым силикатным кирпичом под шиферными и железными крышами. Дворы просторные, с садами, огородами, хлевами и сараями, полными скота и птицы. Было то вечернее время, когда вся домашняя живность возвращается с пастбищ. Ворота и калитки во дворах открыты, и улицы оглашаются ревом коров, блеянием овец и коз, резкими голосами хозяек и плаксивыми и радостными криками детей, гоняющихся по улицам за норовистыми телятами и шальными овцами и свиньями.

И опять чем-то далеким, полузабытым пахнуло на меня. Хотелось слушать и слушать эту бестолковую разноголосицу отошедшего дня, вернувшего светлую радость юности.

В этот вечер я узнал о Гришиной жизни и рассказал ему о своей. Разная она у него была и нелегкая.

— Может быть, только сейчас чуть-чуть поослабло, — говорил он. — Игорь вернулся из армии — стал зарабатывать, да и Сашка с Вовкой летом подрабатывают, а то ведь на одну мою зарплату райкомовскую жили. Мария все с ними возилась. Ни бабки, ни деда в доме. Ни у нее родителей, ни у меня — война всех подмела. Только на себя надежда, да я еще и работник таковский. Десятый класс заочно кончил. Это, наверное, еще при тебе? — И, не ожидая ответа, продолжал: — У тебя отец тогда вернулся, и ты в институт мог пойти, а меня прикрыть было некому. Да и не один я уже был — ждали старшего, Алешку. Какая уж тут учеба! И все-таки мне удалось два года поучиться в очном. Когда я стал выбиваться из комсомольского возраста,

райком послал меня в областную партийную школу. Стипендия там приличная, — он вздохнул, — а жить нам на две семьи было туго. Окончил эту школу, но работать послали в другой район. Прошел я все должности, какие есть в райкоме. Лет пятнадцать путешествовал с должности на должность, от одних выборов до других. Мотали меня по разным районам области: и на Дону был, и в Заволжье целину осваивал. Другой походил в партийных работниках срок, да и подался на основную свою работу: один в агрономы, другой в зоотехники, третий в инженеры. А я всю жизнь на этой общественной — выборной. И вроде бы у меня теперь и специальность такая.

...Стал я прибиваться к городу. Дети поднялись, их учить делу нужно, да и о себе мысль держу. Вроде и стыдно к сорока годам в институт подаваться, а другого выхода не вижу. Надо и мне на старости лет профессией обзаводиться. Мария ругается. И так вечерами дома не бываешь с этими вечными собраниями и заседаниями, а тут еще один хомут на шею. Но не отступился. Конечно, тяжело в мои годы с книжками-тетрадками возжаться, да когда в моей жизни легко было? И записался я, брат, на шесть лет студентом.

Это сказать легко — шесть лет, а они у меня, кажется, полжизни отхватили. Ни в один отпуск не ходил, все выходные и свободные вечера тоже там... Нет, учиться надо вовремя, а не тогда, когда у тебя семеро по лавкам. Домучил я этот институт и как получил диплом агронома, так сразу стал проситься на работу по специальности. Да разве сразу с нашей работы уйдешь? Пришлось еще почти два года в райкоме работать.

А с прошлого года в этом совхозе. Пошел сначала управляющим отделением, а с нового года и директорство принял. Мой предшественник на выдвижение в область пошел. Парень он молодой, толковый. Тридцати нет, а диссертацию защищает. Гриша восхищенными глазами поглядел на меня, будто говоря: «Вот теперь какие на селе у нас работают!»

Все это Гриша рассказывал в несколько приемов, надолго отвлекаясь, расспрашивая меня и опять возвращаясь к своей жизни. Слушая его, я понемногу привыкал к сегодняшнему степенному и рассудительному Грише, а тот молодой, порывистый, вихрастый паренек, умевший ловко скакать на одной ноге и сворачивать правой рукой цигарку, уходил от меня все дальше и

дальше. Сегодняшний Гриша был рядом. Я всматривался в его широкое, скуластое лицо, обожженное солнцем и ветром, оглядывал крепкую, приземистую, но уже располневшую фигуру мужчины средних лет, отца четверых «сынов-орлов», и никак не мог соединить этого реального человека с тем, какого я когда-то знал.

Мы говорили о разном. То вспоминали нашу тракторную бригаду, то вдруг говорили о делах в его совхозе и вообще о сельском хозяйстве.

Ребята уже давно поднялись из-за стола и сейчас возились тут же во дворе у мотоцикла. Рослые, крепкие, с выгоревшими на солнце цвета пшеничной соломы волосами и бронзовыми лицами, Завгородневы действительно были «парнями-орлами». Даже самый младший, крепыш Вовка, уже обогнал ростом отца. А Игорь и Сашка были настоящими мужчинами, они брили бороды и курили сигареты. Я любовался ими, когда они сидели за столом и расправлялись с жареным гусем. Каждый положил себе на тарелку по такому куску, что мои дети опасливо переглянулись. Младший Завгороднев положил и Андрею такой же кусок гуся, и сын мой растерянно покраснел, но тот его ободрил:

— Справишься. Только картошку не ешь.

И так было приятно смотреть на эту веселую ораву парней за ужином, что я доброй завистью позавидовал Грише.

Андрей словно ступил в другую страну. Он шагнул из детства в страну взрослых и изо всех сил старался быть таким, как все. Он не суетился, был сдержан, умел слушать других — просто не наш Андрей, да и только! Ребята Гриши приняли его как равного, и вот теперь он им что-то рассказывает. Прислушиваюсь. Речь идет о мотоцикле. Андрей демонстрирует свои познания. «Откуда они у него?» — удивляюсь я. Оказывается, у брата Игоря Первушина есть «Ява», и Андрей знает мотоцикл «как свои пять».

Узнаю об этом только сейчас. Становится как-то не по себе. Да знаем ли мы своих детей? Если честно признаться, то такого серьезного, делового и повзрослевшего сына я не знаю. Вот тебе и мальчишки! Они и вырастут у нас на глазах, а мы все будем считать их несмышленышами.

Уже поднялась из-за стола хозяйка и стала собирать и уносить на кухню посуду, а мы все сидели и без умолку говорили, перескакивая с одной темы на другую, не-

договаривая, обрывая на полуслове разговор неожиданно пришедшими на память случаями из той нашей давней жизни, когда и виделось не так, и думалось по-другому. Как говорил Гриша, «перевспоминали» всех, кто работал в бригаде, в колхозе, в районе. Он тоже о многих ничего не знал. Слышал, что Славка Воловик как ушел в сорок пятом в армию, так и остался там. А где он сейчас, неизвестно. А Шурка Быкодеров, отслужив, вернулся домой, но в колхозе не остался, подался в город.

О Василии Афанасьевиче Гриша сказал, что он умер «где-то после войны».

— Помнишь, — повернул он ко мне вдруг закаменевшее лицо, — все хватался за свою поясницу и скрипел зубами: «Ломит нещадно...»

— Помню...

— А Николай Иванович, Дед наш, коротал еще долго. Последний раз его видел не то в пятьдесят седьмом, не то в пятьдесят восьмом. Я тогда работал секретарем райкома при МТС. Так вот, заехал я к нему, а он перед домом на лавочке в валенках... Летом это было. Сухой и старый, как земля...

Гриша потянулся к графинчику, налил вино в рюмки и, чуть оторвав свою от стола, кивнул:

— Давай за их память. Добрые старики были...

— И за Ваську Попова.

— И за Ваську, — грустно добавил он.

Посидели, помолчали и от воспоминаний перешли к дням сегодняшним. Я смотрел на его руки. Сейчас он положил их обе рядом на стол перед собою, и я заметил, что правая, здоровая рука намного больше, а левая как будто чуть усохла. Видно, заметив мой взгляд, он сдернул их со стола.

— Нужно делать дело, — горячо бросил он и поспешно начал рассказывать, как в его совхозе в этом году на бросовой луговине между двумя оврагами старухи и старики пенсионеры вырастили лук. Да такой, что хозяйство получило двадцать тысяч чистой прибыли.

— А сейчас, — загорелись у него глаза, — я для этих своих дорогих стариков и старушек закладываю парники. И совхоз с февраля начнет торговать овощами...

Гриша даже вскочил из-за стола и хотел сейчас же повести меня на ту бросовую луговину, от какой «ни

выпаса, ни сена» не было, а вот теперь они там «такое дело завернули».

Я смотрел на распалившегося, увлеченного своим делом человека. Предо мною был одержимый и решительный Завгороднев, и я стал угадывать в этом немолодом, лысеющем человеке того отчаянного и немножко шального паренька, какой, казалось, выветрился из моей памяти, а вот теперь легко возвращается ко мне, сливаясь с теперешним Григорием Кузьмичом Завгородневым, против которого я вначале протестовал, а теперь все больше и больше свыкался.

— Ладно, — немного поостыв, бросил он, — покажу завтра. Все хозяйство покажу. Мы тут много затеваем. Дай срок только...

Гриша сел напротив, с другой стороны стола, и начал подробно и увлеченно рассказывать, что они «затевают» в своем хозяйстве. Понизив голос почти до шепота, он доверительно сказал:

— Мы хотим не только догнать, но и обойти по экономическим показателям совхоз «Зеленовский». А он лучший в районе. Вот задача у нас какая на сегодняшний день.

Говорили торопливо, как будто боялись, что вот сейчас кто-то прервет нашу беседу. А мы еще не сказали друг другу ничего, а все только подступаем к тому главному разговору, какой должен обязательно быть у друзей, проживших целую жизнь вдали. Нам еще столько надо спросить, услышать и узнать, что и ночи не хватит.

Вернулись мальчишки с улицы, где все еще раздавалось надсадное бренчание гитары и всполошенные выкрики и улюлюканье вместо песен. Игорь сразу пришел в дом, а Сашка, Вовка и Андрей стояли во дворе и шептались.

— Андрей уговаривает моих лечь в сарае на сене, — шепнул Гриша, — а они ему: «Там неудобно и жарко утром...» — И тут же крикнул ребятам: — Ложитесь, ложитесь, а солнце станет припекать, переберетесь в дом.

Ребята еще долго не могли угомониться. Гриша поднялся из-за стола и прикрикнул:

— Эй вы, молодежь! С вечера не уложишь, а утром не добудишься!

Я вспомнил, что вот так же беззлобно кричал на нас Василий Афанасьевич.

Гриша говорил о своих ребятах с какой-то затаенной улыбкой, нарочито сердито поругивал их, называл разбойниками, лентяями, вертопрахами — теми же словами, какими когда-то нас бранил бригадир. Его отцовские чувства мне были понятны. Я и сам бы не прочь вот так же покричать, приструнить своих детей. Но сейчас меня волновало другое. Что он думает о современной молодежи, посещают ли его те тревоги, которые все чаще заботят меня, часто ли он сравнивает жизнь сыновей со своей молодостью? Когда я ему выпалил все эти вопросы сразу, он как-то неопределенно замолчал, словно немного обиделся. И когда он вдруг заговорил, я еще долго не мог понять причину его раздражения.

— Ты не смотри на то, что поют они черт знает что и танцуют с вывертами. Я вон читал в одной книжке: когда появился вальс, старики точно так же рассуждали. Безнравственно, извращенные вкусы и всякое другое. Ты смотри в корень—есть что за душой или нет? А у нас уже модой стало ругать молодежь. И то им не нравится, и это не так. Распустились, разболтались. У нас этого не было, мы лучше...

— Я не из таких. Однако кое-что и меня тревожит.

— Что?

— Видишь, во мне, как ржавый гвоздь, торчит дурная привычка сравнивать. Сравниваю себя и Андрея, сравниваю нашу жизнь и их. И не всегда это сравнение в их пользу.

— А это оттого, что ты себя шибко любишь, — засмеялся Гриша.

— Напрасно шутишь, — прервал я его. — Дело-то серьезное. Я и сам вижу, что сегодняшняя молодежь не хуже той, к какой принадлежали мы. Скажу тебе больше: когда мне доводится слышать разносы молодежи, всегда вступаю в спор. И все же кое-что настораживает.

И я стал откровенно говорить другу о своих раздумьях и сомнениях.

Гриша слушал настороженно, внимательно, хмурил высокий, переходивший в залысины лоб и то утвердительно кивал, то вдруг замирал, словно обдумывал, как мне лучше возразить.

Речь шла о рационализме молодежи.

— Меня настораживает, что многие современные ребята, прежде чем что-то сделать для общества, дотошно

интересуются, а что это даст им. Какую они пользу извлекут лично?

— Да, да, — кивнул Гриша, — я сам замечал и думал... У нас вроде не было, а у них есть. Почему?

— Время такое, что ли? Все везде считают, все планируют.

— И время, конечно, но, главное, люди другие. — И Гриша неожиданно спросил: — А может быть, это не так уж и плохо? Я тебе по своему совхозу, да что по совхозу, по району и области скажу. Молодежь не задерживается на тех работах, где нет перспективы роста. И это можно понять. У человека жизнь только начинается, а ему уже и расти по службе некуда. Так как же он не будет интересоваться, что получит для себя лично от того дела, за какое взялся? Будет, обязательно будет, и по праву.

— Меня волнует то, что личное начинает затмевать общественное.

— И меня, — подхватил Гриша, — но не надо их противопоставлять. Ведь общественное тоже для человека. Надо только, чтобы личное не противостояло общественному, и наоборот.

— Не всегда это можно совместить.

— Не всегда, — повторил Гриша, — но надо стремиться. Человечество тоже состоит из человеков. И когда человекам плохо, то плохо и человечеству. Но это я так расфилософствовался. А если говорить серьезно, сегодняшние ребята во многом нас обошли. И думают они шире, и делают они многое лучше нас... Уж на что мы, кажется, рано тогда взрослели: и воевали мальчишками, и работать шли, какими они за партами сидят, а все же их поколение, — и он кивнул в сторону сарая, где ребята укладывались спать, — взрослее нашего, старина. Сама юность повзрослела, что ли? Они взрослее нас тех, у них нет той наивности, что ли? Ты помнишь, какими наивняками мы были? Чуть ли не в чертей верили!

— Наивняки-то наивняки, а все же на земле мы покрепче стояли...

— А, покрепче! — ринулся на меня Гриша. — Потому что дело в руках было. Некоторых пугают шалопаи, какие без дела шатаются.

— И они тоже... Но сейчас я говорю о том, что не вижу в нынешних ребятах твердой основы. Я не говорю о всех, но, мне кажется, немало таких, в коих нет того

крепкого стержня, на который можно наматывать жизнь. В нас это было, а в них днем с огнем надо искать.

— Это ты напрасно, Андрюха, на них... Ребята нисколько не хуже. И основа у них крепкая. Не слабее нашей. И стержень есть...

Гриша глубоко задумался, будто вспоминал что-то далекое. Острый блеск его глаз притух, словно кто-то невидимый убавил в них свет. И мне показалось, что он думает о том, что и я: сравнивает сегодняшних мальчишек с теми нами из сорок третьего — сорок пятого. Другое время — другие песни, и песни нисколько не хуже наших... И кто это сказал, что дети должны быть обязательно похожи на отцов? Они всегда больше похожи на свое время...

— А вообще-то голый разговор не люблю, — прервал мои размышления Гриша. — Давай лучше про практику жизни. Ты знаешь, к нам в совхоз каждый год на лето приезжают студенты. Сейчас у нас строительный отряд работает. И вот что я тебе скажу. Лучше работников, чем эти парни, мне и не надо. Они нам в прошлом году за два месяца ферму поставили, а наш Межсовхозстрой третий год птицеферму мусолит. В этом году эти студенты мне другую строят, и я знаю, что буду с новой свинофермой.

У них прямо коммуна, а не отряд. Все сообща и все поровну. А работают как львы. Как когда-то мы в войну — весь световой день и еще ночи прихватывают. Как от зари зарядят, так до зари и шпарят. Да еще на песни-танцы время находят. У них на стройке такой плакат висит: «Стране — помощь, студенту — школа жизни!» Тут же на щите пишут, сколько они совхозу делают и сколько сами зарабатывают. Диалектика личного и общественного у них вот такая, — и Гриша, растопырив пальцы, резко сжал их в один кулак. — Совхозу они в прошлом году построили почти на сто тысяч. Вкруговую каждый заработал по семьсот шестьдесят рублей за два месяца. А в этом году, пожалуй, и более выйдет. И заметь, все по нашим государственным расценкам, не как калымщики какие, а все по нарядам, все законно.

Вот тебе и молодые, вот тебе и городские! Да я к ним на выучку наших совхозных посылаю. А ты говоришь, без твердой основы. Вся штука в деле, каким мы можем зацепить человека, все в нем! А шалопаи? Так этого добра всегда было. Есть они и теперь. На селе,

правда, меньше, но есть. Лекарство для всех них одно — работа. Надо сделать так, чтобы они работали. И не где-нибудь на стариковских местах, куда мама-папа пристроят, а на настоящем производстве, заводе, стройке, в поле. Там они быстро людьми сделаются. В рабочем коллективе скоро пыль повыбьется... И не зря теперь вся воспитательная работа переносится в трудовой коллектив. Поверь мне, старому партийному работнику, — я-то знаю ему цену.

Гришины мысли близки мне. И я вдруг вспомнил, как Гриша убивался и не хотел жить «калекой без ноги и руки», и мне захотелось спросить у него, а счастлив ли он? Хотелось услышать от самого Гриши то, что уже знал. Он вопрошающе и с каким-то замешательством посмотрел на меня, словно решая, а не шучу ли я, и, убедившись, что не шучу, раздумчиво ответил:

— Знаешь, в моей жизни как-то недосуг было думать об этом. И потом, как смотреть. Если бы не обрубили меня на войне, то могла бы сложиться жизнь и по-другому. А лучше или хуже, кто ж его знает?

Гриша неожиданно замолчал, точно вдруг натолкнулся на что-то неразрешимое. Потом в раздумье сказал:

— Черт знает что!.. Ты меня как-то с другой стороны зацепил... Ей-богу, мне не до этих сантиментов было. Как тогда, первый год после госпиталя, попсиховал, так и выбросил все из головы... Счастье, несчастье, чепуха какая-то на постном масле! Чего человек заслужил, то он и получит, чего он стоит, то ему жизнь и платит... — И вдруг, круто оборвав разговор, спросил: — Ты бы оставил у нас Андрея до конца лета, а? Ему понравится. И простор для них здесь есть. Они, мальчишки, любят простор.

Я не возражал, и Гриша стал рассказывать, как его ребята проводят лето:

— У них на все времени хватает. И в совхозе работают, и по вечерам на гулянки бегают, и на водохранилище рыбалят. Есть лодка с мотором подвесным. Игорь на свои «кровные», как он говорит, приобрел. И мотоцикл, и лодку. А теперь вот все трое зарабатывают на машину. Они все у меня механики. Ведь в селе пацаны с техникой быстро осваиваются. — Он вопрошающе-гордо поднял глаза, но тут же, словно устыдившись своей похвальбы, спросил:

— А твой Андрей, вижу, тоже не отстает? Ничего,

мои ребята его еще тут и трактор научат водить. Побегает с Вовкой к Игорю в поле, вот и научится.

Сын оставался в колхозе. Нелегко ему было уговорить мать. И теперь, когда согласие было получено и мы уезжали, Андрей, как мне показалось, чуть-чуть загрустил. Может быть, вспомнил те слова, какими его пугала мать: «Тебе же через полстраны ехать. Как же ты один?»

Я подошел к Андрею и, потрепав по плечу, сказал:

— Ничего, старик, доберешься!

— Доберусь, — бодро ответил он. — Чего тут добираться-то! До Москвы долечу. Всего час лету. А там переберусь на другой аэропорт — и домой.

Через три дня мы уезжали домой, а сын оставался еще на две недели.

Только сейчас замечаю, как Андрей вытянулся и возмужал за это лето. Чуть приметная полоска на верхней губе потемнела, брови стали по-мужски широкими, лицо, темно-коричневое от загара, раздалось, с него сошла детская припухлость, угловато проступили скулы. Смотрю на руки, они стали жилистыми и ухватистыми, плечи округлились, спина распрямилась. В Андрее как-то сразу все перестроилось. Мальчишеская нескладность и угловатость уступала крепким мужским чертам.

Глядя на сына, мне нетрудно предположить, каким я был в его годы. Вот таким же колючим, тревожным и до края переполненным чувством взрослости. Я хорошо помню, когда это было. Оно приступами охватывало меня много раз в эти три дня, когда мы с Гришей и нашими ребятами ездили в степь, бродили по берегу водохранилища, гоняли на «газике» и мотоцикле по полям и рассказывали мальчишкам про то, что было почти тридцать лет назад. Я помню эти волнующие толчки своего взросления и тот вечер пятнадцатого апреля сорок третьего, когда нас принимали в комсомол, и когда в день гибели Васьки Попова, выплакав все свои мальчишеские слезы, я полез под трактор и сам поставил картер, и тот холодный и светлый Праздник урожая, когда легкий и опустошенный стоял на веранде, и потом другие дни до самого конца войны, до встречи отца. Все помню, ничего не забыл. На хорошее и доброе у сердца память крепкая, а дурное оно выбрасывает «с глаз долой — из сердца вон!». Но помнится и то, о чем сожалеешь светлой грустью. Как сейчас, вижу отца в день его возвращения с войны.

Худущий, только из госпиталя, в зеленой хлопчатобумажной гимнастерке с полоской побрякивающих медалей, сидел он за столом и все расспрашивал и расспрашивал нас, и глядел то на меня, то на брата, то на мать. Говорили о Викторе — от него по-прежнему не было вестей. Крепко захмелев, отец попытался посадить меня и Сергея на колени, а я, недовольный, отстранил его руку и, напружинившись, стал рядом. И через меня толчками прошли какие-то тревожные волны. То были толчки моего взросления.

А теперь заново переживаю эти чувства, будто никогда и не уходил из своей юности. С этим чувством я и прожил все три дня в Гришином совхозе, а наш отъезд возвращал меня из прошлого в настоящее, в сегодняшний день, у которого свои заботы, свои радости и печали.

Смотрю на притихшего Андрея, на крепких, чуть-чуть нескладных и в то же время привлекательных своей мужской грубоватостью сыновей Гриши Завгороднева, на самого Гришу, немного смущенного и до слез растроганного, и через меня опять, как в юности, перекатываются теплые и светлые волны вечного, неясного беспокойства. Но это уже другое чувство.

Путешествие в страну моей юности оборвется сейчас, как только веселый и беззаботный шофер Миша лихо рванет с места свой «газик». Но я не навсегда и не весь уезжаю из этой прекрасной страны. В ней остается Андрей. Частица моего сердца тоже там.

1972—1977

О ПОВЕСТИ В. ЕРЕМЕНКО «ДОЖДАТЬСЯ УТРА»

Повесть Владимира Еременко «Дождаться утра» сложилась из двух самостоятельных повестей «Дождаться утра» и «Свой хлеб», связанных общностью темы и жанра, в котором явственно проступает документально-биографическое начало.

В основе повествования — судьба двух поколений семьи Чупровых: Андрея Чупрова-старшего, пережившего подростком Сталинградское сражение и вражескую оккупацию, и его сына Андрея, тоже подростка, родившегося после войны.

Война и мир, отцы и дети, связь поколений, преемственность духовных, моральных, идейных ценностей, память и ответственность — такова проблемно-тематическая канва этой книги, сильной прежде всего своей невыдуманностью, подлинностью, ибо за всем сказанным в ней с очевидностью встает личный — горький, тяжкий, во многом трагический — опыт автора.

«Дождаться утра» — книга о Сталинградской битве. О ней писано много в нашей литературе. Но у В. Еременко героическая эпопея увидена в неожиданном, новом для литературы ракурсе. Она увидена не из солдатского окопа, не с командного пункта сражающейся части, не из Ставки Верховного Командования. Она увидена не участником боев с нашей или вражеской стороны, а глазами подростка, оказавшегося вместе со своими домашними и соседями в блиндаже, возле которого и над которым неделями гремело небывалое сражение. Она увидена пытливым и памятливым ребячьим взглядом и сердцем не со стороны, а из самой, можно сказать, сердцевины, середины события, ставшего историческим. И отчет об увиденном и пережитом дан откровенно и бесхитростно, без прикрас и умолчаний, просто и обстоятельно, что придает сказанному убедительную и волнующую силу живого свидетельства.

Особенно ценно это свидетельство в наши дни, когда от событий, описанных в повести, нас отделяет сорокалетие — время смены двух человеческих поколений. Юным важно знать, как все было тогда и каково было их сверстникам, оказавшимся во власти врага, видевшим новоявленных завоевателей и сокрушителей мира социализма не только лицо в лицо, но и в спину: измотанных бессмысленными для них боями, опустошенных и отчаявшихся.

В третьей части герои повести дождались наконец утра освобождения. Враг отметен от Сталинграда, но еще не разбит. Еще идет война, и четырнадцатилетний Андрей Чупров, видевший страшное и потерявший многих близких, работает трактористом на колхозном, изрытом воронками и еще не полностью очищенном от мин и снарядов поле.

А затем переброс повествования в наши дни: вот как живет его сын, ученик 9-го класса, тоже Андрей.

Сравнение помогает лучше уяснить различие и преемственность между временем и людьми. Автор заранее отметает точку зрения, будто пробелы в воспитании нынешней молодежи проистекают только от незнания юными тех трудностей и лишений, которые выпали на долю их отцов и дедов. Нет, не материальное благополучие, а встречающиеся еще порой непонимание и недоверие, душевная глухота и черствость, присущие отдельным представителям любого из поколений, — вот из каких «камней» воздвигаются стены, разделяющие людей.

Но разве не долг старших, более опытных и мудрых, понять сегодняшнюю молодежь и помочь ей понять себя самое и своих отцов? Разве не в этом суть педагогики, воспитывающей чувство связи одной эпохи с другой, чтобы по этой связи, как ток по проводам, передавались юным идеи, знания и нравственные понятия, выработанные и испытанные предшественниками?

В третьей части повести одно из центральных мест занимает эпизод, казалось бы, не особенно значительный, но показывающий, как нельзя, как не надо воспитывать. Сын рассказчика и его товарищи, гоняя по школьному коридору шайбу, испачкали стену, незадолго до того покрашенную двумя шефами-пенсионерами. Ребята сами вымыли стену. Они остро переживали последствия своего озорства. Но руководству школы этого показалось мало. Мальчишек, их родителей и учителей вызвали в кабинет директора школы. От ребят, поступок которых был квалифицирован как «злостное хулиганство», потребовали публичного покаяния и клятвенных обещаний, что они никогда впредь не будут шалить на переменах и получать плохие отметки на уроках.

Что же произошло в результате? Учеников, которые легко давали заведомо невыполнимые обещания, которые лицемерили и лгали, отпустили с миром. А на тех, которые, подобно Чупрову-младшему, были правдивы и честны («Перед шефами извинюсь, — говорит Андрей, — больше такого не будет. Честное комсомольское даю... А чтобы никогда и ничего не случалось, пообещать не могу»), — обрушились «педагогические» громы и молнии.

Так, по милости иных неумных, а может, неискренних педагогов в отношениях ребят и взрослых разъединяющим клином может войти лицемерие и ложь. А что может быть разрушительнее для формирующейся, воспитываемой души?

В связи с этим Чупров-старший вспоминает, какой душевный разлад довелось испытать ему в первое трудовое лето из-за тех приписок, на которые толкал его, учетчика тракторной бригады, главный бухгалтер машинно-тракторной станции. И тогда на помощь подростку пришел старший товарищ — бригадир трактористов Васи-

лий Афанасьевич. Он сумел привить Андрею непоколебимую веру в то, что человек никогда не должен поступаться совестью труженика, чувством долга. Это и есть «та правда, на какой держится все человеческое в человеке».

Стремясь в повести «Дождаться утра» рассказать сегодняшнему молодому человеку о трудном и подчас трагическом опыте своего поколения, В. Еременко нередко достигает большой выразительной силы. Читателя потрясает неожиданная смерть тракториста Васьки Попова, подорвавшегося на вражеской мине во время пахоты. Несмотря на давность случившегося, оно воспринимается читателем как реальное, сегодняшнее горе, о котором забывать мы не имеем права. Яркими, запоминающимися входят в наше сознание образы бабушки Натальи и деда Лазаря Ивановича.

Да, между юностью отцов и юностью детей огромная разница. Но мы видим: как бы ни менялась жизнь, ее главные критерии — труд и человечность — остаются вечными. Хлеб в зависимости от обстоятельств может быть черным или белым, с мякиной или изюмом. Но всегда он должен быть своим, не дармовым, заработанным. Только тогда он сладок. И только человек, знающий цену своему хлебу, способен понять цену всему остальному.

О торжестве этой высокой правды и печется Владимир Еременко, когда в повести «Дождаться утра» рассказывает сегодняшнему молодому читателю о трудных и героических уроках своего поколения.

И. МОТЯШОВ

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Отец . . . 3
Второй фронт . . . 8
Зигзаги . . . 15
Эвакуированные . . . 19
Воздушные бои . . . 22
Листовки . . . 28
«Каменные бомбы» и паек . . . 32
Черный день . . . 36
Рабочий батальон . . . 43
На пожаре . . . 48
Бегство . . . 52
Убитые . . . 60
В овраге . . . 63
Страшная ночь . . . 67
Похороны . . . 71
Костя . . . 77
В мышеловке . . . 80
Уходить! . . . 86

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Германцы . . . 93
Бабка Устя . . . 101
Двуколка . . . 110
Уход . . . 116
Дорога войны . . . 127
Дед Лазарь Иванович . . . 138
За колосками . . . 145
Бойня . . . 151
Другая жизнь . . . 156
Арест . . . 167
В разведку... с мамой . . . 176
Родной берег . . . 188
По живым мишеням . . . 197
Освобождение . . . 204
Ищу отца . . . 211
Война покатилась на запад . . . 216

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Мы с Андреем вступаем в комсомол 222
Первый отчет 242
Тюльпаны и война 260
Во фронтовые Елхи 277
Отец и сын 298
Праздник урожая 324
В страну юности 345
И. Мотяшов. О повести В. Еременко «Дождаться утра». 361

Еременко В. Н.

Е 70 Дождаться утра. — М.: Мол. гвардия, 1984. — 365 с.

В пер. 1 р. 50 к. 100 000 экз.

Повесть о детстве, опаленном войной, о мужании характера подростка, вместе со взрослыми прошедшего все испытания сражающегося Сталинграда. Свое повествование автор доводит до тех дней, когда уже дети тех мальчишек сороковых годов держат первый жизненный экзамен на право быть Человеком.

Е $\frac{4702010200-015}{078(02)-84}$ 83—84

ББК 84Р7
Р2

ИБ № 3492

Владимир Николаевич Еременко

ДОЖДАТЬСЯ УТРА

Редактор **В. Копцова**
Художник **В. Медведев**
Художественный редактор **Н. Коробейников**
Технический редактор **В. Пилкова**
Корректоры **В. Авдеева, Т. Пескова**

Сдано в набор 01.08.83. Подписано к печати 29.12.83. А00288. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 19,32. Усл. кр.-отт. 19,635. Учетно-изд. л. 21,0. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 50 к. Заказ 1170.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
В 1982—1983 годах ВЫПУСТИЛО КНИГИ:

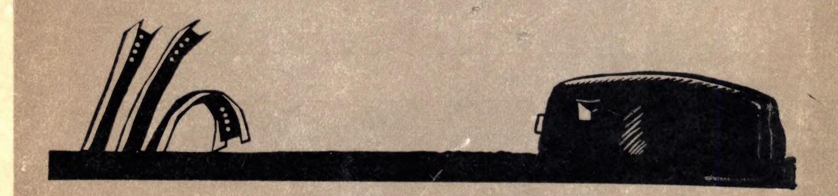
Абрамов С. А. Однажды, вдруг, когда-нибудь...
Брускова Е. С. Крутые дороги
Васильев В. П. Мужской разговор
Ганичев В. Н. У огня...
Жуховицкий Л. А. Витязь на распутье
Каченовский Б. П. Такие разные
Кичанова И. М. Духовные искания и житейские ситуации
Крупин В. Н. Кольцо забот
Матвеев В. М., Попов В. Н. В мире вежливости
Мир человека. Сборник
Мы и наша семья. Сборник
Осипов В. О. Слово и судьбы
Песков В. М. Птицы на проводах
Петров Т. Ф. Семь слов о подвиге
Тюльпин А. Н., Гаврилова Н. А. Испытание совестью
Характер — советский. Сборник
Черкашин Н. А. Городских дел мастера

1 р. 50 к.











МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Владимир Еременко